ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ

# КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 4 (8)

ИЮЛЬ—АВГУСТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1922

# СОДЕРЖАНИЕ.

Р. Ц. Москва, № 1734. 10.000 экз.
16-я типография М. С. Н. Х., Трехпрудный, 9.

# Сами.

Посвящается М. Шагинян.

1.

Хороший Сагиб у Сами и умный,
Только больно дерется стэком,
Хороший Сагиб у Сами и умный,
Только Сами не считает человеком.
Смотрит он на него одним глазом,
Никогда не скажет: спасибо;
Сами греет для бритья ему тазик
И седлает пони для Сагиба.
На пылинку ошибется Сами—
Сагиб всеведущ, как Вишну,
Бьют по пяткам тогда тростниками
Очень больно и очень слышно.
Но отец у Сами недаром
В Беджапуре был скороходом,
Ноги мальчика бегут по базарам
Все уверенней год от году.

2.

Этот год был очень недобрым:
Круглоухого мышастого пони
Укусила черная кобра,
И злой дух кричал в телефоне.
Раз проснулся Сагиб с рассветом,
Захотел он читать газету,
Гонг надменно сказал об этом,
Только Сами с газетою нету.
И пришлось для бритья ему тазик
Поручить разогреть другому,
И чего не случалось ни разу—
Мул некормлен вышел из дому.

3.

Через семь дней вернулся Сами,
Как отбитый от стада козленок,
С исцарапанными ногами,
Весь в лохмотьях, от голода тонок.
Синяка круглолобая глыба
Сияла как на золоте проба
Один глаз он видел Сатиба,
А теперь он увидел оба.
— Где ты был, павиан бесхвостый?—
Сагиб раскачался в качалке.
Отвечал ему Сами просто:
— Я боялся зубов твоей палки
И хотел уйти к властелину,
Что браминов и раджей выше,
Без дорог заблудился в долинах,
Как котенок слепой на крыше.
— Ты рожден, чтобы быть послушным,
Греть мне воду, вставая рано,
Бегать с почтой, следить за конюшней,
Я властитель твой, обезьяна.

4.

Тот далекий живет за снегами,
Что к небу ведут, как ступени,
В городе с большими домами,
И зовут его люди — Ленин.
Он дает голодным корочку хлеба,
Даже волка может сделать человеком,
Он большой Сагиб перед небом
И совсем не дерется стэком.
Сами — из магражского рода,
Но свой род для него уронит,
Для бритья будет греть ему воду,
Бегать с почтой, чистить его пони,
И за службу даст ему Ленин
Столько мудрых советов и рупий,
Как никто не давал во вселенной,—
Сами всех Сагибов погубит.

5.

— Где слыхал ты все это, несчастный!
Усмехнулся Сами лукаво:

— Там, где белым бывать опасно
В глубине Амритсарских лавок.
У купцов — весь мир на ладони,
Они знают все мысли судра
И почем в Рохилькенде кони,
И какой этот Ленин мудрый.
— Уходи,—сказал англичанин,
И Сами ушел с победой,
А Сагиб заперся в своей спальной
И не вышел даже к обеду.

6.

А Сами стоял на коленях,
Маленький, тихий и строгий,
И молился далекому «Ленин»,
Непонятному, как йоги,
Чтоб услышал его малые просьбы
В своем городе, до которого птице
Долететь не всегда удалось бы,
Даже птице быстрей зарницы.
И она б от дождей размокла,
Слон бежал бы и сдох от бега,
И разбилась бы в бурях, как стекла
Огненная Сагибов телега.

7

Так далеко был этот Ленин,
А услышал тотчас же Сами,
И мальчик стоял на коленях
С мокрыми большими глазами
А вскочил легко и проворно,
Точно маслом намазали бедра,
Вечер пролил на стан его черный
Благовоний полные ведра.
Будто снова он родился в Амритсаре
И на этот раз человеком,
Никогда его больше не ударит
Злой Сагиб своим жестким стэком.

**Н. Тихонов.**

## Квасок.

Я знаю шорохи и звоны
Колосьев, зреющих во сне.
Душистой ржи полупоклоны
Моей родимой стороне.

Дорог изгибы мне знакомы,
Испытан жатвы знойный день.
Люблю я золото соломы
На крыше русских деревень.

Люблю зеленые отавы,
Ряды серпов и светлых кос,
Бродяги-ветра звон кудрявый
Среди серебряных берез.

Люблю веселый смех мужичий
На темном, пахотном лице.
И старый дедовский обычай
И посиделки на крыльце.

Люблю за то, что скоро в хаты
Ворвется новая пора,—
И будет скошено и сжато
Сереброкудрое вчера!

Люблю проснуться спозаранок,
Когда в заре все небо сплошь,
И мимо розовых ветрянок
Войти в заутреннюю рожь.

Под звон косы полягут волны
Ржаных снопов, как на току...
И славно будет в полдень знойный
Хлебнуть крестьянского кваску.

О, край родной, как ты чудесен:
Ржаная степь, ржаной народ,
Ржаное солнце, и от песен
Землей и рожью отдает!

## Комиссарка.

### Песня.

Ехал я в Колено за товаром,
Ехал я в торговое село.
Утром рано огненным пожаром
Солнце в рощу темную легло.

Гнал я лошадь звонкой хворостиной,—
Всю неделю снился мне базар.
День слетал на крыльях лебединых
И за рощей потухал пожар.

Еду, еду,—солнечно и жарко,
Степь да поле да ржаная даль.
Тёще-дуре насулил подарков,
И жене—узорчатую шаль.

В ночь проехал сорок три оврага,
Сорок три не взорванных моста.
Рано утром пегая коняга
Запросила пойла и овса.

Завернул в фабричный я посёлок
Знать, такая молодцу судьба.
Средь пушистых сосенок и елок
Там цветет кирпичная труба.

Солнце. Полдень. Тягостно и жарко.
Дал коняге я овса мешок.
Тут меня степная комиссарка
Зазвала в брусяный теремок.

Много видел кос я и косичек,
Серых глаз и синих поволок.
Но от взора той степной мужички
Глаз моих я оторвать не мог.

Пили чай в березовой аллее;
В блюдце дул я, да и дуть устал.
У мужички—сахарная шея,
У степной—медовые уста!

Стало жарко. Веселю и жарко!
Снял армяк я, ворот расстегнул.
Русь моя, степная комиссарка,
Сон степной—не ветер ли надул?

Добрый ветер! Время не помеха.
Красный сон бурьяном не порос.
Помню—я... в Колено не доехал
И жене подарков не привез!

**Петр Орешин.**

---

# Из повести „В тупике“.

**В. Вересаев.**

И ангелы в толпе презренной этой
Замешаны. В великой той борьбе,
Какую вел Господь со князем скверны,
Они остались — сами по себе.
На Бога не восстали, но и верны
Ему не пребывали. Небо их
Отринуло, и ад не принял серный,
Не видя чести для себя в таких...

Данте.—„Ад“, III, 37—42.

Леонид по делам ехал на автомобиле в Эски-Керым. Катя попросилась с ним до Арматлука, — она беспокоилась, как там сейчас с отцом и матерью.

После обеда выкатили они из города еще с одним товарищем. Длинный, с изможденным, бритым лицом, он сидел в уголке сидения, кутаясь в пальто, хоть было жарко.

У Кати в душе было обычное для нее теперь тошнотное омерзение от всего, что пришлось испытать и видеть в последние две недели. Но мчалась машина, теплый ветер дул навстречу и шевелил волосы, в прорывах гор мелькало лазурное море. И смывалась с души чадная муть, и заполнялась она золотым звоном солнца, каким дрожал кругом сверкающий воздух.

В степи шел сенокос, трещали косилки, по дорогам скрипели мажары с сеном. От канонады на фронте по всему Крыму лили в апреле дожди, урожай пришел небывалый.

Спутники Кати вполголоса разговаривали между собою, обрывая фразы, чтоб она не поняла, о чем они говорят. Фамилия товарища была Израэльсон, а псевдоним — Горелов. Его горбоносый профиль в пенснэ качался с колыханием машины. Иногда он улыбался милою, застенчивою улыбкою, короткая верхняя губа открывала длинные четырехугольные зубы, цвета старой слоновой кости. Катя чувствовала, что он обречен смерти, и ясно видела весь его череп под кожей, такой же гладкий, желтовато-блестящий, как зубы.

По обрывкам фраз Катя понимала, о чем у них речь, и ей было смешно. Когда разговор кончился, она, как всегда, срыву сказала:

— На-днях у нас на пленуме в Наробразе выступил представитель со-

вета профсоюзов. Вот была речь! как-будто свежим ветром пахнуло в накуренную комнату!

Леонид пренебрежительно спросил:

— Что ж он у вас такое говорил?

— Говорил о диктатуре пролетариата, что они выгоняют жителей из квартир, снимают с них ботинки, и что в этом вся их диктатура. А что прежде всего нужно стать диктатором над самим собою, что рабочие должны заставить всех преклониться перед своей нравственной высотой, перед своим уважением к творческому труду.

Леонид переглянулся с Гореловым и засмеялся.

— Вот интеллигентщина!

Лицо его стало неприятным и колючим.

— И говорил еще, что рабочий класс в самый ответственный момент своей истории лишен права свободно думать, читать, искать.

Леонид прервал ее:

— Интересно, — какого он цеха?

— Иглы.

— Ну, так! Значит, портной. Не мастерок ли? Они сейчас великолепно зарабатывают на общей разрухе, спекулируют мануфактурой, под видом родственничков набирают подмастерьев и эксплоатируют их совсем, как раньше.

— Само собою! Раз не ваш, значит, — спекулянт и буржуй!

— Скажите, пожалуйста, чем всего больше озабочен! Что буржуазию выселяют из ее роскошных особняков и отводят их под народные дома, под пролетарские школы и приюты! Какая трогательная заботливость!.. Вообще, необходимо обревизовать все эти выборы. Дело очень темное.

— Темное, несомненно, — отозвался Горелов и мягко обратился к Кате. — В провинции сейчас это то-и-дело наблюдается: более достаточные рабочие мелко-буржуазного склада пользуются темнотой истинно-пролетарской массы и ловят ее на свои удочки.

— Ничего! Скоро просветим! — сказал Леонид. — Кто сам босой, тот не будет плакать над ботинками, снятыми с богача.

— А наденет их и будет измываться над разутым.

Леонид задирающе усмехался.

— Конечно!

— А у тебя у самого очень хорошие сапоги.

Леонид оглядел свою ногу, подтянул лакированное голенище и, дразня, спросил:

— Правда, недурные сапожки?

Под колесами выстрелило, машина остановилась. Шоффер слез и стал переменять камеру.

Качаясь в седлах, мимо проскакали два всадника с винтовками за плечами. Через несколько минут, догоняя их, еще один промчался карьером, пригнувшись к луке и с пьяною беспощадностью сеча лошадь нагайкою.

Леонид глядел им вслед.

— Махновцы. Рассыпались по окрестностям и грабят, сволочь этакая. Когда мы от этих бандитов избавимся!

Поехали дальше. Через пару верст лопнула другая шина. Шоффер осмотрел и сердито сказал:

— Нельзя ехать, камер больше нету. Чиненые-перечиненые дают, так лохмотьями и расползаются.

Дошли пешком до ближайшей деревни. Леонид пред'явил в ревкоме свои бумаги и потребовал лошадей. Дежурный член ревкома, солдат с рыжими усами, долго разбирал бумаги, скреб в затылке, потом заявил, что лошадей нету: крестьяне заняты уборкою сена. Леонид грозно сказал, чтоб сейчас же была подана линейка. Солдат вздохнул и обратился к милиционеру, расхлябанно сидевшему с винтовкою на стуле.

— Гриша, сейчас Софронов проехал из степи с сеном. Скажи, чтоб дал лошадей. Станет упираться, арестуй.

Милиционер ушел, за ним ушел и солдат. В комнате было тихо, мухи бились о пыльные стекла запертых окон. На великолепном письменном столе с залитым чернилами бордовым сукном стояла чернильная стклянка с затычкою из газетной бумаги. По стенам висели портреты и воззвания.

Горелов, уткнув бритый подбородок в поднятый воротник пальто, дремал в углу под портретом Урицкого. Желтели в полуоткрытом рту длинные зубы.

Катя вышла на крыльцо. По горячей пыли дороги бродили куры, с сверкавшей солнцем степи неслось сосредоточенное жужжание косилок. Леонид тоже вышел, закурил о зажигалку и умиленно сказал:

— Вот человек—Горелов этот! В чем душа держится, зимою перенес жесточайшую цынгу; язва желудка у него, катарр. Нужно было молоко пить, а он питался похлебкою из мерзлой картошки. Отправили его в Крым на поправку, он и тут сейчас же запрягся в работу. Если бы ты знала,—какой работник чудесный, какой организатор!..

Через полчаса под'ехала линейка. На козлах сидел мужик с войлочно-лохматой бородой, с озлобленным лицом.

Поехали дальше. Запыленное красное солнце спускалось к степи. Опять скрипели мажары с сеном, у края шоссе, по откосам, остро жвыкали косы запотелых мужиков, в степи стрекотали косилки. Группами или в одиночку скакали к городу махновцы, упитанные и пьяные.

Леонид спросил возницу:

— Здорово вашего брата обижают махновцы?

Мужик краем глаза поглядел на него и неохотно ответил:

— Мужика всякий обижает...

И отвернулся к лошадям. Помолчал, потом опять поглядел на Леонида.

— Войдет в хату, — сейчас, значит, бац из винтовки в потолок! Жарь ему баба куренка, готовь яичницу. Вина ему поставь, ячменю отсыпь для коня. Все берет, что только увидит. Особенно до вина ярые.

Проехала подвода, тяжело нагруженная боченками вина, узлами. Вокруг нее гарцовали два махновца. Третий, пьяный, спал на узлах, с свесившеюся через грядку ногою, а лошадь его была привязана к задку. Возница—татарин, с угрюмым лицом, бережно, для виду, подхлестывал перегруженных кляч.

Леонид засмеялся.

— Какие вы близорукие, обыватели российские! — обратился он к Кате. — Не умеете вы нас ценить. Кабы не мы, по всей матушке-Руси шныряли бы вот этакие шайки махновцев, петлюровцев, григорьевцев, как в смутное время или в тридцатилетнюю войну. И конца бы их царству не было.

— Вот, и при вас шныряют, а вы смирненько смотрите.

— Погляди, шныряют ли у нас в России. Дай нашим сюда подтянуться, увидишь, долго ли будут шнырять.

Катя кивнула на мужика.

— Он не только про махновцев говорил. Сказал, — всякий мужика обижает.

Леонид потянулся и зевнул.

Они ехали по мягкой дороге рядом с шоссе. Шоссе внизу делало крутой изгиб вокруг оврага. За кучею щебня, как раз на изгибе шоссе, вздымался странный темный шар. Мужик завистливо поглядел и пощелкал языком.

— Ка-кого коня загнали!

Лежала великолепная кавалерийская лошадь с вздутым животом, с далеко закинутою головою; меж оскаленных зубов длинно высунулся прикушенный фиолетовый язык, остеклевшие глаза вылезли из орбит.

— Загнал с пьяных глаз, мерзавец! — с отвращением сказал Леонид.

Проехали. Катя еще раз оглянулась на лошадь. По ту сторону оврага, над откосом шоссе, солдат с винтовкою махал им рукою и что-то кричал, чего за стуком колес не было слышно. Вдруг он присел на колено и стал целиться в линейку. Катя закричала:

— Смотрите, что он делает!

— Тпруэ!

Мужик испуганно натянул возжи. Линейка стала.

Солдат ленивою походкою, не спеша, шел к ним, с винтовкою в левой руке, с нагайкою в правой. Был он лохматый, здоровенный, с картузом на затылке, с красным лицом. Подошел и с пьяною серьезностью коротко сказал:

— Ваши документы!

На груди его был большой черно-красный бант.

Леонид с уверенностью человека, имеющего хорошие документы, небрежно протянул ему бумажку. Махновец стал разбирать.

— По-ли-ти-чес-кий комис-сар... — Он уставился на Леонида — Советчик? Не годится документ.

Леонид насмешливо спросил:

— Почему?

— Мы на вашу Советскую власть плюем. Нам эти документы ни к чему.

— А для чего вам, товарищ, документы? По какому праву вы их требуете?

— Плюем на вашу власть. Мы только батьку Махно одного знаем. Он нам приказал: «бей жидов, спасай Россию»! Приехали к вам сюда порядок сделать. Обучить всех правильным понятиям... — Он озорным взглядом оглядел Леонида и, как заученно-привычный лозунг, сказал: — бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не почернеют... Ты кто?

Леонид резко ответил:

— Я тебе показал документ, знаешь, кто я, — чего еще спрашиваешь!

— Молчи, ....!—Он замахнулся на Леонида нагайкой.—Кто ты?

Леонид пожал плечами.

— Кто! Ну, коммунист.

— Нет, кто ты?

Катя рассмеялась.

— Да неужто ж сами не видите? Русский, русский! Не еврей!

Широкая рожа солдата расплылась в улыбку.

— Хе-хе!.. Верно!.. А ты, — он уставил на нее палец, — ты—жидовка!

— Вот так так! Я двоюродная сестра его!

— Сестра!.. Знаем, что за сестры! Повидали их на войне. — И извивающимися гадюками поползли в воздухе циничные, грязно-оскорбительные догадки.

Потом он сказал:

— Слезайте все долой!.. Слышь, земляк! Конь у меня занедужил, вон лежит. Повезешь в город.

Мужик сердито ответил:

— Дохлый твой конь, ай не видишь? Куда его везть!

— Отойдет. Поворачивай!

— Да что вы, товарищ!.. Разве линейка подымет лошадь? Вон мажара, чего ж вам лучше!

Навстречу ехала пустая мажара, в ней сидели два грека. Они согнулись и глядели в сторону. Махновец властно сказал:

— Стой!

Греки притворились, что не слышат, и продолжали ехать. Махновец деловито упер приклад в бедро и выстрелил в небо. Греки моментально остановились. Он не спеша отдернул затвор и опустил винтовку.

— Слезай!

Греки слезли.

— Кто такие?

— Крестьяне, товарищ. За сеном едем.

— Вина не везете?

— Поглядите сами, пустая арба... Можно ехать?

Махновец отрицательно мотнул головой и повернулся к вознице линейки.

— Ты мне ручаешься за них?

Мужик усмехнулся в войлочную свою бороду.

— За кого такое?

— Вот за этих. — Он указал на пассажиров.

— Я-то что тут? По наряду взяли меня. Кто такие, — почем я знаю.

— Ты мне за них отвечаешь. Ежели что, — на мушку тебя.

Странно было Кате. Пять мужчин окружало его, а он, один против всех, командовал над ними и измывался, и винтовка беззаботно висела за плечами.

Махновец опять повернулся к грекам.

— Вон конь мой лежит. Под'езжайте, подберем его... В город свезете.

Старший из греков поспешно ответил:

— У нас лошади слабые, не вытянут.

Катя быстро наклонилась к Леониду и шопотом спросила:

— Неужели у тебя нет револьвера?

— Ч-чорт! Такая глупость! Забыл.

Глаза Кати потаенно блеснули, и в ответ им сверкнуло в душе Леонида. Он слегка побледнел и слез с линейки, разминая ноги.

Махновец в колебании оглядывал линейку. Ему хотелось еще поозорничать, но он не знал, как.

Горелов, сгорбившись и уткнувшись подбородком в воротник, все время неподвижно сидел на той стороне линейки, спиною к махновцу. Вдруг взгляд махновца остановился на его горбоносом, изжелта бледном профиле.

— Ты... — зловеще протянул махновец. — Поди-ка сюда, жидовская харя! — И спокойной рукою он взялся за револьвер у пояса.

Катя быстро переглянулась с Леонидом. И дальше все замелькало, сливаясь, как спицы в закрутившемся колесе. Леонид охватил сзади махновца, властно крикнул: «товарищи, вяжите его!» и бросил на землю. Катя соскочила с линейки, а мужик, втянув голову в плечи, из всей силы хлестнул кнутом по лошадям. Горелов на ходу спрыгнул, неловко взмахнул руками и кувыркнулся в канаву. Греки вскочили в мажару и погнали по дороге в другую сторону.

Махновец бился под Леонидом, но Катя сразу почувствовала, что он гораздо сильнее, — ее поразили его крепкие, круглые плечи. Рука с револьвером моталась в воздухе над Леонидом и старалась повернуть револьвер на него. Не умом соображая, а какою-то властною, взмывшею из души находчивостью, Катя схватила руку с револьвером, — на длинных ногах неуклюже подбегал Горелов, — и всею грудью навалилась на руку. Рука бешено дернулась, проехала выступающими частями револьвера по Катиной щеке и опять взвилась в воздух. Махновец изогнулся, сбросил с себя Леонида, в упор выстрелил в набегавшего Горелова и подмял под себя Леонида. Рука с револьвером упиралась в землю. Катя схватила валявшуюся на земле винтовку с оборванною перевязью, изо всей силы ударила прикладом по руке. Револьвер вывалился. Она подняла, беспомощно оглядела его. Попробовала поднять курок, — не подается.

— Товарищ Горелов! Револьвер, стреляйте! Я не знаю, как выстрелить!

Горелов, в окровавленном пальто, лежал на дороге, закинув голову, и хрипел. Мелькнула в глаза далекая линейка на шоссе, — она мчалась в гору, мужик испуганно оглядывался и сек кнутом лошадей. Махновец душил Леонида.

Катя завизжала, с бурным разбегом налетела, охватила руками голову махновца и вместе с ним упала на-земь. Локоть его больно ударил ее с размаху в нижнюю часть живота, но ее руки судорожной, мертвой хваткой продолжали сжимать потную, лохматую, крутящуюся голову. Выстрел раздался где-то за спиною, голова в руках глухо застонала, еще выстрел.

— Бросай! — задыхаясь, крикнул Леонид.

Катя вскочила. Махновец, с раздробленным коленом, с простреленным животом, пытался подняться, ерзал по земле руками и ругался матерными словами. Леонид выстрелил ему прямо в широкое, скуластое лицо. Он дернулся, как будто ожегся выстрелом и, сникнув, повалился боком на землю.

— А Горелов где?

Горелов неподвижно лежал с открытыми, без блеска, глазами, с тем неожиданным, чуждым выражением, которое накладывается на лицо смертью. И ярко желтели оскаленные, длинные зубы.

Вдруг Катя испуганно крикнула:

— Смотри!

Солнце уж село, и вдали, из-за горба шоссе, на красном фоне зари вырастали, подпрыгивая, два черных силуэта всадников с винтовками.

— Махновцы! Удирать! — хрипло сказал Леонид. — Погоди! Придется отстреливаться.

Он снял с убитого подсумок с патронами, взял винтовку, револьвер.

— Айда!.. Только бы до гор добраться... Пока еще под'едут, разберут, в чем дело. Не беги, пока на виду.

Не спеша, они сошли к мосту, спустились в овраг и побежали по белокаменистому руслу вверх. Овраг мелел и круто сворачивал в сторону. Они выбрались из него и по отлогому скату быстро пошли вверх, к горам, среди кустов цветущего шиповника и корявых диких слив. Из-за куста они оглянулись и замерли: на шоссе, возле трупов, была уже целая куча всадников, они размахивали руками, указывали в их сторону. Вдоль оврага скакало несколько человек.

— Бежим! — коротко бросил Леонид.

Пригнувшись, они побежали меж кустов к горам. Тонко, по осиному, жужжа, над головами пронеслась пуля, и долетел звук выстрела. Путь пересекал овраг, они перебрались через него. Вскоре другой.

Катя крикнула, смеясь:

— Смотри, как хорошо! Ведь это им загораживает дорогу. Либо придется слезать с лошадей, либо в обход ехать!

Скакало к откосу уж человек пятнадцать, и на скаку стреляли. Слышались выстрелы, но свиста пуль не было. Поднималась гора, с поперечными, параллельными друг другу овечьими тропками.

— Ну, только бы по ней взобраться, — тут цель для них хорошая, а там лучше будет... Не трусь, Катька!

— Дурак ты, Леонидка! — отозвалась Катя, — так чуждо совался его призыв в тот радостно-огненный вихрь, в котором крутилась ее душа.

Они карабкались в гору, цепляясь за колючие плети цветущих каперсов. И теперь вдруг кругом защелкало по камням, запылилось по сухой земле. Катя с жадным любопытством оглянулась. Всадники, спешившись, спускались в поперечный овраг, другие стреляли с колена.

Гребень горы с алыми маками. Большие камни. По эту сторону оврага два махновца садились на коней. Леонид бросился за камень и прицелился. Катя, с отколовшейся, растрепанной косой, с исцарапанной револьвером щекою, стояла, забывшись, во весь рост и упоенно смотрела. Струистый огонь, уверенный, резкий треск. Один из махновцев схватился за ногу и опустился на-земь.

Леонид сердито крикнул:

— Дура, ложись же! Чего стоишь!

Еще раз он выстрелил, еще, и они побежали. За гребнем горы тянулось широкое ущелье, густо заросшее лесом...

Темнело. Катя с Леонидом сидели под нависшим камнем, за струисто-ветвистыми кустами непроглядной дерезы. По лесу трещали шальные выстрелы махновцев, иногда совсем близко слышался их говор и ругательства.

Леонид спросил шопотом:

— Что это у тебя?

Рукав Катиной кофточки был густо смочен кровью, капли крови чернели на ее серой юбке. В сумерках глаза Леонида засветились теплой лаской.

— Ну, с боевым крещением! Ранена... Снимай кофточку.

— Ерунда какая! Что это? Я ничего и не чувствовала.

— Снимай.

Стаскивая рукав, Катя почувствовала в руке боль. Стыдясь своих нагих рук и плеч, она взглянула на руку. Выше локтевого сгиба, в измазанной кровью коже, чернела маленькая дырка, такая же была на противоположной стороне руки. Катя засмеялась, а сама побледнела, глаза стали бледно-серыми, и она, склонившись головою, в бесчувствии упала на траву.

---

Туман редел в голове. Непонятно было, откуда слабость в теле, откуда хлопанья пастушьего кнута по лесу. И вдруг все вспомнилось. Вспомнился взблеск выстрела перед усатым, широким лицом, животно-оскаленные желтые зубы—Горелов? или лошадь с прикушенным языком? Но сразу же потом — радостный свист пуль, упоение бега меж кустов, гребень горы и скачущие всадники... И такой позорный конец всего!

Рука была перевязана носовым платком, и френч Леонида накинут на грудь. По лесу гулко раздавались еще мужские голоса, трещали кусты под ногами лошадей. Но уже много дальше. Иногда, словно удар пастушьего кнута, перекатывался по лесу выстрел.

Катя сконфуженно поднялась и медленно начала надевать кофточку.

— Какая нелепость! С чего это я?

Леонид сидел в одной рубашке, заправленной в брюки, и курил, пряча огонек в ладонь. Он заботливо оглядел Катю и мягко улыбнулся.

— Ничего, это бывает. Важно не распускаться, когда нужно. По закону, девице полагается хлопаться в обморок в минуту самой опасности, а мужчине, отбивая удары, взваливать драгоценную ношу на луку седла... А с тобою можно дела делать. Молодец девка!

Красный свет восходящего месяца бросал на камни сквозь листья ясеня неподвижно-черные узоры. Тихо было.

Леонид спросил:

— Ты через горы знаешь дорогу в Арматлук? На шоссе разумнее не выходить.

— Приблизительно знаю. Это — ущелье Гяур-Бах, тут перевал должен быть около Кара-Агача... Пойдем.

Катя быстро встала.

— Погоди, дурочка, не спеши. Дай махновцам уйти.

Она опять села. В логове их под скалою было уютно, темно и необычно. Гибкие ветви цветущей дерезы светлели перед глазами, как ниспадающие струи фонтана. И все вокруг было необычно и по особенному прекрасно. Белели большие камни странной формы, невсегдашне мутен и тепел был красный свет месяца, и никогда еще не было в мире такой тишины.

Леонид положил руку на Катину руку и крепко пожал ее сверху.

— Спасибо тебе, Катюрка! Кабы не ты сегодня, кормить бы мне собою крымских ваших червей... Жалко, что ты не наша. Нам такие нужны.

Катя редко теперь видела его таким, — когда он бросал свой развязный, задирающе-пренебрежительный тон и становился простым, искренним. Горячо задрожало в душе родное, тянущееся к нему чувство, как в те времена, когда он неожиданно являлся к ним из подполья, — исхудалый, нервный — и гимназисточка-подросток жадно слушала его рассказы и толкование жизни.

— Если бы вы были другие! — вырвалось у нее.

Леонид помолчал и тихо сказал:

— Не можем мы быть другими.

— Но отчего же, отчего? Пойми, Леня, для меня это смертельный вопрос... Зачем вы эту грязь разводите вокруг себя, эту кровь? Это хамство, это измывательство над людьми? Ведь такого циничного надругательства над жизнью никогда еще, нигде не было! Вы так все обставили, что только хамы и карьеристы могут к вам итти, и те, кому власть, как вино. И все человеческие слова отскакивают от вас, как вот если камушки бросать в эту скалу.

Он слабо усмехался и бил веточкою по голенищу сапога.

— Удивительные вы люди! Разве мы можем такие слова впускать себ в душу? Как ты не понимаешь? Все кругом до самого основания изменилось прежние отношения сломались, душа должна перестроиться на какой-то совсем новой морали... Или уж нельзя будет жить.

— Говори так, Ленька! Говори так! Не переходи на всегдашний тон Господи, какой он тяжелый! Как будто перед тобою все время в маске человек!

— Вы как смотрите? Была хорошая, чистая, светлая жизнь, и ей только не давали развиться давившие ее мерзавцы. Мерзавцев убрали, — и вот все пошло бы хорошо и гладко, да вмешались на беду эти подлые большевики и все вам напортили. Милая моя, ведь это же взрыв был,—взрыв огромных подземных сил, где вся грязь полетела вверх, пепел перегорелый, вонь, смрад, — но и огонь очищающий, и лава полилась расплавленная. Подумай, какие человеческие силы могли бы это удержать?

— А вы не удерживали, а, напротив, разжигали.

— Конечно. И нужно было, чтоб огонь ударил в небо, и чтоб лава полилась по миру. А что грязь и смрад,—так что же делать! Неужели ты думаешь, что, если бы все от нас зависело, мы не действовали бы иначе? Дисциплинированные, железные рабочие батальоны, пылающие самоотверженною любовью к будущему миру, обдуманная, планомерная реорганизация строя на новых началах... Эх, да смешно говорить! Ей-богу, как будто институтки в белых пелериночках, — и разговаривай с ними серьезно!

— Нет, вы эту грязь именно разводите, вы нарочно играете на самых подлых, эгоистических инстинктах, стараетесь разжечь их, а не боретесь с ними. Вы вперед забегаете, вы хуже тех, к кому приноравливаетесь.

— Погоди. Пойдем. Не ночь же всю сидеть.

— Ну! Только что разговорились... Ну, что ж, ну, и ночь просидим!

Леонид надел куртку, поднял с земли винтовку и вышел из кустов.

— Тихо. Уехали... Ночь-то какая!

Месяц поднялся меж гор над ущельем и стал серебряным. Внизу чернел лес. Впереди крутыми своими утесами уходил в небо могучий Кара-Агач. Катя оглядывала местность.

— Тут где-то сейчас горная дорога должна быть через перевал...

Они осторожно шли, оглядываясь и прислушиваясь. Но тишина в лесу стояла забытая, и бояться было нечего. Выбрались на горную, слабо наезженную дорогу. Кудрявые кусты орешника бросали на траву черные тени. Как очень давнишнее, Катя вспомнила взлохмаченно-потную, крутящуюся голову в своих руках, огонь выстрела перед побледневшим лицом. Лет пять-шесть назад смирный мужик ходил за плугом по своему полю, косил пшеницу. Думал ли он тогда, что кровавым хозяином пройдет по городам и селам и, пьяный, сложит под пулей голову на большой дороге?

Леонид заговорил:

— Ты одного не понимаешь. Подготовительная, начальная стадия ре-

волюции и сама революция — две совсем разные вещи. Там — самоотвержение, высокий идеализм, чистый, молодой порыв. Таковы были девятисотые годы с первой революцией нашей. Но тогда шли десятки, — ну, сотни тысяч. А теперь поперли миллионы. Некультурные, дикие, озлобленные. Не за человечество они идут, не за лучшее будущее, а за себя, — просто за самих себя,—полные злобы, мести, жадности. Но ведь ты марксистка, как же ты этого не учитываешь? В этом-то и сила всякой настоящей революции. Пойми ты, что старая психология идейного нашего революционера-интеллигента здесь не только не нужна, а вредна, опасна... Ну, вот ты, например. Ты работала для революции, в тюрьмах сидела, в ссылке была. Потому, что ты видела, что рабочие, крестьяне угнетены, страдают, — и ты возмущалась. Очень все хорошо, и честь тебе. Но теперь угнетены буржуазия, интеллигенция, — ты возмущаешься за них. Конечно, по человечеству сказать, все — люди, и не виноваты буржуи, что родились буржуями. И вот ты двоишься. Источник, из которого шло твое революционное настроение, потек по другому направлению. А мы идем за рабочих не потому, что они какие-то лучшие люди. Такие же! А потому, что классовый эгоизм толкает их на разрушение всяких классов и на создание нового мира. И со старою меркою подходить тут нельзя. Вот почему наша милая, отзывчивая интеллигенция со своею чистенькою моралью оказалась не у дел.

— Да, спасибо вам за вашу новую мораль! Ведь самодержавие, — само самодержавие, с вами сравнить, было гуманно и благородно. Как жандармы были вежливы, какими гарантиями тогда обставлялись даже административные расправы, как стыдились они сами смертных казней! Какой простор давали мысли, критике... Разве бы могло им даже в голову притти за убийство Александра Второго или Столыпина расстрелять по тюрьмам сотни революционеров, совершенно непричастных к убийству?.. Гадины вы! Руку вам подашь, — хочется вымыть ее!

Она вздрогнула и повела плечами.

Леонид сдвинул брови и резко сказал:

— Вот тут-то мы и начинаем говорить на разных языках. Для нас вопрос только один, первый и последний: нужно это для революции? Нужно. И нечего тогда разговаривать. И какие страшные слова вы ни употребляйте, вы нас не смутите. Казнь, так казнь, шпион, так шпион, удушение свободы, так удушение. А эксцессы... Эксцессы мы очень бы рады и сами искоренить. Понятно, что у чекиста, в его страшной работе, голова легко пьянеет от власти и крови. Вы только не знаете, сколько из них самих попадает у нас под расстрел. Но чтоб на этом основании устыдиться и уничтожить чрезвычайки, и с закрытыми глазами ходить среди заговоров и покушений на революционную власть, — ну, нет-с! Плохо рассчитали! Мы не такие дурачки, на удочку вашу не попадемся!

Опять, как обычно, в голосе его зазвучали митинговые ноты, когда он, как-будто, говорил не для собеседника, а для невидимой, сочувственной ему толпы. И, как обычно, между ними запрыгали враждебные, колющие искорки.

Катя замолчала. Ей хотелось продолжать разговор в прежнем созву̀ном тоне, но настроенность у обоих исчезала. Она огорченно опустила го лову. И оттого, что она не возражала, что на девической щеке чернели за пекшиеся царапины от револьвера, Леониду сделалось стыдно, и опять он стала ему близка и мила. Он поднял брови, почесал в затылке, дружественн просунул руку под ее локоть и смущенно сказал:

— Ну, ничего!.. Ночь-то какая, посмотри.

Катя все время бессознательно чувствовала эту ночь. Справа тянулис крутые обрывы Кара-Агача, в лунном тумане они казались совсем близким И казалось под лунным светом, — какие-то там на горе огромные порталь стройные колонны, величественные входы невиданно-большого храма. Опят стало просто.

Леонид держал ее под локоть, и они шли рядом. Он заговорил по-преж нему хорошо:

— Помнишь, утром, на площади у вас в Арматлуке, когда мы судил за грабеж ваших парней, записавшихся в Красную армию? Неужели же, т думаешь, не хотелось бы мне, чтобы все у нас были такие, как тогдашни мой отрядец из рабочих, — горящие, серьезные, дисциплинированные?.. вот, — что кругом делается! Грабежи, пьянство, притесняют всех одинаков мужики с каким нас встречали восторгом, а теперь начинают ненавидет Даже махновскую эту сволочь мы вынуждены до времени терпеть. Ведь бол шинство у нас — люди деклассированные, развращенные империалистическо войной, отвыкшие от труда, привыкшие к грабежу и крови, притом разд тые и голодные. Сразу их не перевоспитаешь. Только медленно, идя вмест с ними, мы постепенно сможем их сорганизовать. И, конечно, приходит совершенно перестроить свою душу. Я помню октябрьские дни в Москв Теперь смешно вспоминать: как мы, интеллигенты, были тогда мягкосе дечны, как боялись пролить лишнюю каплю крови, как стыдились всяко лишнего орудийного выстрела, чтоб, упаси боже, не задеть Василия Бл женного или Ивана Великого. А солдатам нашим это было совершенно н понятно, и они, конечно, были правы... Что с тех пор каждому из нас пр шлось видеть, переиспытать!

Кате стало неприятно, что рука Леонида касается ее локтя.

— Погоди! На минутку!

Она высвободила руку, наклонилась к кусту, сорвала под ним две в точки цветущего шпорника. И усердно стала их нюхать.

— Ну! Ну! — жадно сказала она. — Дальше!

— Ну, вот... — Леонид шел, качая в руке винтовку. — В банкирско особняке, где я сейчас живу, попалось мне недавно «Преступление и нак зание» Достоевского. Полкниги солдаты повыдрали на цигарки... Стал я ч тать. Смешно было. «Посмею? Не посмею?» Сидит интеллигентик и копает в душе. С какой-то совсем другой планеты человек. Ну, вот, сегодня, с ма новцем этим... Ты первого человека в жизни убила?

Катя дрогнула от неожиданно так заданного вопроса.

— Ну! Как ты говоришь...

— Как говорю... Да, мы с тобой убили.—Он лукаво глядел на нее и улыбался.

Катя тоскливо повела плечами.

— Ну, да!

— А, может-быть, его и не стоило убивать.

— Мне тоже думается.

— Что он за револьвер взялся на Горелова,—так можно было разговорить. С пьяным русским человеком это легко, только шуточка во-время. Не то, что с латышом, например,—эти звереют в хмелю. А мы убили. И вот ты долгие годы будешь задавать себе вопрос: «Права ты была? Не права?..». А я... Есть мне время об этом думать! Какая-то огромная, совершенно бессознательная жизнь в коллективе. Сегодня он, завтра я. Так все это неважно! Важно, что земля трясется, что гнилье рушится, что все, о чем вы говорите: «поосторожнее, да не сразу!» — все летит к чорту. Ведь по всей Европе от нас идут подземные удары, бьют снизу в просторы летаргической Азии. Все ворошится, просыпается. Придавленные чувствуют, что все они—одна огромная, братская стихия, что нет никаких раз'единяющих Христосов, Будд, Аллахов, нет каких-то священных Франций, Германий, Индий, Китаев, что все это обман. Один только вечный, священный, неразрывный об'единитель—Труд... И думать о каком-то махновце убитом, о том, что нас убьют, о ботинках, снятых с барина, о том, что мы рот зажимаем трусам и предателям, которые все это хотят остановить. «Поосторожнее, да посмирнее, да чтоб не обидеть кого, да слишком рано еще»... И это тогда, когда все силы мировые нужно напрячь, когда все в том, чтобы дружно вскочили все сразу!

Катя усердно нюхала цветы. Справа в лунной дымке все тянулись обрывистые утесы, как порталы и колонны. В своем волнении и своей тоске, Катя не могла отвлечься, сделать усилие сбросить обман зрения. И было у ней живое ощущение не диких скал, а бесконечно огромного храма нечеловеческих размеров.

С вершины перевала открылась туманная, голубая под луной арматлукская бухта меж выбегающих мысов, в поселке краснели огоньки.

— Вот это поселок ваш?

— Да.

— Выбрались.—Леонид опять взял Катю под-руку.—Катя, мы больше никогда так не будем говорить. Мы чужие. Ты считаешь меня жестоким, а моя трагедия,—что во мне слишком мало стали. Ты хорошая девчурка, и мне не хочется, чтоб мы были врагами. Знай, что мне часто бывает очень тяжело, иногда кажется,—не хватит сил все это выдерживать. Не случайность, что среди нас так много морфинистов и кокаинистов. И очень много в условиях работы, что калечит душу. Не стоим мы на высоте. Но выбора нет. Вспомни иногда об этом, когда слишком захлестнет тебя ненависть.

Катя опять высвободила руку и бросила цветы на-земь. И задыхалас и слезы звенели в голосе, когда она сказала:

— Да, мы чужие... Мне припоминается, я читала у Лиссагарэ. Оди версальский офицер, во время расстрела коммунаров, воскликнул: «нужн иметь очень твердые политические убеждения, чтоб выдерживать душою т что мы делаем!». Но вот что обидно, о чем плакать хочется... Когда ва свергнут, когда вы даже сами сгниете на месте от своей бездарности и бе смысленной жестокости,—и тогда сиянием вас окружит история, и вы ярко призывною звездою будете светить над всем миром, и все вам простят! Чт хотите, делайте, омохнатьтесь до полной потери человеческого подобия,- все простят! И даже ничему не захотят верить... Где же, где же спр ведливость!

Леонид тихонько посмеивался. Они молча стали опускаться с перевал

---

* * *

Нынче утром певшее железо
Сердце мне изрезало в куски,
Оттого и мысли, может, лезут
На стены, на выступы тоски.

Нынче город — молотами в ухо
Мне вогнал распевов костыли,
Черных лестниц, сумерек и кухонь
Чад передо мною расстелив.

Ты в заре торжественной и трезвой,
Разогнавшей тленья тень и сон,
Хрипом этой песни не побрезгуй—
Зарумянь ей серое лицо.

Я хочу тебя увидеть, Гастев,
Длинным, свежим, звонким и стальным,
Чтобы мне — при всех стихов богатстве
Не хотелось верить остальным.

Чтоб стеклом холодных и спокойных
Глаз своих разрезами в сажень,
Ты б зашел за вешний подоконник
На моем девятом этаже,

Чтобы ты зарокотал, как жолоб
От бранчливых маевых дождей,
Чтобы мне не слышать этих жалоб,
С улиц, бьющих пылью в каждый день.

Чтобы ты сновал не снов основой —
Маяковским в яростном плену —
Чтоб ты шел, как в вихре лес сосновый,
Землю с небом струнами стянув.

Чтоб была строка твоя верна, как
Сплющенная пуля Пастернака,
Чтобы кровь текла, а не стихи—
С Нарбута отрубленной руки...

Мы — мещане. Стоит ли стараться,
Из подвалов наших, из мансард,
Мукой бесконечных операций,
Нарезать эпоху на сердца?

Может быть, и не было бы пользы,
Может, гром прошел бы полосой,
Но гляжу: весь мир свивает кольца,
Немота железных голосов.

И когда я забиваю в зори
Этой песни рвущийся забой,—
Нет! Никто б не мог меня поссорить
С будущим, зовущим за собой!

Нет, не даром этот я влачу гам
Чугуна и свежий скрежет пил,—
Это ты к расплывшимся лачугам
Комом песни к горлу подступил.

Я тебя и никогда не видел,
Только гул твой слышал на заре,
Но я знаю: ты живешь, Овидий
Горняков, шахтеров, слесарей.

Ты чего ж перед лицом врага стих?
Разве мы безмолвием больны?
Я хочу тебя услышать, Гастев,
Больше, чем кого из остальных.

**Ник. Асеев.**

I.

На площадях столиц был барабанный бой и конский топот,
Июльский вечер окровавил небосклон,
Никто не знал, что это сумерки Европы,
Прощальная заря торжественных времен.
Отшедший день, ты был высок и страден,
От катакомб, где смертью попирали смерть,
До самодержца, захлебнувшегося кровью рабьей,
В кашне был ветер, бурю встретил серп. —
Еще наш век — двенадцатый, а не первый,
Еще не вскрыт мироточивый труп,
И каждый камень падающей церкви
Еще таит тепло его лобзавших губ.
Но седина — на храмах. Тучен жрец забытый,
Трибун велеречивый спит, и оскудел мудрец;
Все — в житницах, поля пусты и осень сыплет
Владыкам золото, а нищете — багрец.
Раскрыты закромы. Зерно столетий топчет каждый,
Сокровищницы опустели. Мертв закон.
Табунщик-время освежает пажить,
Нас отметая для иных племен.
И с человека опадают ризы.
Загроможденный мир пред ним велик и пуст.
Опять, как на заре своей безумной жизни,
Он чтит огонь в печи и хлеба кус.
О радость жить на рубеже, когда чисты скрижали,
Не встретить дня и не обресть дорог,
Но видеть, как истаивает запад дальний
И разгорается восток.

II.

Умер, глаз не закрыли и положили в гроб.
Лавром увенчали, нарумянили хитро.
Меч вложили в десницу,
Чтобы мертвый правил и карал.
Победителя торжественная колесница,
Золоченый катафалк.
... И опять, опять в Версале маскарад,
Вежливый поклон и слезы каменных наяд.

Тиара Рима, роза Франции, России иноческой ряса,
Поэт в священном багряце —
И от всего осталась только розовая маска
На мертвеце.
За что сражается слепой хоругвеносец,
Кого ты тщишься оберечь?
Вотще рабы владычице подносят
Не голову, но тысячи голов предтеч.
Смердит столица мира, пахнет ладаном весна,
Где зодчий строил — мусорщик взрывает пепел,
И только память о былом великолепии
Волнует племена.

**Илья Эренбург.**

## Декабрист.

Тому свидетельство языческий сенат —
Сии дела не умирают.
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.

Шумели в первый раз германские дубы,
Европа плакала в тенетах,
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит,
С широким шумом самовара,
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.

Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства,
Но жертвы не хотят слепые небеса,
Вернее труд и постоянство.

Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

* * *

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И ныне я не камень,
А дерево пою:
Оно легко и грубо —
Из одного куска —
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.
Вбивайте крепче сваи,
Стучите молотки
О деревянном рае,
Где вещи так легки.

**О. Мандельштам.**

# Хлеб.

Отфыркиваясь по-телячьи
Густой пузырчатой ноздрей,
Сопит одышкою горячей,
Впираясь в дежкино ребро.
Ворочается (баба бабой),
Сырые бухнут телеса,
Пока в утоме сладкой слабой —
Тяжелый гриб не поднялся.
И вышлепнутый на лопату,
Полакированный водой,
В зиянье зоба, сам зобатый,
Метет капустной бородой.
И в голубое серой грудой
Мозгов вползя, сквози, дрожи,
Чтоб гаснущей рудой полудой
Стянуть желудочное ржи;
Чтоб затхлым запахом соломы,
Перепелами пропотев,
На гладкий стол, под нож знакомый
Переселиться в слепоте!
Лишь челюсть, комкая расскажет
Утробе, смоченной слюной,
О том, что скоро снова пажить
На стебель выплеснет зерно,
И утучнив его угрюмым,
Литым движением в кишках,
Отдаст, разнежив, сонным думам
О розовеньких гребешках,
Что прояснили взор девичий,
Отбросив русые с чела:
Над ломтем бабушкин обычай
Половой теплого дупла!

**Владимир Нарбут.**

# Голубые песни.

Роман.

Всеволод Иванов.

Часть первая. Корабельная вольница.

*(Продолжение.)*

## X.

Гореть бы дню за днем—жаркому, вечному огню. Пески под огнями неплавные, вихри на солнце, как радуга. Травы готовят человеку жатву—великий и сладостный груз горбатит спелые и желтые выи.

А здесь каждый день, как рана. И плод ли созревший—люди?..

Стоит Кирилл Михеич посреди двора, слышит—в генеральшиных раскупоренных комнатах пианино пробуют.

Фиоза Семеновна пронесла под навес платье:

— Куды?

— Вытресть, сложить. Моль сожрёт.

Кирилл Михеич сказал жене:

— Сундуки приготовь, в комнату перетащи. Ночью рассмотреть надо... — добавил торопливо: — Сёдни.

Фиоза Семеновна беком как-то, точно сто пудов ухмылочка:

— Ладно.

— Нечо губы гнуть, слушай, когды говорят.

— Я и то слушаю. Глядеть на тебя нельзя? Добрые люди на пианине играют... Плакать мне?

— Когда комиссар уедет?

— Я совдеп, что ли?.. Ступай в Народный Дом спроси. Я у него над головой не стою.

— Поговори еще.

Взвизгнула внезапно. Платье швырнула о-земь. Зеленобокая курица отбежала испуганно. Перо у курицы заспанное, мятое, в фиолетовых пятнах.

— Ну, вдарь, вдарь!.. Бить только знашь!..

— Фиёза!..

— Бей, говорю, бей!..

Кофта злобно пошла бутрами. Губы мокрее глаз. А зрачок вот-вот выпадет... И голос уже в кухне:

— Пермяки проклятые, душегубы уральские!..

Кирилл Михеич сердито посмотрел на Сергевну, подбиравшую кинутое, и прогнал:

— Не трожь!..

Устало поднимался на крыльцо Саженовых, увидал сбоку на доске кирпич, придерживающий сушившуюся тряпку, подумал:

«Леса на стройке разворуют»...

Во всю залу по-киргизски разостланы кошмы. Ни стульев, ни столов; у дверей забыли, надо думать, сундук. Офицеры, братья, бритоголовые лежат на кошме, а позади их у стены Варвара. Потому, должно быть, что увидал ее лежащую,—ноги заметил жиденькие и с широкой птичьей ступней.

Сидел Кирилл Михеич на сундуке, еле доставая каблуком до пола, и говорил неодобрительно:

— Напрасно, господа, азиатам подражаете. Архитектор, вон, в англичанина метит, все-таки... У англичанки-то, сказывают пароходов больше мильена. На сто человек пароход.

Старший брат-офицер, сухоликий, в мать, сказал:

— Европе конец, сосед. Европа, не привыкшая к крови, не выдержит и рассыпится... Ты в Петербурге не был?

И, не дожидая ответа, для себя больше, а может для сестры, сказал:

— Петербург в брюхо уходит, обомлел от крови. Распадется, на камне камня не будет, пока не придут туда люди, привыкшие веками к железу и крови. Зажмут, как тряпицу, это грязное и ленивое племя, обмакнут в керосин и подожгут Европу. Азиат это сделает. Будет Европе, узнала много, больше не надо ей!..

— Большевики, что ль?—спросила Варвара и еще добавила что-то не по-русски.

— Никаких большевиков нет. Это солдаты домой хотят... Вот и все большевики.

Кирилл Михеич, упираясь ладонью в теплую жесть сундука, склонил немного плечи, спросил:

— Знаю вас не первой день... имя, отчество каки будут?

— Яков... Илья Викторовичи...

— Тамерланом, так хочу понять, думаете... Таких ноне много. Кажный человек свою страсть иметь обязан.

Старший брат Илья поджал ноги и, качая тибетейкой, закричал в бас, об'емисто:

— Никаких страстей у этого грязного, неповоротливого племени, никаких страстей!.. У татар научились жрать много, да и только брюхо набивать. Мужик каждый день, хоть у него и сто тысяч капитала,—щи да каша. Чем богаче, тем жирнее щи да каша. А кроме щей?.. Блины, оладьи— все татарское, все. Пельмени у китайцев научились... Дети такие же растут—

коротконогие и тупые звери! И все мы этим больны, и все за это расплат понесем от раба, поднявшегося и мстящего за побои, которые мы ему на носили... мало! Держать его с петлей на шее и вести, пока не приведешь пока не нарастишь мускулы и лоб не сделаешь в палец. А не удастся— зарезать, утопить, но не сметь пускать на волю... Живьем нас будут зака пывать в землю, ноздри грязью забьют,—тогда поймем...

Яков легонько рассмеялся. Варвара, бороздя кончиком ботинка кошм спросила:

— Почему, Кирилл Михеич, не нравятся вам киргизы? Они на лошадя хорошо ездят. Яков, я хочу на лошади кататься.

— Большевики прокатят.

Кирилл Михеич сказал с неудовольствием:

— Одно и умеют,—ездить на лошади. Собаки, и больше слов им никаки нету. Крови-то они больше русских боятся.

Старуха-генеральша в дверях по-мужски перешагнула через поро сказала:

— В какие места меня завезли?.. Азия, Азия. Умрешь, поплакать н кому. Архитектор идет, тоже азиатец... Знала бы, не поехала ни за чт На Кавказе черкесы красивее, а здесь—не лицо, комок растоптанной гря какой-то...

— Карамель твои черкесы.

— Все - таки!..

Мать с дочерью заспорили. Братья тоже говорили между собой. Кири Михеич вздыхал. Через все комнаты несло бараниной и луком.

Шмуро, пригибаясь, вошел в комнату. Вытер мокрые усы, огляделся спросил торопливо:

— Здесь все свои?—Прислонившись к стене, махая шлемом от подб родка к груди, сказал, глотая слюну:—Во-первых, протоиерей Степан утопл в мешке сегодня утром. Тело еще не найдено. Во-вторых, Матрён Евграф и Леонтьев арестованы, час назад. Пришли четыре матроса и увели, даже ча не дали напиться.

Генеральша рыхло опустилась рядом с Кириллом Михеичем. Мелким как горох, крестиками крестилась, бормотала... Офицеры вскочили и то встали вдоль стены. Одна Варвара лежала, по кошачьи заглядывая в лица.

— Необходимо, господа, скрыться. Протоиерей, чорт бы его драл, вс выдал. Перетрусил... Все равно не спасся.

Он вдруг заплакал. Генеральша, взглянув на него, широко разевая ро закричала:

— Кровопийцы!.. Я вам говорила не уезжать!.. Что вам здесь понад билось!

Варвара притворила дверь. Рот у генеральши хлюпал, на платье тек слюна. Десны открылись. Всхлипывая, Шмуро ощупывал для чего-то карман

— Зачем я в эту авантюру влез. Всё Отчерчи... Неужели, господа, нельзя найти места? Пикеты, говорят, вокруг города. Кирилл Михеич, куда вы? Вы же здешний, вы должны знать.

Генеральша, ища образ сузившимися глазами, попеременно то молилась, то ругалась густой, еще не потерянной, руганью. Кожа собралась к ушам, нос удлинился и обмок.

Кирилл Михеич отвел локтем подскочившего Шмуро и, плотно притворив дверь, на крыльце вдруг вспомнил—шляпа осталась там... Здесь догнала его Варвара и тряся за руку, проговорила:

— Ничего. Они психопаты. Вам трудно здесь жить?..

Кирилл Михеич протянул к ней руку. Она еще раз пожала. Она повторила растерянно:

— Ничего. Жена у вас красивая.

Хотел было пройти к старику, но увидал на улице Пожилову, и за ней— Лариса и Зоя. Кирилл Михеич свернул в постройку и сел на кирпичи, где уже однажды разговаривал с Запусом.

Пожилова искала в дому и мастерской, а он сидел и слушал разговор двух девиц. Одна, по голосу—Лариса, царапала зонтиком кирпичи и спрашивала:

— Почему у них всегда ярче платья, чем у нас, и духи крепче? На мужчин, наверное, это действует сильнее.

— Хоть и проститутки, а платьев у них больше, чем у нас.

— Тяжело, наверное, с каждым спать.

— Попробуй.

Девицы рассмеялись тихонько, совсем просто.

— С мельницы выгонят, пойдем туда. Ты бы пошла?

— Я бы пошла. Только не в нашем городе. Здесь все знакомые ходят. Стыдно будет. У нас тело крепкое, много дадут.

— Туда, я у рабочих слышала, и Франциск ходит.

— Маме надо сказать.

Они опять рассмеялись.

— А муж у Фиозы Семеновны, говорят, там часто бывает. Перины вытащат в залу и на перинах пляшут.

Зашебуршал песок и напуганный голос Пожиловой проговорил:

— Не нашла. Здесь где-то был, и лешак унес. Отец говорит: Фиоза в Лебяжье уехала. Догонять, может, побежал.

— В Лебяжье? А пикеты?

— Ей что? Она с комиссаром-то—берег да вода. Пропустят. Это у нас мельницы отнимать можно, скот тоже бери, а ихнее тронут разве? Сперва фершала кормила, а тут...

И, заметив выскочившего из простенка Кирилла Михеича, замолчала. Дочери фыркнули, махая зонтиками, выскочили за ворота и с хохотом побежали по улице. Пожилова оправила шаль и, выпрямив хребет, пошла к мельнице степенно и важно.

А Кирилл Михеич, вырывая путавшиеся меж сапог полы, вбежал в мастерскую и, стуча крепким кулаком о верстак, закричал:

— Ты что, старый чорт, какое имел право Фиозу отпускать? Велел я тебе? Я здесь хозяин, али нет? Пока не отняли мое добро—не сметь трогать... Убью, курвы!..

Поликарпыч отряхнул медленно бородку и, словно радуясь, указал на Артюшку:

— Я тут не при чем. Это его штука.

Артюшка затянулся папироской, сплюнул на край табурета и, сапогом стирая слюну, сказал:

— Не откусят. Тебе хватит. Явится, Михеич. А в Лебяжье я с ней цидульку черканул. Я отвечаю. За все, и за неё тоже.

Он вытянул ноги и, глядя в запылившееся синее окно, зевнул:

— Слышал? Попа утопили, а он других за собой тянет. У Пожиловой мельницу отняли, и еще... Запус на усмиренье, в станицы едет. Да!

— Вишь,—а ты ругаешься,—сказал Поликарпыч, щепочкой почесывая за ухом.—Ругать отца, парень, не хорошо. Грешно, однако.

---

Подымает желтые пахучие пески раскосый ветер. Полощет их в тугом и жарком небе,—у Иртыша оставляет их усталых и жалобных.

Овцы идут по саксаулам. Курдюки упругие и жирные, как груди сартянки. И опять над песками небо, и в сохлых травах свистит белобрюхий суслик.

И опять степь—от Иртыша до Тянь-Шаня, и от Тарабага-Ртайских гор—пустыни Монгольской, а за ними ленивый в шелках китаец и в Желтом море неуклюжие джонки.

Всех земель усталые пальцы спускаются, а спустятся в море и засыпают... Усталые путники всех земель—дни.

---

А тут, в самом доме залазь на полати и, уткнувшись в штукатурку, старайся не слышать:

— Хозяин! Хозяин!..

Запус—опять, и с пустяком: в Петрограде, мол, восстание и в Москве бои. Солдаты с немцами братуются и рабочие требуют фабрик. Раз уже к тому пошло, пущай. Но у Кирилла Михеича и без этого—забот...

Уткнись носом в свою собственную штукатурку, на полатях и жди—сколько? Кто знает. Дураки спрашивают, бегают к Кириллу Михеичу. А Запус знает, а весь Совдеп знает? Никто ничего не знает, притворяются только будто знают. Что каждый год весна—ясно, но человеческой жизни год какой?

Ткнуло жаром в затылок...

— Господи! Владыко живота моего...

Откапывая замусоренные, унесенные куда-то на донышко молитвы, сплетал их—тут у штукатурки и, чуть подымая глаз, старался достать икону. Но бревенчатая матка полатей закрывала образ, а дальше головы высунуть нельзя, Запус нет-нет да и крикнет:

— Хозяин!..

Дыханье послышалось из сеней. Пришепетывает немного и придушенно—словно в тело говорит:

— Ты сюда иди. Он ушел.

Артюшка. А за ним—подошвой легко, словно вышивает шаг—Олимпиада.

— Не ушел, тоже наплевать. Я не привык кобениться. Уговаривать тебя нечего, слава Богу, семь лет замужем. Я Фиозе говорил, не хочет.

— Меня ты, Артемий, брось. Из Фиозы лепи чего хочешь...

— Я из всех вас вылеплю. Я с фронта приехал сюда, чтоб отсюда не бегать. Калёным железом надо.

— Надоел ты мне с этим железом. Слов других нету?

— С меня и этих хватит. Я Фиозу просил, не может или не хочет. В станицу удрала. Нам надо Запуса удержать на неделю. А потом казаков соберем...

— Треплетесь.

— Не твое дело.

— Пу-усти!..

Шоркнуло по стене материей. Запус, насвистывая, прошел в залу, звякнул стаканом. Ушел. Шопотом:

— Липа, ты пойми. Господи, да разве мы... звери. Кого мне просить. За себя я стараюсь? Пропусти день, два, опоздай—приедут в станицы красногвардейцы. Как каяться? Не хочу каяться, что я собака—выть. Ей-Богу, я нож сейчас себе в горло, на месте, к чорту!.. Сейчас надо делать. Без Запуса они куда?

— Убей Запуса. Очень просто. А то Михеича попроси, он не трус—убьет. Пусти, руку... Ступай к киргизкам своим.

Дыханье—кобыльим молоком пахнущее,—на всю комнату. От него что-ли вспотели ноги у Кирилла Михеича. Руку отлежал, а переменить почему-то боязно...

— Тебе легко, Липа... Фиоза—солома, ее на подстилку. Убить нельзя,—заложников перестреляют. Хуже получится. А здесь на два дня, на неделю задержать. Поди-и!..

— Не стыдно, Артемий!

— А ну вас... Что я—мешок: ничего не чувствую, разве!

— Киргизок своих пошли.

— Отстань ты с киргизками. Мало что...

Вскрикнула:

— Мало что? Ну, так и я могу по-своему распоряжаться. Тело мое

— Липа!..

— Ладно. Отстань. А к Василию Антонычу пойду. Отчего не пойти, раз

муж разрешает. Можно. Валяй, Олимпиада Семеновна, спасай отечество... И-их, Сусанины...

Открыла дверь в залу, позвала:

— Василий Антоныч!..

— Ась?—отозвался Запус, скрипнул чем-то.

— Можно на минуточку?

Опять шаг. С порога на пол царапают сапогом—Запус, он ногой даже спокойно не может:

— Чем могу служить?—И смеется.

— Алимбек программу большевиков просит.

— Он? Да он по-русски только ругаться умеет.

— Старик, говорит, переведет. Поликарпыч.

Даже, кажется, ладонями хлопнул.

— Чудесно! Могу. Я сейчас принесу...

— А вы заняты? К вам можно посидеть?

— Ко мне? Пожалуйста. Во-от везет-то. Идемте. Сергевне бы сказать насчет самовара.

— Алимбек скажет.

И будто весело:

— Скажи, Алимбек.

— Верно, скажи. А программу я тебе сейчас достану, принесу. Непременно надо на киргизском языке напечатать.

Остальное унес в залу и дальше—в кабинет...

Слез Кирилл Михеич с полатей. Артюшку догнал в сенях. Тронул за плечо. Сказал тихонько:

— Я, Артюш, от греха дальше—пойду ее позову обратно. Скажи пошутил.

Артюшка быстро повернулся, схватил Кирилла Михеича за горло, ткнул затылком в доски сеней. Выпустил и, откинув локоть, кулаком ударил его в скулу.

Тут у стены и нашел его Запус, вернувшийся с книжкой:

— Киргиза не видали? Работника?

— Нет.

— Передайте ему, пожалуйста. Он, наверное, сейчас придет—Сергевну ищет.

Так с книжкой и вышел Кирилл Михеич.

Поликарпыч на бревне вдевал нитку в иголку— все никак не мог попасть. Сидел он без рубахи,—лежала для починки она на коленях. Костлявое тело распрямлялось под жарой, краснело. Увидав Кирилла Михеича, спросил

— Книжкой антиресуешься. Со скуки помогат. Я ране любитель был глаза когда целыми находились. Гуака читал? Потешно...

И, указывая иголкой на прыгавших подле бревна воробьев, сказал снисходительно:

— Самая тормошивая птица. Прямо как оглашенные...

## XI.

Машинист парохода «Андрей Первозванный», т. Никифоров, был недоволен. Он говорил т. Запусу:

— Народное добро из-за буржуев тратить—все время под парами стоим. Сделать один рейс по Иртышу и снести к чортовой матери все казацкое поселение. Не лезь против Советской власти, сука! Я этих курвов-казаков по девятьсот пятому году знаю.

Лоб его был так же морщинист, как гладки—части машин. Особенно, как все машинисты—слушая под полом ровный гул, стоял он в каюте, стучал по револьверу и жаловался:

— На кой мне прах эту штуку, если я этой сволочи, которая меня в пятом году порола,—пулю не могу всунуть.

— Там дети, товарищ. Женщины.

— Дети в тридцать лет. Знаем мы этих лодырей.

В кают-компании на разбросанных по полу шинелях валялись босоногие люди, подпоясанные солдатскими ремнями. Спорили, кричали. Пересыпали из подсумков обоймы. На рояле валялись пулеметные ленты, а искусственная пальма сушила чье-то выстиранное белье. Дым от махорки. Плевки—в ладонь.

— Гнать туды пароход!..

— Товарищ Никифоров...

— Тише, давай высказаться! Обожди.

— Сами знам.

Маленький, косоглазый слегка, наборщик Заботин прыгал через валявшиеся тела и кричал:

— Ступай наверх! Не пройти.

— Жарко. Яйца спекутся...

— Хо-хо-хо!..

И хохот был, словно хлюпали о воду пароходные колеса.

А ночью вспыхивал на носу парохода прожектор. Сначала прорезал сапфирно-золотистые яры, потом прыгал на острые крыши городка и желтил фигурки патрулей на песчаных улицах.

— Тра-ави!..—темно кричал капитан с мостка.

Лопались со звоном стальные воды. Весь завешенный черным—только прыгал и не мог отпрыгнуть растянутый треугольник прожектора—грузно отходил пароход на средину Иртыша. Здесь, чавкая и, давясь водой, ходил он всю ночь вдоль берега—взад и вперед, взад и вперед.

— Ждешь?—спрашивал осторожно Никифоров.

И Запус отвечал медленно:

— Жду.

Пахло от машиниста маслом, углем, и папироска не могла осветить его широкое квадратное лицо. Качая рукой перила, он говорил:

— Тебе ждать можно. А у меня—жена в Омске и трое детей. Надо кончать, кто не согласен,—в воду, под пароход. Рабочему человеку некогда.

— Долго ждали, подождем еще.

— Кто ждал-то. У тебя ус-то короче тараканьего. В городе сказывают—утопил, будто, попа-то ты.

— Пускай.

— И взаболь утопить надо. Не лезь.

Он наклонялся вперед и нюхал сухой, пахнущий деревом, воздух.

— Много в нем офицеров?

— Не знаю.

— Значит, много, коли ждешь восстанья. Трехдюймовочку бы укрепить. Завтра привезем из казарм. Куда им, все равно домой убегут, солдаты. Скоро уборка.

Отойдя, он тоскливо спрашивал:

— Когда здесь дожди будут?.. Пойду песни петь.

Сережка Соколов, из приказчиков, играл на балалайке. Затягивали:

На диком бреге Иртыша...

Не допев, обрывали с визгом. Бойко пели «Марсельезу».

Золотисто шелестели за Иртышом камыши. Гуси гоготали сонно. Луна лежала на струях как огромное серебряное блюдо. Тополя царапали его и не могли оцарапнуть.

Слова пахли водой—синие и широкие...

Внизу, в каюте у трюма сидел протоиерей Смирнов, офицер—Беленький и Матрён Евграфыч, купец Мятлёв.

У каютки стоял часовой и, когда арестованные просились по нужде, он хлопал прикладом в пол и кричал:

— В клозет вас, буржуев, посадить. Гадить умеете, кромя што!..

Река—сытая и теплая—подымалась и лезла, ухмыляясь, по бортам. Брызги теплые как кровь и лопасти парохода лениво и безучастно опрокидывались...

Быстро перебирая косыми крыльями, проносились над пароходом чайки. Дым из трубы—ленивая и лохматая птица. Ночи—широкие и синие воды. Вечера—сторожкие и чуткие звери...

Таким вечером пришла Олимпиада на сходни.

Темно-синяя смола капала с каната—таял он будто. Не мог будто сдержать у пристани парохода, вот-вот отпустит. Пойдет пароход в тающие, как смола, воды. Пойдет, окуная в теплые воды распарившуюся потную грудь.

Олимпиада, задевая платьем канат, стояла у сходен, где красногвардеец с высокими скулами (сам тоже высокий) спрашивал, будто ел дыню:

— Пропуски имеите, товарищи?

И не на пропуски глядел, а на плоды мягкие и вкусные.

Олимпиада говорила:

— У Пожиловой припадки. Со злости и с горя. Зачем мельницу отняли?

— Надо.

Передразнила будто. Глянула из-синя густыми ресницами (гуще бровей), зрачок как лисица в заросли—золотисто-серый. Карман гимнастерки Запуса словно прилип к телу, обтянул сердце, вздохнуть тяжело.

— На-адо!.. Озорники. Ты думаешь, я к тебе пришла, соскучилась? У меня муж есть. Я пароход хочу осмотреть. Протоиерея, правда, утопили?

— На пароход не могу.—Запус тряхнул головой, сдернул шапочку и рассмеялся:—Ей-Богу, не могу. Ты — враг революции, тебе здесь нечего делать. Поняла?

— Я хочу на пароход.

— Мне бы тебя по-настоящему арестовать надо...

Пригладил ладонью шапочку, на упрямую щеку Олимпиады взглянул. Плечи у ней как кровь—платье цветное, праздничное. Ресницы распахнулись, глаз—смола расплавленная.

— Арестуй.

— Арестую.

— Говорят, на восстанье поедешь. Мне почему не говоришь?

— Здесь иные слова нужно теперь. Язык у нас русских тягучий, вялый—только песни петь, а не приказывать. Где у тебя муж?

— Тебе лучше знать. Ты с ним воюешь. Зачем протоиерея утопил?

— Врут, живой. В каюте сидит.

— Можно посмотреть?

Длинноволосый, в споре восторженно кричал кому-то на палубе.

— Когда сбираются два интеллигента—начинают говорить о литературе и писателях. Два мужика,—о водке и пашне... Мы, рабочие, даже наедине говорим и знаем о борьбе! Товарищ Никифоров! С проникновением коммунистических идей в массы, с момента овладения ими сознанием...

Олимпиада оправила волосы:

— Голос у него красивый. Значит, можно посмотреть?

— Сколько в тебе корней от них. Ты киргизский язык знаешь?

— Знаю. Зачем?

— Надо. Программу переводить.

— Но я писать не умею.

— Найдем.

— Значит, пойду?

— Попа лобызать? Если так интересно, иди. Товарищ Хлебов, пропустите на пароход барышню. Скажите товарищу Горчишникову—пусть допустит ее на свидание с арестованными.

На палубе под зонтиком, воткнутым в боченок с углем,—сидел и учился печатать на машинке товарищ Горчишников. Пальцы были широкие и все хватали по две клавиши. Дальше в повалку лежали красногвардейцы. Курили. Сплевывали через борт.

Товарищ Горчишников, увидав Олимпиаду, закрыл машинку фуражкой, сверху прислонил ружье, чтобы не отнесло ветром. Сказал строго:

— Кто будет лапаться, в харю дам. Не трожь.

Мадьяры, немцы, русины, пять киргиз. У всех на рукавах красные ленты. Подсумки переполнены патронами. Подле машинного отделения кочегары спорили о всемирной революции. Какой-то тоненький, с бабьим голоском, матросик толкался подле толпы и взывал:

— Брешут всё, бра-атцы!.. Никогда таких чудес не было!.. Бре-ешут.

Из толпы, прерывая речь, бухал тяжело Никифоров:

— Ты возражать, так возражай по пунктам. А за такой черносотенный галдеж, Степка, сунь ему в зубы!..

— Я те суну штык в пузо!..

— А да-ай ему!... Э-эх...

Толкались. Кричали. Звенела лебедка, подымая якорь. Пароход словно нагружали чем-то драгоценнейшим и спешным... Даже машины акали по-иному.

...Указывая на каютку, Горчишников сказал:

— Здеся.

— Что?

— Поп и вся остальная офицерня.

Олимпиада улыбнулась и прошла дальше:

— Мне их не нужно.

— А приказывал, кажись...

— Может не мне.

— Значит, ослышался. Другая барышня, значит. Как это я?.. И то—какая вы барышня, мужняя жена, слава Богу. Кирилл Михеич-то здоров?

— Ничего.

— Ен мужик крепкой. Жалко, что в буржуи переписался. Может судить будут, а может простят. Тут ведь, Олимпиада Семеновна, штука-то на весь мир завязывается. Социальная революция—у всех отберут и поделят.

— Раздерутся.

— Ничего. Выдюжут.

Олимпиада по сходням сходила с парохода. Запус стоял у конторки пристани. Чубастый корявый казак, с шашкой через плечо и со следами оторванных погон, рассказывал ему, не выговаривая «ц», а—«с»,—о том, как захватили они баржу. Пароход перерубил канат и, кинув баржу, уплыл в Семипалатинск, вверх по Иртышу. Тогда они поймали плот с известкой и баржу прицепили к плоту. На песках нашли троих расстрелянных казаков-фронтовиков. Приплавили их, на расследование.

Плот пристал недалеко от пристани. Уткнувшись в сутунки, широкая, груженая пшеницей баржа зевала в небо раскрытыми пастями люков. На соломе спали казаки-восстанщики, а подле воды, прикрытые соломой («чтобы не протухли»—сказал казак), в лодке—трое расстрелянных.

С парохода к плоту бежали красногвардейцы. Кто-то в тележке под'ехал к яру, красногвардеец пригрозил ружьем. Тележка быстро повернула в проулок.

— Поговорили?—спросил Запус Олимпиаду.

— Да.

— Передайте, пожалуйста, гражданину Качанову—в ближайшие дни он имеет дать показание по делу офицеров. Не отлучался бы. Я буду на квартире завтра или послезавтра.

— Передам.

— Всего хорошего.

И, прерывая рассказ казака, сказал подошедшему Заботину:

— Женщина много стоит. О заговоре донесла женщина, на попа донесла. Дайте мне табаку, у меня весь вышел.

А матрос, лениво крутивший лебедку, плюнул под ногу на железные плиты, вытер пот и сказал в реку:

— Любит бабье ево...

## XII.

Через два дня отряд конной красной гвардии ехал подавлять восстания казачьих станиц.

Серая полынь целовала дороги. На спиленных телеграфных столбах торчали огромные темноклювые беркуты. Таволожник рос по песчаным холмам. Тени жидкие, как степные голоса.

Скрипели длинные телеги. На передках пулеметы.

По случаю далекого пути красногвардейцы были в сапогах. Фуражек не хватило, выдали из конфискованного магазина соломенные шляпы. Словно снопы возвращались в поля.

Запус лежал на кошме—золотой и созревший колос. Рассказывал, как бежал из германского плена.

Лошади рассекали потными мордами сухую жару. От Иртыша наносило запах воды, тогда лошади ржали.

И всё—до неба полыни. Облака, как горькая и сухая полынь. Галька по ярам—оранжевая, синяя и палевая.

Хохот с телег—короткий, как стук колёс.

Беркут на столбе—медлителен и хмур. Ему всё знакомо. Триста лет живет беркут. А может и больше...

---

Сразу после от'езда Запуса выкатил из-под навеса телегу Артюшка, взнуздал лошадь. Потянул Кирилл Михеич оглоблю к себе и сказал:

— Не трожь.

Кривая азиатская нога у Артюшки. Глаз раскосый, как туркменская сабля. Не саблей, глазом по Кириллу Михеичу.

— Отстань. Поеду.

— Моё добро. Не смей телегу трогать. Ты что в чужом доме распоряжаешься.

— Доноси. Пусть в мешок меня. Иди в Народный Дом. А я если успею, запрягу. Не успею, твое счастье. Доноси.

— Курва ты, а не офицер,—сказал Кирилл Михеич.

Натянул возжи Артюшка. Кожа на щеках темная.

— За кирпичами поехал. Если спросит кто. На пароход кирпич потребовался. Понял?

— Вались!..

Глазом раскосым по Олимпиаде. Оглядел и выругал прогнившей солдатской матершиной. И, толстой киргизской нагайкой лупцуя лошадь, ускакал.

— За что он тебя?—спросил Кирилл Михеич.

Не ответила Олимпиада, ушла в комнату. Как мышь, скреблась там в каких-то бумажках, а дом сразу стал длинный, пыльный и чужой. Сразу в залу выскочили откуда-то крысы, по пыли—цепкие слежки ножек. Пыльная возилась у горшков Сергевна. Глаза у ней осели, поблекли совсем как гнилые лоскутья.

Заглядывать в комнаты стало неловко и как-то жутко. Будто лежал покойник, и Олимпиада отчитывала его.

А тут к вечеру, вместе с разморенными и тусклыми лучами месяца, входило в тело и кидалось по жилам неуёмное плотское желание. Бродил тогда по ограде Кирилл Михеич, обсасывал липкой нехорошей слюной почему-то потолстевшие губы.

Выпятив грудь, проводил по ограде (через забор, видно—упал забор) архитектор Шмуро генеральскую дочь Варвару—и особенно прижимал ее руку, точно разрывая что-то—знал эту голодную плотскую ужимочку Кирилл Михеич, в азиатском доме видал. Чего хотела Варвара, нельзя было узнать, шла она бойко, сверкая ярким и зовущим платьем. Гуляли они по кладбищу, возвращаясь поздно. Разговора их Кириллу Михеичу не слышно.

А в доме братья офицеры Илья и Яков бродили пьяные и в погонах. За воротами погоны снимали, и от этого плечи как-то суживались, стягивались к голове. Пили, пели студенческие песни.

Ночью пробирались в дом, близ заборов—днем боялись ходить городом—дочери Пожиловой Лариса и Зоя. Тогда старый дворянский дом сразу разбухал, как покойник на четвертый день. Шел из дома тошный, тяжелый человеческий запах. Плясали, скрипя половицами. Офицеры гикали, один за другим—такие крики слышал Кирилл Михеич в бору.

Улица эта — неглавная, народа революционного идет мало. Киргизы везли для чего-то мох, овчины. Сваливали посреди базара и, не дождавшись никого, испуганно гнали обратно в степь лохматых и веселых верблюдов. Еще учитель Отчерчи появлялся. Мышиным шопотом шептал у крыльца—кого арестовали, кто расстрелян. И глаза у него были словно расстрелянные.

Яростно в мастерской катал Поликарпыч пимы. «Кому?»—спрашивал Кирилл Михеич. А пимы катал старик огромные, как бревна—на мамонтову ногу. Ставил их рядами по лавке, и на пимы было жутко смотреть. Вот кто-то придет, наденет их, и тогда конец всему.

Пришел как-то Горчишников. Был он днем или вечером—никому не нужно знать. Вместо сапог—рваные на босую ногу галоши. Лица не упомнишь. А вот получился новый подрядчик вместо Кирилла Михеича—Горчишников; какими капиталами обогател, таких Кириллу Михеичу Качанову не иметь. Купил все добро Кирилла Михеича неизвестно тоже у кого. Осматривает и переписывает так—куплено. Карандаш в кочковатых пальцах помуслит и спросит: «А ишшо что я конхфискую?» И скажет, что он конфискует народное достояние народу. Очень прекрасно и просто, как щи. Ешь. Ходил за ним Жорж-Борман (прозвание такое)—парикмахер Кочерга. Ходил этот Жорж-Борман бочком, осматривал и восхищался: «счастье какое привалило народу! Думали разве дождаться». Увидал пимы, выкатанные Поликарпычем, и отвернулся. Ничего не спросил. И никто не спросил. А Поликарпыч катал, не оборачиваясь, яростно и быстро. Шерсть белая, на нарах—сугробы... Так обошли, записали кирпичи и плахи, кирпичный завод, церковную постройку, амбары с шерстью и пимами, трех лошадей. Не заходя в дом, записали комод, четыре комнаты и надобный для Ревкома письменный стол. В бор тоже не заходили—далеко полтораста верст, приказали сказать, сколько плах и дров заготовлено как для пароходов, так для стройки, топлива и собственных надобностей. Плоты тоже, известку в Долонской станице. Оказалось много для одного человека, и Жорж-Борман пожалел: «Тяжело, небось, управляться. Теперь спокойнее. Народу будете работать. Я вас брить бесплатно буду, также и стричь. Надо прическу придумать советскую». Поблагодарил Кирилл Михеич, а про народную работу сказал, что на люду и смерть красна. И в голову одна за другой полезли ненужные совсем пословицы. Дождь пошел. Кирпичи лежали у стройки ненужные и хилые. Все сплошь ненужно. А нужное—какое—оно и где? Кирпичи у ног, плахи. Конфискованная лошадь ржет, кормить-поить надо. Так и ходи изо дня в день,—пока кормить народом не будут. Тучи над островерхими крышами—пахучие, жаркие, как вынутые из печи хлеба. Оседали крыши, испревали, и дождь их размачивал как леденцы. Дни—как гнилые воды—не текут, не сохнут. Пустой, прошлых годов, шлялся по улицам ветер. Толкался песчаной мордой в простреленные заборы и, облизывая губы, укладывался на желтых ярах, у незапинающих и знающих свою дорогу струй.

И бежал и дымил небо двух'этажный американского типа пароход «Андрей Первозванный».

## XIII.

Ночью с фонарем пришел в мастерскую Кирилл Михеич.

Старик, натягивая похожие на пузыри штаны, спросил:

— Куды?

Огонь от фонаря на лице—желток яичный. Голос—как скорлупа, давится.

Кирилл Михеич:

— Сапоги скинь. Прибрано сено?

— Сеновал?

В такую темь каждое слово—что обвал. Потому—не договаривают.

— Лопату давай.

— Половики сготовь.

Фонарь прикрыли половиком. Огонь у него остроносный.

— Не разбрасывай землю. На половики клади.

Половики с землей желтые, широкие, словно коровы. Песок жирнее масла.

В погребе запахи льдов. Плесень на досках. Навалили сена.

Таскали вдвоем сундуки. Ставили один на другой.

Точно клали сундуки на него, заплакал Поликарпыч. Слеза зеленая, как плесень.

— Поори еще.

— Жалко, поди.

— Плотнее клади, не войдет.

Тоненько запела у соседей Варвара—точно в сундуке поет. Старик даже каблуком стукнул:

— Воет. Тоскует.

— Поет.

— Поют не так. Я знаю, как поют. Иначе.

Песок тяжелый, как золото—в погреб. И глотает же яма! Будто уходят сундуки—глубже колодца. Остановился Поликарпыч, читал скороговоркой неразборчивыми прадедовскими словами. А Кирилл Михеич понимал:

Заговорная смерть, недотрожная темь—
выходи из села, не давай счастье раба
Кирилла из закутья, из двора. В нашем
городе ходит Митрий святой, с ладоном,
со свящей, со горячим мечом да пра-
щей. Мы тебя, грабителя, сожгем огнем,
кочергой загребем, помелом заметем
и попелом забьем—не ходи на наши пе-
ски-заклянцы. Чур, наше добро, ситцы, бар-
хаты, плисы, серебро, золото, медь семи-
жильную, белосизые шубы, кресты, образа—
за святые молитвы, чур!..

Заровнял Поликарпыч, притоптал. Трухой засыпал, сеном. А с сена сойти,—отнялись ноги. Ребячьим плачем выл. Фонарь у него в руке клевал острым клювом—мохнатая синяя птица.

— За какие таки грехи, сыночек, прятать-то?.. А?

Мыслей не находилось иных, только вопросы. Как вилами в сено, пусто вздевал к сыну руки. А Кирилл Михеич стоял у порога, торопил:

— Пойдем. Увидют.

И не шли. Сели оба, ждали, прижавшись плечо в плечо. Хотелось Кириллу Михеичу жалостных слов, а как попросить—губы привыкли говорить другое. Сказал:

— Сергевну услал, Олимпиада не то спит, не то молится.

Часы ударили—раз. В церкви здесь отбивают часы.

— О-ом...—колоколом окнули большим.

И сразу за ним:

— Ом! ом! ом! ом!.. м!м!м!

Как псы из аула, один за другим—черные мохнатые звуки ломали небо.

Дернул Поликарпыч за плечо:

— Набат!

И не успел пальцы снять, Кирилл Михеич—в ограде. Путаясь ногами в щебне, грудью ловил набат. Закричать что-то хотел—не мог. Прислонился к постройке, слушал.

По кварталу всему захлопали дверями. Лампы на крылечке выпрыгнули—жмурятся от сухой и плотной сини. В коротенькой юбочке выпрыгнула Варвара, крикнула:

— Что там такое?

И, басом одевая ее, мать:

— Да, да, что случилось?

— На-абат!..

А он оседает медногривый ко всем углам. Трясет ставнями. Скрипит дверями:

— Ом!.. ом!.. ом!..

С другой церкви—еще обильнее медным ревом:

— Ам!.. м... м... м... ам!.. ам!..

И вдруг из-за джатаков, со степи тра-ахнуло, раскололо на куски небо и свистнуло по улицам:

— А та-та-та... ат... ета-ета-ета-ата!.. ат!..

Кто-то, словно раненый, стонал и путался в заборах. Медный гул забивал ему дорогу. В заборах же металась выскочившая из притонов лошадь.

— Та. Та... а-а-ать!.. ат!..

Взвизгнуло по заборам, туша огни:

— Стреляют, владычица!..

Только два офицера остались на крыльце. Вдруг помолодевшими трезвыми голосами говорили:

— Большевикам со степи зачем?.. Идут цепями. Вот это слева, а тут...—Ну, да—не большевики.

И громко, точно в телефонную трубку, крикнул:

— Мама! Достань кожаное обмундирование.

Визжали напуганно болты дверей.

До утра,—затянутые в ремни с прицепленными револьверами,—сидели на крыльце. Солнце встало и осело розовато-золотым пятном на их плечи.

По улицам скачет казак, машет бело-зеленым флагом:

— Граждане!—кричит он, с седла заглядывая в ограды:—арестовывайте! На улицы не показывайся, сичас наступленье на Иртыш!

Стучит флагом в ставни и, не дожидаясь ответа, скачет дальше:

— Большевики, выходи!..

А за ним густой толпой показались киргизы с длинными деревянными пиками.

---

В казармах солдат застали сонных. Не проснувшихся еще, выгнали их в подштанниках на плац между розовых зданий. Казачий офицер на ленивой лошади крикнул безучастно:

— По приказу Временного Правительства, разоружаетесь! За пособничество большевикам будете судимы. Сми-ирно-о!..

Солдаты, зевая и вздрагивая от холода, как только офицер шире разинул рот, крикнули:

— Ура-а!..

В это время пароход «Андрей Первозванный» скинул причалы, немножко переваливаясь, вышел на средину реки и ударил по улицам из пулеметов.

---

Квартальный староста Вязьмитин обходил дома.

Пришел и к Кириллу Михеичу. Заглядывая в книгу, сказал строго:

— Приказано—мобилизовать до пятидесяти лет. Вам сколько?

— Сорок два.

Улыбнулся пушистой бородой. Щеки у него маленькие, с яичко.

— Придется. Через два часа являться, к церкви. Заборов держитесь—большевики по улицам палят. Оружие есть?

— Нету.

— Ну, хоть штаны солдатские наденьте. Ползти придется.

Стукнул ребром руки о книгу, добавил задумчиво:

— Ползти—песок, жарко. Ладно грязи нету. Больше мужиков не водится в доме?

Кирилл Михеич сказал уныло:

— Перебьют. Не пойти разе?.. А коли вернутся с Запусом?

— Убили Запуса. Артюшка.

— Ну-у?!.. Откуда известно?

Староста поглядел вниз на усы и сказал строго:

— Знаю. Естафета прискакала из станиц. Труп везут. Икон награбленных—обоз с ними захватили...

Верно насквозь прожжена земля: Иртыш паром исходит—от прокаленных желтых вод—голубой столб пара; над рекой другая река—тень реки.

От вод до неба—голубая жила. И, как тень пароходная,—прерывный спутанный гудок; вверху, винтит в жиле:

— У-ук! ук!.. а-а-а-и-и... ук! ук!.. а-а-и-а-а-и-и... ук!.. у-у...

Песком, словно печью раскаленной, ползешь. В голове угар, тополя от палисадников пахнут вениками, и пулемет с парохода—как брызги на каменку. От каждого брызга соленый пот по хребту.

Не один Кирилл Михеич, так чувствовали все. Как волки или рысь по сучьям—поползли именитые Павлодарские граждане к пароходу, к ярам. Срединой улицы нельзя,—пулемет стрекочет.

Винтовки в руках обратно, к дому тянут: словно пятипудовые рельсы в пальцах. А нельзя—тонкоребрый офицер полз позади всех с одной стороны, с другой позади—в новых кожаных куртках сыновья Саженовой.

Кричал офицер Долонко:

— Граждане, будьте неустрашимей. До яра два квартала осталось... Ничего, ничего—ура кричите, легче будет.

Неумелыми голосами (они все люди нужные—отсрочники, на оборону родины) кричали разрозненно:

— Ура-а-а!..

И рядом, с других улиц взывали к ним заблудившиеся в песках таким же самодельным «ура».

Яков Саженов полз не на четвереньках, а на коленях, и в одной руке держал револьвер. Кожаная куртка блестела ярче револьвера.

Кирилл Михеич полз впереди его людей на десять и при каждом его крике оборачивался:

— Двигайтесь, двигайтесь! Этак к ночи приползем, до вечера, что ль? Жива-а!.. Кто свыше трех минут отдыхать будет,—пристрелю собственноручно.

И ползли—по одной стороне улицы—одни, по другой—другие. А по средине—в жару, в пыли невидимой пароходные несговорчивые пули.

Было много тех, что стояли в очереди на сходнях—платившие контрибуцию. Первой гильдии—Афанасий Семенов, Крылов—табачный плантатор, Колокольщиковы—старик с сыном. Об них кто-то вздохнул, завидуя:

— Добровольно ползут!

Колокольщиков, пыля бородой песчаные кучи, полз впереди, гордо подняв голову, и одобрял:

— Порадеем, православные. Погибель ихняя последняя пришла.

А впереди, через человека, полз архитектор Шмуро, оборачивался к подрядчику и говорил скорбно:

— Разве так в Англии, Кирилл Михеич, водится? В такое унизительное положение человека выдвигать. Черви мы—ползти?!

Какой-то почтовый чиновник прокричал с другой стороны улицы:

— А вы на земле проживете, как черви слепые! Горький немцам продался и на деньги немецкие дома в Англии скупает. Вот царь-то кого не повесил!..

— Ура-а!..—закричал он отчаянно.

Шмуро опять обернулся:

— Фиоза Семеновна не приехала? Напрасно вы жену отпускаете, в таком азиатском государстве надо по-азиатски поступать.

Кириллу Михеичу говорить не хотелось, а по песку молчком ползти неудобно. Еще то,—надел Артюшкины штаны, а они узки, в паху режут.

— Кто теперь город охранять будет? На солдат надежи нету, не нам же придётся. Самых хороших плотников перебьют, это за что же такая мука на Павлодар-то пала? Поеду я из этих мест, как только дорога ослобонится.

Фельдшер Николаенко где-то тут тоже ползет. Голова у него голая как пузырь, пахнет от него иодоформом. На кого нашла позариться Фиоза Семеновна?

— Ладно хоть к уборке счистят шваль-то. Хлеба бы под жатву сгнили.

Штык ружья выскользнул из потных пальцев. Прапорщик Долонко закричал обидно:

— Качанов, не отставай. Э-эй, подтянись, яры близко.

В песок сказал Кирилл Михеич:

— Я тебе солдат? Чего орать, ты парень не очень-то.

А правильно—оборвались дома, яры начались утоптанные.

— Окопайсь!..

Гуляют здесь, вдоль берега по яру вечерами барышни с кавалерами. От каланчи до пристани и обратно. Двести сажен—туда, сюда. Жалко такое место рыть.

Выкопали перед головами ямки. Опалило солнце спины, вспрыгнуло и сталось так, высасывая пот и силу. Передвинул затвор Кирилл Михеич и, чтоб домой скорей уйти, выстрелил в пароход. Так же сделали все.

Саженовы командовали. Команды никто не мог понять, стреляли больше по биению сердца: легче. Офицерам казалось, что дело налаживается, и они в бинокль считали на пароходе убитых.

— Еще один!.. Надбавь!.. По корме огонь, левым флангом,—ра-аз!.. Пли!

— Троих.

Кирилл Михеич ворочал затвор, всовывая неловко обоймы, и говорил у разгоревшегося ствола ружья:

— А, сука, попалась? А ну-ка эту...

## XIV.

Плотник Емельян Горчишников, заместитель Запуса, командовал пароходом. Был он ряб, пепельноволос и одна рука короче другой. Вбежал в трюм, увидал мешки с мукой, приказал:

— Разложить по борту.

Борта высоко обложили мешками. В мешках была каюта капитана, а рыжий, выпачканный мукой капитан стоял на корточках перед сломанным рупором и командовал бледным, мокрым голосом по словам Горчишникова:

— Полный вперед... Стоп. На-азад... Тихий.

Пароход словно не мог пристать к сходням.

Пули с берега врывались в мешки с мукой. Красногвардейцы белые от муки и мук, всунув между кулей пулеметы и винтовки, били вдоль улиц и заборов.

Горчишников, бегая взад и вперед—с палубы и в каюты—скинул тяжелые пропотевшие сапоги и, шлепая босыми ступнями, с револьвером в руке торопил:

— Ниже бери... Ниже. Эх, кабы да яров не было, равнинка-бы, мы-бы их почистили.

И, подгоняя таскавшего снаряды, киргиза Бикмулу, жалел:

— Говорил, плахами надо обшить да листом медным пароход. Трехдюймовочку прозевали, голуби!..

Гришка Заботин сидел в кают-компании, курил папиросы и лениво говорил:

— Запуса бы догнать. Они бы с одного страха сдались. Тут, парень, такая верстка получится—мельче нонпарели. Паршивая канитель.

Горчишников остановился перед ним, выдернул занозу, попавшую в ступню.

— Пострелял-бы хоть, Гриша.

— Стреляй, не стреляй—не попадешь. Ты чего с револьвером носишься?

Говор у Гришки робкий. Горит в каюте электричество—захудало как-то, тоще. Да и—день, хотя окна и заставлены кулями.

— Блинов что ли из муки состряпать? На последки. Перекрошат нас, Емеля—твоя неделя...

Закурил, сплюнул. Звякнула разбитая рама. Рвался гудок. Заботин поморщился:

— Жуть гонит. Затушить его.

— Кого?

— Свисток.

— Пущай. Ты хоть не брякай.

— О чем?

— А что перекрошат. Народ неумелой. Обомлет.

— Я пойду. Скажу.

Он спустился по трапу вниз и с лесенки прокричал в проходы:

— Товарищи, держитесь! Завтра утром будет Запус. Белогвардейцы уменьшили огонь. Ночью мы пустим в город усиленный огонь. Товарищи, неужели мы!..

Красногвардейцы отошли от мешков и, разминая ноги, закричали «ура».

Горчишников поднял люк в кочегарку и крикнул:

— Дрова есть?

— Хватит.

Все обошел Горчишников, все сделано. Сам напечатал на машинке инструкцию обороны, расставил смены. Продовольствие приказал выдавать усиленное. Ели все много и часто.

Гришка опять сидел на стуле. Шевелил острыми локтями, вздыхал:

— Ладно, семьи нету. Я, брат, настоящий большевик: ни для семьи, ни для себя.—Для других: Только поотнимали все, работать по новому, а тут на-те... убьют.

— Убьют? Чорт с ними, а все-таки мы прожили по-своему...

— Это бы Запус сказал. А как ты думаешь, восстанут пролетарии всех стран?

— Обязательно. Отчего и кроем.

Гришка осмотрел грязные пальцы и сказал с сожалением:

— Никак отмыть не могу. Раньше такое зеленое мыло жидкое водилось, хорошо краску типографскую отмывало. Из наших наборщиков в красную-то я один записался... У меня отец пьяница был, все меня уговаривал—запишись, Гришка, в социалисты, там водку отучат пить.

— Не помогало?

— Ищо хуже запил. Больно хорошо пьяниц жалеют, а трезвого кто пожалеет... Хочу, грит, жалости. Жулик!..

Он послушал пулеметную трескотню, крики окопавшихся на берегу, пощарапал яростно шею и сказал:

— Заметь, с волненья большого всегда вша идет. У нас в Семипалатинске кулачные бои были. Ходил я. Так перед большим боем, обязательно под мышками вшу найдешь, а теперь по всему телу... Сидят они?

— Арестованные?

— Ну?

— Чего им. Мятлев, купец, на двор часто просится. Я ему ведро велел поставить. Ребятам некогда следить за ними.

— Трубычев все хороводит. Белыми-то. Серьезный мужик, не скоро мы его кончим. Запусу не уступит.

— Далеко.

— Говорить не умеет. А этот, как зальется, даже поджилки играют. Красив же стерва. Офицером только быть. Он, поди, из офицеров.

Горчишников любовно рассмеялся:

— Лешак его знат. Башковитый парнишка. Поджечь бы город-то, жалко. Безвинны сгорят. А зажечь славно-б.

— Безвинных много.

Переговаривались они долго. Потом Гришка свернулся калачиком на диване и заснул. Горчишников обошел пароход, для чего-то умылся.

Пули щепали обшивку и колеса. Все так же сидел капитан у рупора, бледный, грузный, рыжеусый. Нестройно кричали с берега «ура».

На другом берегу, из степи проскакали к лесу казаки, спешились и поползли по лугу.

— Кругом хочут,—сказал какой-то красногвардеец.

Мадьяры запели «марсельезу». Слова были непонятные и близкие. Громыхая сапогами, пробежал кашевар и громко звал:

— Обедать!..

Горчишников вернулся в каюту, помуслил карандаш и на обороте

испорченной «инструкции обороны»—вывел: «смерть врагам революции», но зачеркнул и написал: «по приговору чрезвычайной тройки»... Опять зачеркнул. Долго думал, писал и черкал. Наконец, достал один из протоколов заседания и, заглядывая часто туда, начал: «Чрезвычайная тройка Павлодарского Сов. Р., С., К., Кр. и Кирг. Деп. на заседании своем от 18 августа»...

---

Чуть-ли не пятьсот раз выстрелил Кирилл Михеич. Сухая ружейная трескотня облепила второй одеждой тело, и от этого, должно быть, тяжелее было лежать. Песок забрался под рубаху, солнце его нажгло; грудь ныла.

А стрельбе и конца не было.

Шмуро тоже устал, вскочил вдруг на колени и махнул вверх фуражкой:

— Ребята, за мной!

Ему прострелило плечо. Фуражка, обрызнутая кровью, покатилась между ямок. «Где шлем-то?»—подумал Кирилл Михеич, а Шмуро отполззал на перевязку. Он не возвратился. Еще кого-то убили. Запах, впитываемой песком крови, ударил тошнотворно в щеки и осел внутри неутихающей болью.

Кирилл Михеич остановил стрельбу. Потускнели—песок, белый пароход, так деловито месивший воду, огромные яры.

Травы захотелось. Прижаться бы за корни и втиснуть в землю ставшее понятным и дорогим небольшое тело. Хрупкие кости, обтянутые седеющим мясом...

Кирилл Михеич незаметно перекрестился. Больше прижать ружье к плечу не находилось силы.

Крикнул зоркий Долонько:

— Стреляй, Качанов.

Попробовал выстрелить. Ружье отдало, заныла скула.

Кирилл Михеич подполз к прапорщику и, торопливо глотая слюну, сказал:

— Можно за угол?

— Зачем?

Прапорщик, вдруг понимая, улыбнулся.

— Ступайте. Только не долго. Люди нужны.

Кирилл Михеич дополз до угла. Хотел остановиться и не мог, полз все дальше и дальше. Квартал уже от яров, другой начинается...

Здесь Кирилл Михеич сел на корточки и, оглянувшись, побежал вдоль забора на четвереньках.

За досками кто-то со слезами кричал:

— Не лезь, тебе говорят, не лезь! Ми-ша!.. Да-а...

Кирилл Михеич пробежал на четвереньках полквартала, потом вскочил, выпрямился и упал.

Другой стороной улицы подстрелили собаку и она, ерзая задом, скулила в разбитые стекла дома.

Так четвереньками добрался до своего угла Кирилл Михеич. Прошел полной ногой в мастерскую, закрылся одеялом и заплакал в подушку.

Поликарпыч тер ладони о колени, вздыхал, глядел в угол. Подставил к углу скамью. Влез и обтер покрытый пылью образ.

---

Под утро привезли эстафету; комиссар Запус из разгромленной им станицы Лебяжьей, прорвав казачью лаву, вместе с отрядом ускакал в поселки новоселов. Снизу и сверху—из Омска и Семипалатинска подходили пароходы Сибирской Областной Думы для захвата «Андрея Первозванного». Со степи с'езжались казаки и киргизы.

Всю эту ночь Горчишников не спал. Заседала Чрез-Тройка, вместо Запуса выбрали русина Трофима Круцю. Придумать ничего не могли. Ночь была темная, в два часа пароход зажег стоявшую у плотов баржу. Осветило реку,—пристали и яры. Ударил в набат, по берегу поскакали пожарные лошади. Приказали остановить стрельбу, когда обоз подскакал,—рассмотрели—людей на обозе не было. Лошади, путая постромки, косились спокойно на пожар. Утром вновь начался обстрел города. Лошадей перебили. Убежала одна подвода, и размотавшийся пожарный рукав трепался по пыли, похожей на огромную возжу... Когда заседание кончилось, Горчишников присел к машинке и перепечатал написанное еще вчера постановление. Поставил печать и, сильно нажимая пером, вывел: «Емел Горчишников». Вынув из кобуры револьвер, спустился вниз.

У каютки с арестованными на куле дремал каменщик Иван Шабага. Дежурные обстреливали улицы.

От толчка в грудь, Шабага проснулся—лицо у него мягкое с узенькими, как волосок, глазами.

— Поди, усни,—сказал Горчишников.

Шабага зевнул:

— Караулить кто будет?

— Не надо.

Шабага, забыв винтовку, переваливаясь, ушел.

Горчишников растворил дверь, оглядел арестованных и первым убил прапорщика Беленького.

Купец Мятлёв прыгнул и с визгом полез под койку. Пуля раздробила ему затылок.

Матрён Евграфыч отошел от окна (оно было почему-то не заставлено мешками)—немного наклонился тучной грудью и сказал, кашлянув по средине фразы:

— Стреляй... балда. Сукины сыны.

Горчишников протянул к его груди револьвер. Мелькнуло (пока спускал гашетку)—решетчатое оконце в почте; «заказные» и много, целая тетрадь, марок. Зажмурился и выстрелил. Попал не в грудь, а метнул с лица мозгами и кровавой жижой на верхние койки.

Протоиерей, сгорбившись, сидел на койке. Виднелась жилистая, покрытая редким волосом, вздрагивающая шея. Горчишников выругался и, прыгнув, ударил рукоятью в висок. Перекинул револьвер из руки в руку. Одну за другой всадил в голову протоиерея три пули.

Запер каюту. Поднялся на-верх.

— Мы тебя ждем,—сказал Заботин, увидев его,—если нам в Омск уплыть и сдаться... Как ты думаешь?

Горчишников положил револьвер на стол и вяло проговорил:

— Арестованных убил. Всех. Четверых. Сейчас.

И хотя здесь защелкал пулемет, но крики двоих—Заботина и Трофима Круци—Горчишников разбирал явственно.

Он сел на стул и, устало раскинув ноги, вздохнул:

— К Омску вам не уехать,—помолчав, сказал он:—за такие дела в Омске вас не погладят тоже. Надо Запуса дожидать, либо...

Он вытер мокрые усы.

— Сами-то без него пароход-бы сдали. Я вас знаю. Ерепениться-то пьяные можете. Теперь, небось, не сдадите. Подписывайте приказ-то.

Он вынул из папки напечатанный приказ и сказал:

— Шпентель-то я поставил уж. Две подписи, тогда и вывесить можно.

Заботин дернул со стола револьвер и, вытирая языком быстро высыхающие губы, крикнул:

— Тебя надо за такие из этого... В лоб! в лоб!.. Какое ты имел право без тройки?.. И не жалко тебе было, стерва ты этакая, без суда... самосудник ты?.. Ну, как это ты... Емеля... да... постойте ребята, он врет!..

— Не вретт,—сказал Круця.—За убийство мы судить будем. После. Сейчас умирать можно с пароходом, подписывай.

Он взял перо и подписался по-русски. Заботин, пачкая чернилами пальцы, тыкал рукой.

— Я подпишу. Вы думаете, я трушу. Чорт с вами! А с тобой, Емельян, я руки больше не жму. Очень просто. Грабительство...

Утром, город ухнул. Далеко за пароходом, к левому берегу, в воду упал снаряд.

Горчишников сказал:

— Говорил—трехдюймовку привезти надо. Выкатят к берегу и начнут жарить.

Он посмотрел на еще упавший ближе снаряд.

— Из казарм лупят. Заняли, значит.

Просидевший всю ночь у рупора капитан прокричал:

— Тихий... вперед. Стоп!.. Полный!

В полдень над тремя островами поднялся синий дымок. Взлетал высоко и словно высматривал.

Красногвардейцы, сталкивавшие трупы в трюм, выбежали на палубу.

— Пароход! Из Омска! Наши идут.

А потом столпились внизу, пулеметы замолчали. Тихо переговаривались у машинного отделения.

Пороховой дым разнесло, запахло машинным маслом. Пароход вздрагивал.

Машинист Никифоров, вытирая о сапоги ладони, медленно говорил:

— Все люди братья!.. Стервы, а не братья. Домой я хочу. Кабы красный пароход был, белые-б нас обстреливали. Давно-б удрали. У меня—дети, трафило-б вас, я за что страдать буду!

Из улиц, совсем недалеко рванулось к пароходу орудие. Брызгнул где-то недалеко столб воды.

Делегация красногвардейцев заседала с Чрез-Тройкой.

На полных парах бешено вертелся под выстрелами пароход. Часть красногвардейцев стреляла, другие митинговали. С куля говорил Заботин:

— Товарищи! Выхода нет. Надо прорваться к Омску. Запус, повидимому, убит. Идут белые пароходы. К Омску!

Подняли оттянутые стрельбой руки: к Омску, прорваться. Стрелять прекратили.

Тут вверху Иртыша расцвел над тальниками еще клуб дыма.

— Идет... еще...

«Андрей Первозванный» завернул. Капитан крикнул в рупор:

— Полный ход вперед.

Из-за поворота яров, снизу, подымались навстречу связанные цепями, преграждая Иртыш, — три парохода под бело-зеленым флагом.

Горчишников выхватил револьвер. Капитан в рупор:

— Стой. На-азад. Стой.

«Андрей Первозванный» опять повернулся и под пулеметную и орудийную стрельбу ворвался в проток Иртыша—Старицу. Подымая широкий, заливающий кустарники, вал пробежал с рёвом мимо пристаней с солью, мимо пароходных зимовок и, уткнувшись в камыши, остановился.

Красногвардейцы выскочили на палубу.

Машинист Никифоров закричал:

— Снимай красный. Белый подымай. Белый!..

Пока подымали белый, к берегу из тальников выехал казачий офицер; подымаясь на стременах, приставил руку ко рту и громко спросил:

— Сдаетесь?

Никифоров кинулся к борту; махая фуражкой, плакал и говорил:

— Господа!.. Гражданин Трубычев... господин капитан!.. Дети... да разве мы... их-ты, сами знаете...

Офицер опять приставил руку и резко крикнул:

— Связать Чрез-Тройку! Исполком Совдепа! Живо!

---

Разбудил Кирилла Михеича пасхальный перезвон. Застегивая штаны, в сапогах на босу ногу, выскочил он за ворота. Генеральша Саженова без шали поцеловала его, басом выкрикнув:

— Христос Воскресе!..

Кирилл Михеич протер глаза. Застегнул сюртук и, чувствуя гвозди в сапоге,—спросил:

— Что такое значит?

Варвара целовала забинтованную руку Шмуро. Архитектор подымал брови и, шаркая ногой, вырывал руку.

Варвара взяла Кирилла Михеича за плечи и, поцеловав, сказала:

— Христос Воскресе! Большевиков выгнали. Сейчас к пароходу пойдем, расстрелянных выносить. Капитан Трубычев приехал.

Шмуро поправил повязку и, сдвинув шлем на ухо, сказал снисходительно Кириллу Михеичу:

— Большое достоинство русского народа перед западом, это, по общему выводу,—добродушие, отзывчивость и какая-то бешеная отвага. В то время, как запад—например, англичанин—холоден, методичен и расчетлив... Или, например, колокольный звон—широкая, добродушная и веселая музыка, проникшая во все уголки нашего отечества... Сколько в германскую войну русские понесли убитыми, а запад?.. Гражданин Качанов!..

— У меня жены нету,—сказал Кирилл Михеич.

Варвара погрозила мизинцем и, распуская палевый зонтик, сказала капризно:

— Возьмите меня, Шмуро, здоровой рукой... А вы, Кирилл Михеич, маму.

Маму Кирилл Михеич под руку не взял, а пойти пошел.

— Совсем взяли?—спросил он.—Всех? А ежели у них где-нибудь на чердаке пулемет спрятан?..

Шмуро обернулся, поднял остатки сбритых бровей и сказал через губу, точно сплевывая:

— Культура истинная была всегда у аристократии. Песком итти, Варя, не трудно? Извозчики разбежались...

---

Горчишников отбежал к пароходной трубе и никак не мог отстегнуть пуговку револьверного чехла. Карауливший арестованных, Шабага схватил его за плечи и с плачем закричал:

— Дяденька, не надо! Пожалуста, не надо.

Вырывая руку, Горчишников ругался и просил:

— Не замай, пусти, чорт!.. Все равно убьют.

Красногвардейцы столпились вокруг них. Безучастно глядели на борьбу и, вздрагивая, отворачивались от топота скакавших к берегу казаков. Шабага, отнимая револьвер, крикнул в толпу:

— Застрелиться, нас перебьют. Пущай хоть один.

Толпа, словно нехотя, прогудела:

— Пострадай... Немножко ведь... Авось простят. Пострадай.

— Брось ты их, Емеля,—сказал подымавшийся по трапу Заботин.—И то немного подождать. За милую душу укокошат.

Горчишников выпустил руку:

— Ладно. Напиться бы... как с похмелья.

С берега крикнули:

— Давай сходни!

---

Всплывали над крестным ходом хоругви.

Итти далеко, за город. Вязли ноги в песке. Иконы—как чугунные, но руки несущих тверды яростью. Как ножи блестят иконы, несказанной жутью темнеют лики несущих. Колокольный звон церковный, пасхальный, радостный.

А как вышли за город к мельницам, панихидный, тягучий, синий и тусклый опустился, колыхая хоругви, колокольный звон... И вместо радостных воскресных кликов, тропарь мученику Степану запели.

---

Двумя рядами по сходням—казаки. По берегу, без малахаев, с деревянными пиками, киргизы. Мокрой овчиной пахнет. С парохода влажно—мукой и дымом. На верхней палубе капитан один среди очищенной от мешков палубы. Он пароход довел до пристани. Он грузен и спокоен.

У сходен на иноходце—Артюшка. Редок, как осенний лес, ус. Редок и череп.

Кричит, как полком командует:

— Выноси!

Прошли в пароход больничные санитары.

Кирилл Михеич, крестясь и ныряя сердцем, толкался у чьей-то лошади и через головы толпы пытался рассмотреть—что в пароходе. А там мука, ходят люди по муке, как по снегу, сами белые и на белых носилках выносят алые и серые куски мяса.

Зашипело по толпе, качнуло хоругвями:

— Отец Степан...

Визжа, билась в чьих-то руках попадья. Три женщины бились и ревели,— прапорщик Беленький был холост.

— Мятлёв!..

— Матрён Евграфыч, родной!..

Мясо несут на носилках, мясо. Целовали испачканные мукой куски расстрелянного мяса. Плакали. Окружили иконами, хоругвями, понесли. Отошли сажен пятнадцать. Остановились.

Тогда из трюма повели арестованных красногвардейцев. Впереди Чрезв. Тройка—Емельян Горчишников, Гришка Заботин и Трофим Круця. А за ними, по-трое в ряд, остальные. Один остался на пароходе грузный и спокойный капитан.

Гришка шел первый, немножко прихрамывая, и чувствовал, как мелкой волнистой дрожью исходил Горчишников и остальные позади. И конвой, молчаливо пиками оттеснявший толпу.

Артюшка пропускал их мимо себя и черешком плети считал:

— Раз. Два. Три. Четыре. Восемь. Одиннадцать...

Пересчитав всех, достал коричневую книжечку. Записал:

— Сто восемь. Пошел.

Но толпа молчаливо и потно напирала на конвой.

— Давят, ваш-благородье,—сказал один казак.

— Отступись!—крикнул Артюшка.

Кирилл Михеич подался вперед и вдруг почему-то тихо охнул. Толпа тоже охнула и подступила ближе. Артюшка, раздвигая лошадью потные, цеплявые тела, подскакал к иконам и спросил:

— Почему стоят?

Бледноволосый батюшка, трясущимися руками оправляя епитрахиль, тоненько сказал:

— Сейчас.

Седая женщина с обнажившейся сухой грудью вырвалась из рук державших, оттолкнула казака и, подскочив к Заботину, схватила его за щеку. Гришка тоненько ахнул и, махнув левшой, ударил женщину между глаз.

Казаки гикнули, расступились. Неожиданно в толпе сухо хряснули колья. Какой-то красногвардеец крикнул: «Васька-а!». Крикнул и осел под ногами. В лицо, в губы брызгала кровь, текла по одежде на песок. Пыль, омоченная кровью, сыро запахла. Седенький причетник бил фонарем. Какая-то старуха вырвала из фонаря сломанное стекло и норовила попасть стеклом в глаз. Ей не удавалось и она просила «дайте, разок, разок»...

Помнил Кирилл Михеич спокойную лошадь Артюшки, откинутые в сторону иконы, хоругви, прислоненные к забору, растерянных и бледных священников. Потом под ноги попал кусок мяса с волосами, прилип к каблуку и не мог отпасть. Варвара мелькала в толпе, тоже топтала что-то. Визжало и хрипело: «Православные!.. Родные!.. Да... не знали»...

Прыгали на трупы каблуками, стараясь угодить в грудь, хрястали непривычным мягким звуком кости. Красногвардеец с переломленным хребтом просил его добить, подскочила опрятно одетая женщина и, задрав подол, села ему на лицо. Красногвардейцев в толпе узнавали по залитым кровью лицам. Устав бить, передавали их в другие руки. Метался один с вырванными глазами, пока казак колом не раздробил ему череп.

Артюшка поодаль, отвернувшись, смотрел на Иртыш. Лошадь, натягивая уздечку, пыталась достать с земли клок травы.

Когда на земле валялись куски раздробленного, искрошенного и затоптанного в песок, мяса—глубоко вздыхая, люди подняли иконы и понесли.

## XV.

Нашел Кирилл Михеич—в ящичке письменном завалилась—монетку счастьеносицу—под буквой «П»—«I».

Думал: были времена настоящие, человек жил спокойно. Ишь, и монета

то у него—солдатский котелок сделать можно. Широка и крепка. Жену, Фиозу Семеновну, вспомнил,—какими ветрами опахивает ее тело?

Борода—от беспокойств что ли—выросла как дурная трава,—ни красоты, ни гладости. Побрить надо. Уровнять...

А где-то позади, сминалось в душе лицо Фиозы Семеновны,—тело ее сосало жилы мужицкие. Томителен и зовущ дух женщины, неотгончив. Чье-то всплывало податливое и широкое мясо,—азиатского дома-ли... еще кого-ли... не все-ли равно кого—можно мять и втискивать себя... Не все-ли равно?

Горячим скользким пальцем сунул в боковой кармашек жилета монетку Павла-царя, слышит: шаг косой по крыльцу.

Выглянул в окно. Артюшка в зеленом мундире. Погон фронтовой—ленточка, без парчи. Скулы остро-косы, как и глаза. Глаза—как туркменская сабля.

Вошел, пальцами где-то у кисти Кирилла Михеича слегка тронул:

— Здорово.

Глядели они один другому в брови—пермская бровь, голубоватая; степной волос—как аркан черен и шершав. Надо им будто сказать, а что—не знают... А может и знают, а не говорят.

Прошел Артюшка в залу. Стол под белой скатертью,—отвернулся от стола.

— Олимпиада здесь?—спросил как-будто лениво.

— Куды ей? Здесь.

— Спит?

— Я почем знаю. Ну, что нового?

Опять так же лениво, Артюшка ответил:

— Все хорошо. Я пойду к Олимпиаде.

— Иди.

Сел снова за письменный стол Кирилл Михеич, в окно на постройку смотрит. Поликарпыч прошел. Кирилл Михеич крикнул ему в окно!

— Ворота закрой. Вечно этот Артюшка полоротит.

Вспомнил вдруг—капитан Артемий Трубычев и на тебе—Артюшка. Как блинчик. Надо по другому именовать. Хотя бы Артемий. И про Фиозу забыл спросить.

В Олимпиадиной комнате с деревянным стуком уронили что-то. Вдруг громко с болью вскричала Олимпиада. Еще. Бросился Кирилл Михеич, отдернул дверь.

Прижав коленом к кровати волосы Олимпиады, Артюшка, чуть раскрыв рот, бил ее кнутом. Увидав Кирилла Михеича, выпустил и, выдыхая с силой, сказал:

— Одевайся. В гостиницу переезжаем. Будет в этом бардаке-то.

— То-есть как так в бардаке?—спросил Кирилл Михеич.—Я твоей бабой торговал? Оба вы много стоите.

— Поговори у меня.

— Не больно. Поговорить можем. Что ты—фрукт такой?

И, глядя вслед таратайке, сказал:

— Ну, и слава богу, развязался. Чолын-босын!..

Вечером он был в гостях у генеральши Саженовой. Пили кумыс и тяжелое крестьянское пиво. Яков Саженов несчетный раз повторял, как брали «Андрея Первозванного». Лариса и Зоя Пожиловы охали и перешептывались. Кирилл Михеич лежал на кошме и говорил архитектору Шмуро:

— Однако вы человек героинский и в отношении прочих достоинств. Про жену мою не слыхали? Говорят, спалил Запус Лебяжье. Стоит мне туда с'ездить?

— Стоит.

— Поеду. Кабы мне сюды жену свою. Веселая и обходительная женщина. Большевиков не ловите?

— На это милицыя есть.

— Теперь ежели нам на той неделе начать семнадцать строек, фундаменты до дождей, я думаю, подведем.

— Об этом завтра.

— Ну, завтра, так завтра. Я люблю, чтоб у меня мозги всегда копошились. Я тебе аникдот про одну солдатку расскажу...

— Сейчас дело было?

— Ну, сейчас? Сейчас каки аникдоты. Сейчас больше спиктакли и дикорации. Об'ем!..

Варвара в коротеньком платьице, ярко вихляя материей, плясала на кошме. Вскочил учитель Отчерчи и быстро повел толстыми ногами.

Плясал и Кирилл Михеич русскую.

Генеральша басом приглашала к столу. Ели крупно.

Утром, росы обсыхали долго. Влага мягкая и томящая толкалась в сердце. Мокрые тени, как сонные птицы, подымались с земли.

Кирилл Михеич достал семнадцать планов, стал расправлять их по столу и вдруг на обороте—написано карандашом. Почерк мелкий как песок. Натянул очки, поглядел: инструкция охране парохода «Андрей Первозванный». Подписано широко, толчками какими-то—«Василий Запус».

Конец первой части.

*(Продолжение следует).*

* * *

Одни роптали, плакали другие,
Закрыв лицо, по каменным церквам...
Но, старый бог смиреннейшей России,
Он предал вас. Он не явился вам.

Так некогда, на берегу Днепра
Священный Истукан вы призывали втуне,
И, гневные, пророчили: Пора!
Пора быть чуду. Выдыбай, Перуне!

---

О, Революция, о, книга между книг!
Слепили кровь и грязь заветные страницы
И как набат звучит твой яростный язык,
Но нет учителя и некому учиться.

Не в зареве домов, за письменным столом,
На темной площади под барабанным боем
Мы книгу грозную, как знамя, понесем,
Но святотатственно ее мы не раскроем.

Какая истина в твоей неправде есть.
Пустыня странствия нам суждена какая.
Сквозь мертвые пески, сквозь голод, славу, месть
Придем ли, наконец, к вратам нетленным рая?

Но все уже равно. Блистательной судьбы
Не избежать стране, тобой благословенной.
О, как счастливы мы, как нищи, как слабы...
Счастливей не было и нет во всей вселенной.

Елизавета Полонская.

* * *

Не потому ль к любви вселенской
Ревниво льну стихом своим,
Что не любим любовью женской,
Любовью женской не любим.
Не жду под вечер шума платья,
А зашумит издалека —
Я жду не женского об'ятья,
А встречной ласки ветерка.
И тронут этой лаской встречной,
Я рад, что веет ветерок,
Что я без ласки человечной
Не одинок, не одинок.
И легче мне без ласки женской,
Когда ночую с ветерком,
Что всею вечностью вселенской
Я к жизни вызван и влеком.
И полон мощи вдохновенной
Я чую сквозь ночную муть,
Что грудь вселенной, грудь вселенной
Ко мне склоняется на грудь.
И чую вышнее об'ятье,
И вышний трепет чувств моих,
И это вышнее зачатье
Тебя, тебя, мой милый стих!
Не потому ль к любви вселенской
Ревниво льну стихом своим,
Что не любим любовью женской
Любовью женской не любим.

**Василий Казин.**

## Одоевские розы.

Этот город мучных лабазов
Был театр моих розовых драм,
Полон он пахучих рассказов,
Отдан он полевым ветрам.
В этом городе: с главной площади
Кругом—поле, воля и сушь;
Там не бродит сырыми рощами
Водяная русалочья чушь.
За кривыми гнилыми заборами
В этом городе—груды роз,
Я дышал там ими всеми порами,
Я любил там, и креп, и рос.
Этот город не сдам никому я
Станет стражей любовь и рожь:
Из-за Раина поцелуя
За любимую Раину брошь.
Стихнет день там с обозами,
Соловей во всю мочь,
И прохладными розами
Орошается ночь.
Только мрак и зевота,
Только храп лошадей,
Да висит позолота
Почерневших церквей.
Это в сумраке душном
Разметалась земля, —
Это значит—так нужно,
Это спят тополя.
Покосившийся на бок
Будто слушает дом
Соловьиный припадок,
Соловьиный содом.
И до самой, до серой
Петушиной зари
Буду я кавалером
Кавалером де-Грие.

Буду верен приказу
Моей нежной Манон,
Пока двери лабазов
Пьют, зевая, вино.
Этот город мучных лабазов
Был театр моих розовых драм,
Полон пахучих рассказов,
Отдан он полевым ветрам.

**Н. Полетаев.**

# Из повести „Рвотный форт“.

Ник. Никитин.

## Форт.

Кто этот замечательный человек?
„Его зовут Германом“.

В неизвестную совсем пору, когда даже может вальяжной царицы Ека терины еще не было, в одно очень прелое лето разодрались на свеяжски болотах два болотных государя Самым и Пуща. Дрались они семь дней семь ночей, пока один не одолел другого... а кто именно—нынче уж нарс забыл. Корявые чертяки с прекрасными женами русалеями целовали побе дителю левое копытце в знак покорности. А трава кипрея, ангельская сла дость, да нежный марьин цвет жирно и сочно поднялись в это лето на то поганой крови, что паршивые болотяги в драке ведрами пролили... Когд попало сюда на пастьбу стадо, ест не наестся, до того поедно и вкусно, н отстать. А с той с травы напустилась хворь на стадо—и разноярых корон седого быка и кудлатых баранов задушило напрасной рвотной смертью Рычала животина, пока не подохла. Когда народ узнал причину, стали зват пустошь Рвотною.

А при Екатерине-Царице приехал в свеяжские места генерал-поручи Дондрюков. Люди рассказывают, что у генерала был подпален нос, и он всегд ходил с черной заплаткой на носу. Все же, однако, имел он от самой царицы доверенную цыдулку: «...хотя и сочиняет наш граф Никита о скандинавско аккорде, а все же надобно нам учредить в этих местах твердую фортецию ибо необходимо на Швецию твердо глаз иметь, дабы и были, как досель в добрых отношениях. Ведомо нам, что швецкий двор якшается с француз ским королем, а от сего, имея в виду их расстроенное положение дел и лука вость сейма, следует остерегаться северной инвективы каждочасно»...

Через десять лет вывел Дондрюков ладную, крепко сбитую фортецию камешок к камешку, флаг русский повесил, освятил крепостной двор— и сем послал с донесением к царице нарочного фельд'егеря.

Тот, вернувшись, привез Дондрюкову новую цыдулку.

— ...хотя наши планы и переменились, и врагов там мы не ждем, но по здравляя вас командиром северной фортеции указываю, что и вся близлежа щая округа подначальна вашему усмотрению и команде, и если усмотрит

какое внутреннее беспокойство между вотчинными, а также мастеровыми людьми, кои содержутся при казенных или партикулярных заводах, то, не впадая в излишнюю конфузию, можете действовать даже пушками. Сие не жестокость, ибо вы знаете мои материнские заботы об Отечестве, но лишь государственное благосостояние того требует...

Долго жил генерал-поручик Дондрюков... Много было после него разных командиров, только все они других фамилий...

От того, что форт стоял на Рвотной пустоши, и ему дали название Рвотного.

Каменно-синим, тупым утюгом вытянулся форт из румяного подлеска на голую пустошь и прилег одним боком на порожистую Свеягу, что текла рядом.

На флагштоке, неподалеку от трех'ярусной колокольни, при крепостной церкви, где вечно стонали и юкали голуби, вывешивался флаг.

Всякое было, но такое—как нынче, чтобы по ветру резался красный наянистый флаг, никогда такого не было. Красный—точно хвоя вспыхнула...

И начальство нынче—вдруг опять из Дондрюковых... Говорят про него, будто он в свойстве с тем генерал-поручиком, что лежит смирненько в церкви, в склепу, под надежной чугунной решеткой... Говорят, будто он одного с ним корня и потому все зовут его племянником... врут, конечно, ну а вот привелось...

И все идет—точно екатеринин генерал-поручик вылез, нехотя, из гроба, а вылезши заходил по фортовым стенам уж без заплатки на носу—и по-дондрюковски командует.

А при каждом неспешном шаге тоненько, но очень солидно тилинькают шпоры:

— Вторую роту выслать на караулы...

И, принимая рапорт, осторожно и лениво отмеривает носом каждое слово:

— Что-о, не хватило зерна? Хозяйственную команду под арест.

По вечерам Дондрюков, нехотя откозыряв грязным вестовым, выходит из штаба и медленно тащится по аллейке, просчитывая осторожным глазом темные окошки двух'этажной галлереи. Там—арестованные, но не свои, а присланные; своих содержат на гауптвахте.

Не того ли боится Дондрюков, что ночью из любого окошечка тянется тоска по свободным звездам?

Не потому ли боится, что не верит в прочность чугуна, и в людей, может быть, не верит, да и во что теперь ему верить?

Когда на плечах красовались полковничьи погоны и жизнь была проста и гулка, как барабан, тогда многое было яснее. А сейчас сорван погон, а барабан все-таки не смолк... Племянник Дондрюков ходит в штаб и также откозыривают вестовые, только не пружинятся по-прежнему в струнку и также каждое утро—приказы, а подписывается он по-новому: начукрепрайона Дондрюков.

А когда проходит мимо стройных березок, и часы с трех'ярусной колокольни отбивая четверти, протягивают длинные и медные ленты звонов Дондрюкову вспоминается молодость: дачный парк, павильон, где плясал под сырое пианино, потом глаза и лицо, пахнущее рисовой пудрой... и больше ведь нет—кроме той, больше не было женщин, одно свидание в целой жизни... да.

Дома, брезгливо ложась в холодную постель, Дондрюков вынимает из-под подушки неизвестную книгу. В ней нет ни начала, ни конца, но это совсем не важно. Дондрюков знает ее почти наизусть, за двадцать лет походного житья она засалилась, что кухаркин передник.

В книге рассказывается: о прекрасной Паризине и пасынке ее, нежном Уго, незаконном сыне владетельного горбуна маркиза Николло, о любви маркизы и пасынка—невинной и ясной, как весенняя голубая луна, о тяжелом гневе оскорбленного маркиза, узнавшего про их любовь, о необыкновенных днях их любви, когда они были заточены маркизом в башню, и о томительной вечерней казни.

Засыпая, племянник Дондрюков отхаркивает насморк.

— Фу-фу, как приливает к носу, сырость какая...

Занавеска спущена, тихо, можно спать.

Но вот опять встает желтый туман, те глаза и запах рисовой пудры..

Тянется рука, дрожат ноги, а тело корчится, будто от об'ятия.

Весь, весь в ниточку, вытягивается тело, ах скорее... скорее... вот мелькнула розовая грудь... и закрылись ее глаза... быстрее... Тело летит! Вот так!

— Ах!

Дондрюков вытер о простыню сырую руку и отхаркался.

— Фу, скверность какая, насморк...

И так всю жизнь, одинокое ночное свидание с той, от которой слышен запах рисовой пудры, а глаза—Прекрасной Паризины, а он—он пламеннее Уго... еще он не остыл, еще рука сыра и в воздухе еще мелькает то женская грудь, или...

Когда товарищи говорят о женщинах, Дондрюков криво и странно улыбается, и от этого они удивленно перешептываются.

— Нет, ведь до чего его бабы засахарили...

Утомленный своим свиданием сразу засыпает Дондрюков.

А там, в общих камерах галлереи парно и душно. Замки молчат. У огарка бьются в буру.

— Крести козыри, нарезай.

Игра жестокая, если заметят обман—кончено, нож в бок.

— Эй, карточки-то кажется с рисовкой.

У огарка шум, поднялась буча, но условный крик дежурного, стоявшего на стреме, разом всех успокоил.

— М-а-атрос!

Мигом сдуло свечку. Легли—человечий храп.

Опять звякнуло, закрылось.

И дальше звякнуло—в глубь галлереи.

Из общей галлереи в секретную, где дощечка с надписью: особое отделение.

Идут двое. Шашка у одного гремит, задевая за каменную стенку.

— Здесь, № 7. Марк Цукер—ваша фамилия.

И тот, что с шашкой, поднял фонарь, освещая рыжие щеки соседа.

— Пожалуйста, здесь.

Ухнула дверь. Провился острый сквозняк сквозь разбитое стекло.

— Здесь устраивайтесь, не мешает вам, не холодно...

— Если вам приказано № 7, чего еще вы от меня хотите...

— Точно так, № 7.

— Ну, так зачем мне с вами разговаривать? Скорее убегу.

— Само собой, коли затылок не отшибут.

— Чего?

— Ничего.

Такнул в два счета замок. Протарахтела об углы шашка конвойного.

Марк Цукер закутался в липкое одеяло. Далеко—в последний раз прозвенела шашка.

— Один!

Но ни мысли, ни жалобы—будто выжгли все серной кислотой. Устроил на нарах повыше голову, чтобы видеть небо. И лежал, не двигаясь час-два, пока не запряталась в небе синяя звезда. И тогда вдруг вскочил, прыгнул, чтобы ухватиться за что-то, упал—подскользнувшись на слизи, больно ударившись коленкой об угол нар.

Жалко себя, соседей, звезды, всех...

Он закричал.

— Нет, не хочу. Вы слышите. Не хочу.

Он бьет кулаком по кирпичам. Но нет шума, все так же тихи и крепки кирпичи.

— Не хочу!

Марк Цукер заплакал.

А снаружи, в четверти версты от галлереи, за третьей стеной лениво дремлют бастионные пушки—сытые звери, ничем их не тронешь... В двенадцать дня одна из них ахнет и хохот раскатится по всей Гражданской Слободе, прилепившейся к форту...

С колокольни протянулись звончатые ленты часов.

Сейчас все спят, кроме караулов, дожидающих смены.

Ночь.

---

## Красные бантики.

И тихо предо мной
Встают два призрака младые.

— Как зовут?

— Галка.

Председатель Совета Тимофей Пушков только бритым затылком тряхнул от изумления. Удивительный мнется перед ним человек.

— Дак как же?

— Эдак и доложусь, товарищ комиссар. Пишите: Галка...

Пушков выжал в платок пот с лица; одолела жирного плоть. Вместо лица у Пушкова смачная яичница. На носу, на щеках, даже по губе раз'ехались огневые рыжие веснушки.

И ответчик, улыбаясь Пушкову, чмокнул со вкусом.

— Без больших значит. Просто—Галка. Это уже, товарищ комиссар, верный глаз—без обману, не извольте беспокоиться, не пачпортные. Чего нам тыриться?

— Родом из каких, какой эпархии?

— Отец нож, а мать—вологодская вошь, из города Катаева, романовской стройки.

— Ишь научился отвечать; ты мне дело говори, а не ерзай... За побаски я и скулу сбить могу.

— Ваша воля, а только скула карпатская, стреляная. Я уж вам попросту обозначу... В Твери мы последнее дело бросили.

— Я, брат, тоже карпатский. У меня не выскулишь. Чем в Твери занимался?

— Ананасами торговал.

Пушков опять на него справа-слева, ну, никак не пронять этого дошлого в протертом добела кожане. Из-под кепки винтом вихор вьется, лицо гладкое, а под правой скулой желвак.

Улыбается Пушков.

— Ананасами... это чего же...

— Буржуазией значит питались...

Отвечает серьезно вихор. Рассердился тут Пушков.

— Т-ты, ухарь... дело говори. Обвиняешься ты за то, что свел лошадей на Кучигах у Максима Лопаря...

— Никак нет, товарищ комиссар... Одну—это точно, была такая работа, а чтобы лошадей—так никак нет. Должно сказать, что не наша специальность... Налетчики мы...

Смеется Галка.

— ...до революции... ну мы тоже, известно, за борьбу.

— Один свел?

— Известно один, без сигнальщиков. На побывку сюда приехал, на дачу, отдохнуть на дикой травке, а кобылка-то сама в руки шла...

— Мятку бы тебе дали мужики.... сама... не очухался бы.

— И то, товарищ комиссар, как сгребли меня мужики у болота, ну, думаю, примочка будет амба—гулянкам моим... А они у вас сивые, смирные. Ребра перешибли разве малость...

Пушков наставляет рассыпчатую толстую барышню.

— Дак вы сочините, Марья Степанна, препровождающее в Форт, мол конокрадство и прочие налеты...

Марья Степанна ласковым басом перебила председателя:

— Товарищ Пушков, сейчас все наши собираются на гулянье, ведь сегодня первое мая, праздничек...

— Праздничек... фу-ты зарапортовавшися я... Ну, до завтрего, а препровождающее все-ж запомните.

Галку взяли под штыки, и он, махнув лихо кепкой, сказал председателю:

— В номерочки прикажете, с вашими купчихами познакомиться, жирны, небось, на казенных щах. Ну, желаю чаю-сахару.

Круто, по солдатски повернувшись, он дернул конвойного за штык:

— Эх, липа серая, службу забыл, веди. По уху бы вас, да за галстук, команду нонешнюю...

По розовому клякс-папиру на председательском столе ежились и томничали, кокетничая лапками, первые весенние мухи. В мутной зеленой бутылке невинно распустился листочками вербный прут.

Солнце весенними жаркими ненасытными лапами обжимало радостно землю.

Вот глядятся на дорогу веселые черепа. Это в щелях весь, забитый серыми досками гостиный двор купца Пазова; кончили нынче торговать, но деревянные колонные столбики фасада сообщают надежной пазовской стройке не то чтобы первогильдейский, а можно сказать даже дворянский фасон. За домом жердинный тын и большая канава с тяжелой чернильной водой. А от канавы вдоль дороги к изрытому обрывистому берегу Свеяги цепочками раскидались улицы. То стройно, то косо, то ломано, то просто в кучу смыкаются они стыками, перебиваясь на утоптанные тропы, а оттуда вдруг несколько домишек убежало и, кряхтя, взбираются на бугор—и вот, вот летит один стремглав вниз, за ним другой, третий и дальше. Вымытые до чиста майским утром, они стоят сейчас веселые и свежие, разбросались шеренгами, не хуже солдат на утреннем легком ученье... Не узнать латаных мезонинов. Дранковые крыши—стриженые солдатские головы. Браво вышагивают молодцы: ать, два... ать, два...

На дороге уж встречались разрядившиеся в батист праздничные барышни и хрустели каленым ситцем бабы с волоком ребят. Прокатилась стая, вразброд выкрикивая песню. Пронесли красный плакат на двух белых струганых палках. Плакат изображал женщину, развевающую стяг, по стягу выведено сусалью:

Мир хиженам—война дворцам!

Пушков пробирался к берегу. Не то женихом на свадьбе, не то і нинником—этаким козырем протискивался он сквозь народ. И надо пр сказать, человечьи груды—издали желтые и шумные, беспокойнее т каньих ворохов—перед ним расступались вежливо. У белого, из моло леса помоста—всплески и гам, и галдеж... И ой—визг молодухи—камча с головы в суматохе сперли. А тараканьи вороха ухают, ахают.

На помосте мечется Ругай, вычерчивая граблистыми пальцами лома крути, цепляясь за воздух и бросая в толпу воздушные комья... То вд вздернет гладко-бритую рубленую голову и утонет в солнечных водах, дающих с неба водопадом. И в их тепле тают ругаевские слова быстрее ль шек и, не успев докатиться до рыжих тараканьих стай, невидным паром чезают в воздухе.

И слышен шумящим один лишь шип:

— ...праздник труда... беспощадная смерть тому... мы заставим... но жизнь... да здравствует...

Пушков, ласково выплясывая толстыми ногами, ходит вокруг Ругая, ч чухарь на току, источая масляные приятные словечки.

— Вы, можно сказать, чародей, что бы нам у овина прокуренным кой язык—мы бы... Я еще, конечно, образованным числюсь, Карпаты пр шел и все прочее. Ну, а тут иной коленкор. Сразу видать человека из н стоящего образованного мира.

Ругай только заострил скулы.

— Да, ученье, можно сказать, великое дело. Так будто лучше печа ного говорите, баско.

— Жизнь—школа, товарищ. Вы научитесь. Жизнь наша—тем, кот рые умеют и хотят. Кто нас не хочет, кто не может понять, тех к черт Солнце тоже безжалостно, оно способно пригреть, вырастить, но может спалить, сжечь.

— Так, так, так... удивительно... верно...

Пушков закурил, угостил Ругая и, подумав, нерешительно спросил.

— Складно очень... Полагаю все-ж, что обучались вы в студентах.

Ругай усмехнулся, острым углом сжав губы, и выкинул одно коротен кое слово—хрусткую льдинку.

— Э...

Не узнать, не выгадать Ругая. Что кроется в рубленой топором, угл ватой голове.

Вместо ответа, Ругай, вспрыгивая на лошадь, бросил Пушкову врод милостыни:

— Милости просим на форт. Будем рады. Сегодня у нас компания.

Пушков низко отвесил сдобный поклон.

— Премного благодарны, сегодня нет полной возможности. Но позво лите, завтра навещу, также нынче налетчика опасного полагаю вам отра портовать, пощупать его надобно, зловредный елемент.

— Присылайте.

Лошадь дернулась, выжимая и отбрасывая шлепки с сырой дороги.

Праздник кончался. Обратно понесли плакат.

Пожилое-степенное, пришедшие поглазеть, все вразвалку, неспешно по гусьему—тоже направились к домам, чтоб успеть до обеда побаловаться чайком, на крылечках о жизни погуторить.

— А мука-то, мука... ка-акая цена, Господи.

Зеленому молодняку без старых раздолье. Неизвестно откуда вынырнула гудешная гармонька-бас, задербенькали озорные балалаечники и даже сама рокотунья гитара сплелась вместе с ними в пазефирах-вальце... А вальц замечательный—«Осенний сон».

Только всех краше, всех удалее в танцах кажется Пушкову молодая купеческая дочь Тая, зефирная и нежная; вкуснее она кренделька кондитерского. А на груди у нея робко бьются справа и слева два алых бантика. Давно приглядел Пушков Таю, а такой, как сегодня еще не видел. Глаз не сведешь с этих трепещущих бантиков. Томит румяное-белое-розовое, туфельки-крохотки, поясок-то талии бархатный, в рюмочку стянувший Таю. Но пуще всего эти заманные огонечки, лампадочки справа и слева... что за грудка у девошки... Прижать, затушить бы их.

Когда задержались в малой передышке танцы, Пушков уж около Таи сдобу отвешивает.

— Вы, прямо говорю, совсем необыкновенная барышня и удивительное существо. Сразу видно, можно сказать, воспитание и прочее, на что папаша истратился, в фигурах у вас все это подлинно обозначается... А вот мы...

— Пожалуйста, что вы. Ну, что вы! Ах. Правда смешно. Только у нас все девушки замечательные. Правда. Вон поглядите.

— Папашино вы утешение, можно сказать, на старости...

Но Тая очень тонко, очень воспитанно жмется пухленьким локотком.

— Да, вы думаете? Только папе больше нравится купончики стричь. Послушайте, почему вы наши ряды закрыли? Разве мы мешали? А?

Смущается Пушков. Не порядок, Таисия Никандровна...

— Не порядок... ой Господи.

И сама так закатывается, что даже смешливому Пушкову за ней не угнаться.

— А папаша говорит, что обобрать вы мастера, а чтобы порядок учредить или солидным людям почтение—смекалки нет. Правда?

Пушков обиженно закуривал новую папиросу.

— Знаете что. Зовите меня просто Таей. Хорошо. Меня все так зовут. Вон папаша на вас смотрит.

Взглянул Пушков на облупленные столбы по пазовскому фасаду, на забитые ставнями окна гостиных рядов, на высокое ступеньчатое крыльцо, где ворошился старик, не зная—как бы удобнее согреться солнышком. Пушков на всякий случай поклонился.

— Чего это они беспокоятся?

— О ком, о чем? Я здесь, папочка. Приду ско-оро.

Они спустились к реке по густой стежке мимо бурьяна и размашистого кестяного лопуха. Присели на опрокинутый челнок. Кругом никого. Вялое, :ак всегда умаявшееся после полуден, небо, изрытые в осне плитняковые ерега и у ног желтая, поемная вода.

— Плита вон кубиками наложена. Это наша. У нас ведь каменоломня ыла. И дальше, там, тоже наше. А вы, товарищ Пушков, умеете танцевать?

Но Пушков притих.

Жарко. Угомонились даже стрижи. Не чиркают по воде острым крылом. Одно солнце—неугомонный старатель вечно заботится о всем сущем.

Пушкову кажется, что от тепла Тая стала совсем сквозной и вот сейас легкой пушинкой упорхнет к небу. И не будут больше дразнить алые гоньки на ее груди... убегут туфельки-крохотки... пропадут, потухнут в інем тумане.

— Ах, Таичка, бантики эти ваши... пупочки майские.. А что касаельно политики, то наше там ваше было... а ну их к чорту.

Пушков придвинулся к Тае (заскрипел под ним челнок) и вдруг дерзко зял ее всю сразу между своими широкими ладонями, приподнял и тихо пустил к себе на колени и пчелой приник к розовой теплой коже у паху-іх Тайкиных кос, приник—как пчела к душмяной кашке.

Вдоль по набережному верху, вспугивая синюю тишину, пробежал ста-шечий шершавый голос:

— Барышня, ау... Таинька...

Тая вмиг с коленок, одернула барежевое свое платьице, примяты за-йливые оборочки и улыбнулась. И щеки пышут—чем не заалевший, прямо горячего поду кренделек.

— До свиданья, товарищ Пушков. Иду-у! Офимьюшка.

Не успел он рук к ней протянуть, как она уж высоко взобралась по ербатому обрыву и оттуда дразнит туфелькой-крохоткой. Остановшись на аю, в россыпь кинула оттуда горсть звонких стекляшек.

— До-сви-да-ан-ан-нья.

Жмурится Пушков на свои руки—удобные, рабочие, шире лопаты... и верит: неужели в них держал он ту, зефирную?..

И пока брел к дому, что всех новее в Свеяге, что серебрится свежим сом не в пример прочим домам, к тому самому, где всегда коний кал, лоади и повозки, где народ серьезно читает надпись «Совдеп»—пока брел—как не мог привыкнуть... чтобы вот в этих, этих самых ладонях такое гло уместиться чудо...

Ныли коленки. В глазах алые бантики. И дорога пляшет комаринскую. выпить хочется сладкого какого-нибудь, барского вина, и обнять хочется , что знает даже по французскому и вальц нежно танцует... ой.

А на квартире сидит крепкая и натужистая Полага, пьет в ожидании гую чашку мятного отвару вместо чая.

Только распахнул Пушков дверь—навстречу ему потная и душистая Полага.

— Тимоша...

И пошла стрекотать о зеленых озимях, о кауром, что охромел на правую ногу, о том, что двор валится...

— Солдат пришлю.

— А сам-то.

— Говорят тебе, некогда.

К вечеру кой-как спала тоска. Уж очень сдобные калабушки привезла в гостинец Полага. Пушков даже начал входить в деревенские подробности.

— Приеду, там все досконально отремонтую...

Легли спать рано, с вечерень. Не от пуховика ли разметались женины мысли. И казалось Пушкову, что не жена Полага, а оса... жалить бы только ей...

Вот деток нет, но она здоровая и может...

Да в деревню надо, чтобы не избаловаться...

И то все кличут барыней, совдепской женой...

Иль может тяжкой грех... Бог наказывает... Остервенел Пушков.

— Грех, какой грех?.. Вредный он елемент, сам виноват...

Но Полага затушила мужнюю злость поцелуем.

— Крестьянствовать стал бы...

— Баба, ах баба... не перекоряйся. Не всем же навоз ковырять.

— Поцелуй меня, Тимоша.

Обнял Пушков жену. Заиграло в руках натужистое, сильное—так вот добрая пахоть по вешнему пару уступает вострой сохе и секунчикам-лемехам.

Ах, зачем опять мельтешит в глазах вместо жены Тайка, чей каждый пальчик особую ворожбу знает...

— Да пристали ли хитрости нам? Нет.

Распахнулась Полага покорно... Точь в точь, как та белая береза, что о прошлой весне приютила их в грозу и огневая девка не от молоньи ли тогда разожглась, и миловала-целовала, голубила... Как и не снится барышне пазовской.

— Ах, Полажка, сюда тебя вытребую. Пеки мужу подовые пирожки.

Источилися ласки и две головы согласно ушли в пуховую подушку, жаркую, что лежанка.

Под утро—под самое—под крепкий и сладкий сон, вдруг дробный стук у крыльца и топот.

И лает пес. Ворота дернули. Грозятся.

Очнулся Пушков.

— Чего это возются?

А уж за перегородкой в коридоре настойчиво зовет ровный голос:

— Товарищ Пушков... Товарищ Пушков.

Тимоха наскоро валенки накинул.

— Чего. Господи, племянник... Фу, ты—простите на просоньях... С чем, экстренным, товарищ Дондрюков?

— Люди есть? Вот вам из тройки предписание: обыскать... по вашему усмотрению... Пазовский дом...

— Да что вы?

— Я, собственно, проездом. Не мое дело. Передать только просили, что ищут... не знаю.

— Сегодня... слышите?..

— Без сомнения.

Позвонив куда надо, Пушков тронулся. У Пазовского двора дежурили уж четверо, закутанные утренней росой. Забарабанили винтовками в ворота. Кто-то крался по лестнице. Пушков услышал тот же, что и у реки, шершавый старушечий голос.

— Кого вам?

— Отпирай... отпирай... с обыском.

— Ох-ти, Мати-Троеручица, да что с нами?..

И босые ноги зашлепали, завздыхали, убегая от двери.

— Товарищ, — обратился к Пушкову один из отряда: — Прикажете взломать?

И ударил прикладом по замку.

— Погоди, не ерепенься. Без тебя знают.

И пока внутри дома ходили да вздыхали, снова примерещилась Пушкову зефирная, необыкновенная Таичка... И почему-то конфузно, что вот он... А зачем она сама, коли ведомо ей, что он женатый... Эта образованная нежность и такие бесстыжие, а он долг соблюдает... Да.

— И что-и-то вы, миленькие, — завздыхала стряпуха Офимьюшка, исконная пазовская слуга, дверь услужливо распахивая:—каким случаем напасть выпала, Владычица? Живем мы тихие, смирные, тише воды, ниже...

— Довольно, чего хнычешь...

Начался обыск. Полетела пыль. Растворяются настежь сундуки, шкапы, буфеты. Швырком. Посудная полка с хрусталем ухнула.

Из отряда один рассердился.

— Грохалы... Те, дорогая штука.

И спрятал в карман пробку от разбитого графина.

Посреди столовой сидит старик Пазов, уткнул в посох белую струганую бороду—и молчит. А Пушков ходит вокруг него и подмигивает.

— Накопили добра, папаша. Ничего, мы досконально узнаем, в обиде не будете.

Офимья хотела прибирать (аккуратна старуха), да где тут?..

— Ребята, покуда вы здесь, я дальше пойду...

Сам не зная с чего это вырвалось... да уж так вышло, так решилось...

— Веди в мезонин,—сказал Пушков.

— Батюшка, да ведь Таинька почивает, упредить надобно...

— Веди, говорю. Сам упрежу.

Веселым шагом через две ступеньки на третью торопится Пушков по скрипучей лестнице. Остановился у двери. Припал к скважине. И слышит, как из-за стенки нежнее стекол бьется голос:

— Ой-ой, Господи... ой-ой...

И примечталось Пушкову, как летели сегодня полуднем с обрыва радостные стекляшки: до-сви-да-а-ан-нья...

Пушков дернул дверь. Нехорошо. Колотятся воробьи в груди. Нет, надо разом раскрыть клетку...

Видит: на кровати беленькая, тоненькая, испуганная, — то пышное сердце сожмет, то втиснет розовую полную ножку в черный чулок и никак попасть в него не может—потом схватится за подвязки с алыми бантиками...

Не по силе Тимохе—и тут бантики...

Налился весь чем-то тяжелым и мутным и выболтнул это к самым ножкам. Упал, прижался.

— Таинька...

Пролежал, цепенея, пока не опомнился... вскинул голову, засмотревшись девушке в глаза—в ключевые пруды, где может вся наша судьба...

Да как прыснет вон из девичьей.

Не Пушков, а зеленый хмель летит и вьется вниз по лестнице...

...Чего там крестьянство, Полага.

— Ребята, какие дела?

Он строго оглядел отряд.

— Ну, — ружья на плечо. Потревожились, можно сказать, напрасно. А, оставьте это борахло. Ничего сомнительного нету. Идите спать. Кончено.

Озорное, утреннее солнце выпустило румяных зайцев на беленые пазовские потолки. А в дверях, опираясь голым локтем о косяк, стоит зефирная Тайка и на губах у нее не улыбка, а нежное колдовство.

Четверо с винтовками вышли, гулко хлопнув щеколдой.

Тая степенно подошла к Пушкову и, обхватив душистыми ладонями веснушчатые его щеки, нежно сказала:

— Благородный вы кавалер.

---

## Репей-Лог.

Не два волка в овраге грызутся.

Нет травы милей и жалостней, чем та, что тянется сквозь булыжник по крепостному плацу. Нет места пригожей и тише, чем у церкви Федора Тирона на Рвотном форту. Плац кругом обнесен старой толстой из'еденной стеной, по стенке тянется кирпичная панель; панель ведет к трем флигелям, где живет начальство. Из стенки, в одном месте, глядит на плац, что рыжий глаз, тяжелая чугунная дверь—когда ее открывают, она ревет громче быка.

Церковный притвор забит трухлявой доской. Церковной службы сейчас т. Только колокольня, как и прежде, мерно и медно отбивает часы и тверти. Солнце—верный часовой сторожко обходит плац за сутки со всех орон. А к ночи на панель неизменно выходит гулять парочка: Дондрюков Ругай.

Неспеша вышагивая, косится Дондрюков на шишковатые ругаевские гиблеты.

— Простите, товарищ Ругай... постоянства нет. Не может быть ни к му заранее выработанного плана. Мир—это война, а на войне план вдруг няется в секунду. Представьте, что все в исправности, но вот в каком-то астке, быть может, всего в четверть версты, две группы столкнулись... Подит тот, кто первый крикнул. Там родится прорыв. А он меняет все налаэнные диспозиции. И, применившись к новой обстановке, стратег сейчас дает новый план.

— Побыли бы в моей шкуре, которая... словом вы забыли бы хладноювие. Месяц тому назад я рассуждал отчетливее вас.

— Но... но вы тоже забываете, что мне пришлось перестроиться, именно рестроиться, прежде чем попасть под красный флаг.

— Какая к чорту перестройка? С вас просто сорвали эту золотую янь...

— Товарищ Ругай, вы маньяк... Дело не в деталях, а в подходе. Я маленький, я крупинка, я—солдат, лежащий в цепи и стреляющий на направлее, заметьте направление... Прицелов теперь нет. Вот эта махина армия сасывает меня... Кстати, вы рабочий... нет! Вот ремень махового колеса пылинка... Так я пылинка... При чем тут золотые погоны?.. Просто—солдат цепи.

— Я говорю, что вы дрянь. Где же, куда же душу засунули? А? Я вот перь говорить спокойно разучился. Вы себе загородочку устроили...

— Дисциплину надо...

— Вот, ну, конечно, дисциплину... уж такая ваша солдатская филофия...

— Не всем же в Геттингене курс кончать.

— Не Геттинген, не Геттинген... а ведь тысячи систем о жизни было... вот я жил, жил и теперь ничего не понимаю... солдат в цепи? Этак очень гко отпихнуть все от себя. Я, мол, ничего не хочу знать. Я—пылинка...

Они подошли к чугунной двери, что выходила на пустырь к обрыву.

— ...пылинка чортова... хоть разрыдались бы вы о погонах, я бы понял, то... меня вот тоже притиснуло к этой двери, к чугунному этому уроду...

Ругай выскалил по-крысьему рот.

— ...и мне приходится... в темячко... Ловко! Пылиночка...

Дондрюков брезгливо поднял четыреугольные плечи.

— Я ничего не знаю, ничего не знаю...

— Нет, вы должны знать...

Ругай рвал его за рукав и на губах у него кипела слюна.

— Не имеете права не знать. Кругом вас, ломается мир по новому и кряхтит от боли, а вы не знаете. Вы хотите приходить на готовенькое чистеньким. Не имеете, чорт вас побери, права...

— Вы маньяк...

Так ругались они каждый вечер. И каждый вечер неизменно кричал Ругай Дондрюкову из темноты.

— Женитесь-ка... у меня есть знакомая... Полага... Широкая женщина, под вашу фигуру...

Ныли за стеной лягушки.

Дондрюков шел к себе, чтобы насладиться на ночь неутоленной любовью к прекрасной Паризине... и многие другие феррарские жены вспоминались ему; они были в ласках неистовей псов, сорвавшихся с цепи. Но всех чудесней и нежней была грудь супруги маркиза Николло...

Наконец падала засаленная книжка. И тело вытягивалось тоньше ниточки... и ах—быстрее, быстрее... еще-еще одна ласка... вот... тело летит—и мелькает грудь и рука—и слышится запах рисовой пудры и глаза той мелькают—кого целовал давным давно... и она единственная сочеталась в одно с Паризиной... Конец!

Противны сырые руки, он вытирает их о простыню.

Ругай говорил о душе, о своем...

Нет! О своем никому никогда не расскажет Дондрюков.

А ночь шелестит за занавешенными холстом окнами, бредят камни и, зеленя, плачут лягухи, вздыхают о каком-то горе стреноженные лошади, хмуро перетирающие слюнявыми губами траву. И кажется, что это не они, а ночь перетирает нас, жует своими мягкими губами. Только луна—сытая и круглая, как умелая нищенка, о чем-то христорадничает, что-то просит у земли. Что может дать ей земля—убогая и голая...

Под воротами, где к внутренней стенке учебного плаца прижимается караулка—приткнулись двое у костра: часовой и его приятель, охотник до рассказов. Растяжно поет веретено.

— ...и так было, милочек, неподобно, чтобы генеральская дочь на покрутку сбежала с небритым бомбардиром, без роду, без племени, а было... Папаша страсть убивался от такой неприятности. Ему, милочек, сама Катерина письма писала и очень его обожала, всякие аванцы, а тут какой конфуз: единственная дочь и подобный удрала фортель, да еще с солдатом. Упористый был старик—Дондрюков. Я, говорит, матушке государыне честно служил и не желаю, чтобы единственная дочка с солдатом мою генеральскую честь попрала. Догнать, приказал. И сам в погоню. А как нагнали их, заарканил он девку, сам-то верхом, а она, милочек, обтрепавшися, нагая чуть за конем притоптывает. Тридцать верст под арканом вел, а чуть спустились в Репей-лог, упала она, изнеможась, так он ее волоком нагую по колючкам... с тех пор Репей-лог и стали звать Лидин Лог,—Лидой звали дочку-то... Народу, конечно, смешно на тиранство; не знали еще что будет. А было, что

казал он бомбардиру: ты, говорит, увел—ты и плати. А потом по-воински, ю команде—пли! А она в мучении ручки ломает...

— Какой фасон в стародавние-то лета был...

Смолкли. Ерзнула головешка из костра—для закурки.

— Девка, говоришь? Девка, конечно, тонкий женский пол, сильно маялась и все-то по стенам шляндает, глядит на пустошь, плачет. Ссохла, что верба. Ну да генерал живо ее уманежил. Подыскал пару из гражданской конторы, приданым наградил, да в Питер обоих... Так, милочек...

Тяжело и медленно раскачивается утро, но как брызнет солнце, оживеют стрижки, заплетут кудрявые песни—хорошо тогда просыпаться по летней росе и цветку, и человеку.

Племянник Дондрюков в туфлях на босу ногу вышел на крыльцо, почесал нос и, неспеша, пошел через двор к Свеяге—купаться. А голова, как у турка, замотана мохнатым полотенцем.

В это время из вторых ворот плавно выползла таратайка, направляясь к флигелям. Возчик вдруг лихо подстегнул потную пегую лошадь и она сбоем поднесла к крыльцу. Из таратайки выпрыгнула коротенькая толстая женщина, с молодыми синими глазами, вкуснее чернослива—и быстро оглянула плац. На шум высунулся из-за угла парень в желтых исподних штанах и красной, вернее, черной от грязи, рубахе. Парень смотрит и удивляется на чудную бабью моду:—ну и сачек... какая у нее клетка по пальту пущена...

Женщина в коротком клетчатом саке заметила его, и, пока он собирался удрать, благополучно показав пятки, она уж мигом его зацепила.

— Эй, товарищ! Ты кто здесь?

Парень почесал лениво пятку.

— А никто...

Женщина засмеялась:—Как? Ну и народ? Никто?

— Никто. А тебе чего? Я пятой роты красноармеец... Семка... Ежели тебе барина, так вот он купаться пошел.

А она маленькая, толстенькая, что ребенок кругляш—заливается.

— Ну и народ... Барин, какой барин?

Парень обиделся.

— Какой барин... вестовой я, дондрюковский. Вон он полотенцем обмотался, не видишь...

Парень указал плечом на Дондрюкова.

Нет спокою кругляшу.

— Эй, товарищ Дондрюков...

Тот оглянулся.

— Здравствуйте! Я из Петербурга, в вашу комиссию, в качестве следователя... куда мне теперь... ни черта не понимаю.

Искоса, через нос морщится Дондрюков на клетки.

— Не знаю. Не мое дело. Обратитесь к товарищу Ругаю.

Сегодня Дондрюкову купанье не в купанье. Не бодрит желтая глубокая вода.

— Что это за цацу принесло?

Пока пил чай, допрашивал вестового Семку.

— Ну и что же она...

— Да она нивесть дурная, козой егозит. Доложи, говорит, товарищу Ругаю, что приехала товарищ Катя, следовательша петербургская...

— Ну и что...

Семка чешется—пятка о пятку.

— Известно, доложил. Спрашивает, говорю, вас Катя... какая, говорит, Катя? А я почем знаю... Клетчатая, говорю.

— Ах, дурак... Клетчатая...

Смеется Дондрюков.

— Клетчатая, известно...

Ночи нет, утра нет — опять бьется в небе румяный день.

---

## Король.

Нет, нет! Нельзя молиться за царя - Ирода: Богородица не велит.

Набухла снегом голубая опушка. Две тропы—два пояска, стягивают ее ухлый живот: одна к колу, другая к сторожке, где живет Пим. Каждую ночь завевает их снегом. Утром снова протопчут.

Недаром ищут люди у кола утешения. Где же искать... Надо где-либо. Человеку всегда хочется искать.

Пим, всякий птичий голос знает, каждый звериный след. У Пима строгий годник в поставце, а перед поставцем неугасимая лампада. Без Пима и лесу ыть не может, и сосне без Пима не стоять. Так привыкли люди к Пиму, что : грибам.

Когда трава-подорожник расти не будет, переведется когда трава эта ри дороге, тогда и про Пима забудут.

А нынче как забыть, коли такие кудеса выкидываются, что и не нилося.

Недавно вот взбулгачились...

А все комитетчик побереженский Матвей Коряга. Сход собрали—и малых и старых.

— Есть де...

говорит

— ...Приказ с Москвы. Народу Каменная просит!

Бабы, известно, в рев: не хочет баба мужика к ружью пускать... не любит... балуется от ружья мужик...

А Коряга и еще удивительнее загнул.

— Требуется...

говорит

— ...Москве племенной народ. Так, что надобно на племя особо-годных баб да девок... и мужик, который покрепче или парень жирный... Всё одно! Должно в волости богатую пайку получите. До распоряжения, покуда в Москву вас погружать будут.

Тут бабы стали на себя порчу наводить—шилом увечиться.

А Матвей Коряга:

— Я...

говорит

— ...не при чем. Которые грамотные, пусть сами бумагу прочтут.

И бумажку из волости всем показывает.

А бумага такая:

Председателю деревенского совета Побереж.

Предлагается вам в трехдневный срок представить сведенья о количестве граждан до 16 лет и свыше, а также сведенья о племенных русских мужчин и женщин, и если имеются граждане не русского пола, как корел и прочие, то таковые занести отдельно.

Печать

Завед. Волпродотделом С. Новожилов.

Прав Коряга.

— Не иначе...

говорит

— ...Рассее с мериканцем воевать. Ну и надобно здорового народу!

— Не пойдем!

Чистый бунт.

Спасибо раз'яснение вышло. Дьякон случаем свеяжский заехал, за картошкой...

— Это...

говорит

— ...помрачение умов. Не больше. А постигла путаница. В уезде у нас жидочек приезжал от комиссии племенного состава. Хотят знать, кто у нас татарин, кто православный. Опять по старому... разной веры чтобы...

— Слава Богу... Это хорошо, если нынче опять различка.

Не успели успокоиться с одного—как новый слух. Гуторят по избам мужики, что с моря на минных кораблях приехал сам аглицкий король, что не хочет он будто бы, чтобы была коммуна, а чтобы были одни православные. А другие говорили, что если коммуну король уничтожит, то королева захочет, чтобы все были ихней, аглицкой веры. И будто бы даже попов своих на случай захватили, когда обливанье начнется (известно, что ведь у них не святое крещенье, а обливанцы они все).

Не знают мужики: что делать...

По тракту месят снег красноармейские эшелоны, пройдет один и снег сразу станет потным и рыжим.

Ночью слышно, что где-то вздыхают пушки.

Пим прячет Цукера в сторожке своей.

— Сиди.. на глазах не болтайся. Начальства у нас нынче, что поганок. Так и ездют.

— Нет, дедушка. Скучно сидеть. Вот придут англичане—заживем.

— Эх, ты птица! Чего в твоих агличанах? Аглицкий король нам не пóмочь. Не так за соху взялся, голубок.

И мужикам, пришедшим спрашивать: принимать ли аглицкого короля? коротко отрезал одно:

— А что он вам поможет сработать?

— Да советские депутаты вон... да и девка нынче в разврате...

Пим только бороду скребет.

— Девка—ягода, тем зреет... А коли пóмочи, чего ж вам Ирод, он еще может последнюю икону разорить!

Мужики все-таки потрухивали. С отчаяния каждый день гнали самогон и горланили:

— Мы его чорта лысого оглоблей зарежем!

Но на наши эшелоны тоже глядели с опаскою.

— Всё прут! Подождь, начешут вам в загривок, по первое...

---

## Осада.

Война!.. Подъяты, наконец,
Шумят знамена бранной чести.

В штабе ярко. На плацу ночь. Скрипят в темноте фурманки. А у крыльца маньчжурская папаха жует колбасу и рассказывает конюхам и вестовым:

— ...вот я ему и говорю: ты, сукин сын, не имеешь права на такую резолюцию. А он говорит. Как, говорит, не имею права, если с полным мандатом...

Потом бесятся лошади. Потом бежит человек в туфлях, с ведром в руке.

— Скажи там... конвойных надо... Ой, Господи. Да где же у вас вода?

В штабе по стенам ползут черные проволоки полевых телефонов.

Проволока гудит.

Донесения от наблюдателей и с батарей.

— Какой сектор? Какой сектор?

Но никто не слушает.

Все хлопочут.

А на столе, когда разом вздохнут орудия, жалобно дрогнут пустые стаканы.

Около племянника Дондрюкова груда пепла. Он курит. И окурки складывает пирамидой.

У стола толпятся.

— Не терпящее отлагательства... приказ Троцкого...

— Да что там Троцкий, когда?..

Каждый вылетает первым.

Ад'ютант, с повязанной щекой, наклоняется к Дондрюкову и шепчет:

— Ч. К. просит...

Поднимаются у Дондрюкова четыреугольные плечи.

— Не знаю... не знаю. Скажите, чтобы чаю мне.

Но ад'ютант не слышит. Он ногой ищет позади себя стул и садится, хватаясь за щеку.

— Зубы, зубы, зубы... Ох, скоро ли они кончат!

Дондрюков читает вслух приказ и... он обводит штаб мутными глазами.

— ...Если партийные товарищи и политическая часть согласны, то... я приказываю...

Но кто-то, высморкавшись, сует к столу шершавую ладонь.

— Не вполне! Да! Нельзя, чтобы...

Ее затирают и по столу уже опять стучит уверенная квадратная ладонь Дондрюкова.

— Так!

Дондрюков кличет у под'езда вестового Семку и, неспеша, пробирается с ним по аллее к церкви Федора Тирона.

— Ваше благородье, там в логу говорят при вашем дяденьке девку давили.

— Какую девку?

— Не знаю. Конюха рассказывали. За любовь говорят. Будто и прозывался так—Лидкин лог.

— Ах, Семка, топор, что ли?..

— Зачем, ваше благородье?

Дондрюков не замечает, что Семка начал его титуловать.

— В церковь хочу... вот доска.

— Дак я ею, мигом, сорву... Руками! Что забили, спрашивается?

Дондрюков светит карманным фонариком.

— Семка! У тебя из лаптей пятки торчат.

Семка хохочет. Хохочет он, камнями давится.

— Да я бесперечь босой. Только подремонтят, а я опять обломаю. Товар что ли нынче гнилой...

Войдя в церковь они запутались среди решеток. Потом в потемках нащупали усыпальницу генерал-поручика Дондрюкова, что при царице Екатерине храбро вышагивал по форту с черной заплаткой на носу.

Дондрюков-племянник опустился на колени.

Кому? О чем?

Босые тоже солдаты...

Орудия реже... устали.

Дондрюков потрогал шишковатую решетку вокруг усыпальницы:

— Такие умели умирать...

— Пойдем, Семка! Ничего, брат, у меня не выходит... не умею...

— Чего?—спросил Семка.

Но уже чинно отпечатывались по снегу быстрые Дондрюковские шаги и солидно тилинькали шпоры.

В штабе суматоха.

— Архив, собирай... Да куда это к чорту?..

Предписания пишут огрызком карандаша на смятом клочке бумаги, еще с крошками хлеба.

Дондрюков же спокоен и решителен.

Почесав нос, он, уверенно оглядывая всех, ясно отвешивает каждое слово.

— Умереть

но

удержать

форт.

Вдруг умолкли гудливые телефоны. В штабе перестало биться сердце.

В широко-распахнутую, как для гостей, дверь вбежал цирульник Федя.

— Несчастье! Атака!

У Дондрюкова краснеет затылок и поднимаются четыреугольные плечи.

— Атака? Ничего...

Комната пустеет.

Дондрюков оглядывается.

Остались только Федя и Катя клетчатая.

Федя робко жмется к стулу.

— Катюшенька, вы бы...

Дондрюков багровеет.

— Не герои... Чорт возьми! Товарищ Федя, возьми команду связи во втором этаже...

Дондрюков вынимает из ящика бутылку спирта и пьет из горлышка и кадык у него шевелится, как у лошади.

— ...штаб будет защищаться!

— Но я...

— Молчать! Хотите...

Он протягивает Кате бутылку.

Катя торопливо сдергивает кожаную куртку и пересматривает свои документы.

— Концом пахнет... Надо уходить.

— А это?—говорит Дондрюков.

Взглянув на черный кольт Дондрюкова, Катя садится.

Вздрагивают круглые плечи.

Дондрюков бросает на стол револьвер.

— Пейте. Хотите? Ну, не надо, не надо... Поздно! А если...

Он хохочет. От плотного, налитого френча отскакивает пуговица.

— ...попадем вместе в тюрягу... ну, уж я поцелую... Чего же плачете? И полюблю... Ей-Богу. Поздно... Чего же плачете? Поцелую. Хотите?

Часы на колокольне протянули медленно и длинно.

В слободе еще отстреливались.

— Куда бежать?

Дондрюков вспомнил нежного Уго и прекрасную Паризину.

И опять засмеялся.

— Так!

---

## Конца нету.

Почившим песнь окончил я,
Живых надеждою поздравим.

В Свеяге военный лагерь. Штаб Группы разместился в Пазовском гостином двору. У Пазовых самовар со стола не сходит. Офимью замучили.

А Пазову-старику привольно. Без надзора гуляет (не до него теперь).

Вчера штабные после ужина затеяли стрельбу в цель. Было уж потом старику работы. Часа два по двору со свечкой ползал—патронные гильзы собирал.

— А ну взорвутся?

К комиссару тоже пристал.

— Ну, что побил или нет? А то они — немцы, сволочи, им бы сосисек только. Ты побей!

— Англичане, папаша, англичане...

— Мне бы кинжал... А то бы я ихнего короля... Таичка, куда это запропастился кинжал мой?.. Их пускать нельзя... Немец—он дока.

От батальонов потели дороги. А батальоны все шли и шли.

У Совета груды подвод. Мужики ждут по двое суток. Щелкает брань гулче ореха.

— По военной повинности... Конец-то скоро ли? Господи! Животы заморишь.

Дозоры... Окопы... Песни.

Масленица вокруг Свеяги. И в воздухе чад.

Примяты белые зимние поля, поднялся из логов немой сладкий лес.

Пим осел на хлеба у Полаги (Полага-то тоже в город перебралась).

— Уйду, Пим.

— Куды пойдешь, дурочка?

— В Москву... силы моей нету.

— Вишь, батька-то, царствие ему небесное, правильно обозначал. Не след было тебе за Тимошку выходить. Да сиди. С полой-то водой все отишает. Тихо жить будем.

— Нет, пойду.

Прибежал цирульник Федя. Мокрее и встрепаннее паршивой собаки.

— Ужасти! Заарестовали их англичане по военно-полевому суду, а на другой день к машинке—на березу, что у Федора Тирона. Катюшенька такая веселая, с нежностью к самому Дондрюкову—вместе сидели. А тут слободские какие-то на Катюшеньку, ровно сучки, разодрали насквозь, да в прорубь. Заметалась Катюшка, боюсь—кричит. А уж у березы Цукер, который бежавши, народу речь говорит. Имеем, говорит, полное право... Именем... говорит

— ...революции! Вон...

— А Ругай?

Спросила Полага и стянула на глаза полушалок.

Федя не понял.

— Это что—матрос? Не помню... Рваный он... Может сюда придет... Да, а Цукер-то им всем прямо. По́ праву, говорит. Именем...
говорит

— ...революции.

Через тракт, выжимая пот из снега, лениво выбивались рыжие фурманки — шумнее нескладного тараканьего стада. В хвосте обоза у флага с красным крестом сидела Тайка в зеленых бурках и зеленом полушубке.

Увидев своих и Полагу, она бросила в снег окурок.

— Белых вышибать!

И раскидала по снегу голосом горсть звонких стеклышек.

— Идем!

— Конец-то скоро? Иль нету?

— Нету!.. Опять сначала.

Смеется.

И уж издали опять обернулась к Полаге.

— Тимошу увидите... Скажите, что я—санотряд 45...

— Чего?

— Санотряд 45,—кричит Тайка:—Со-арак пяд!

Полага смотрит на зеленый пухлый полушубок — не узнать тонкой Тайки... И на губы Тайкины, мокрее моркови...

Не может чего-то понять Полага. Не одолеешь. И, застыдившись, она ушла с улицы.

А от вокзала ровной дробью, откинув народ к канавам, мял тракт грубым сапогом матросский отряд. Крепко склепан, с припаянной к спине винтовкой, на груди тусклят пять медных пуговиц, а глаза надежней и медяней пуговиц.

И серые шпалеры с ленточками на затылках, кремневой глоткой не песню высекают, а огонь жгут.

Обре-зает Дашка косу
Дает лен-точку матросу...
Э-э-их!

И ноги низкие, короткие, чутуном утрамбовывают ...р-а-аз, два-а...

Эх, Дунька Дунька — я
Дунька я-годка мо-я!

— Такой вышибет... Верно.

И, сняв треух, Пим перекрестился.

## Заметы.

1.

Странник прошел, опираясь на посох —
Мне почему-то припомнилась ты.
Едет пролетка на красных колесах —
Мне почему-то припомнилась ты.
Вечером лампу зажгут в коридоре —
Мне непременно припомнишься ты.
Что б ни случилось на суше, на море,
Или на небе — мне вспомнишься ты.

2.

Под ногами скользь и хруст.
Ветер дунул, снег пошел.
Боже мой, какая грусть!
Господи, какая боль!

Тяжек твой подлунный мир,
Да и ты немилосерд.
И к чему такая ширь,
Если есть на свете смерть?

И никто не об'яснит,
Почему на склоне лет
Хочется еще бродить,
Верить, коченеть и петь?

3.

Размякло, и раскисло, и размокло.
От сырости так тяжело вздохнуть.
Мы в тротуары смотримся, как в стекла;
Мы смотрим в небо — в небе дождь и муть.

Не чудно ли? В затоптанном и низком
Свой горний лик мы нынче обрели.
А там, на небе, близком, слишком близком,
Все только то, что есть и у земли.

4.

Покрова Майи потаенной
Не приподнять моей руке.
Но чуден мир, отображенный
В твоем расширенном зрачке.

Там в непостижном сочетаньи
Любовь и улица даны:
Огня эфирного пыланье
И просто—таянье весны.

Там светлый космос возникает
Под зыбким пологом ресниц.
Он кружится и расцветает
Звездой велосипедных спиц.

**Владислав Ходасевич.**

* * *

Надела платье белое из шелка
И под руку она ушла с другим.
Я перекинул за плечи кошелку
И потонул в повечеровый дым.

И вот бреду по свету на удачу,
Куда подует вешний ветерок,
И сам не знаю я: пою иль плачу,
Но в светлом сиротстве не одинок.

У матери — у придорожной ивы,
Прильнув к сухим ногам корней,
Я задремлю, уж тем одним счастливый,
Что в мире не было души верней.

Иными станут шорохи и звуки
И спутаются с листьями слова,
И склонит облако сквозные рукава,
И словно не было и нет разлуки.

**Сергей Клычков.**

# Смута.

А. Зуев.

Бытовые очерки.

*(Окончание.)*

## XIII.

За неделю до Варсонофьева дня Власий вернулся из города. Вернулся юдрый, с хорошими новостями. Когда там узнали содержание протокола об чреждении поповского братства, все сразу решили, что необходимо принять рочные меры к тому, чтобы не дать ему развиваться.

А меры требовались такие, чтобы в корне подорвать поповскую затею. 1 план Власия пришелся всем по душе. Было условлено, чтобы из города ι Варсонофьев день прибыл к концу обедни в Тиманево комиссар Зарукин : доктором и пятью красноармейцами и привез бы соответствуюшие ман-;аты от уездисполкома. В свою очередь и Власий должен был об'единить на ıразднике вокруг себя молодежь со всех окрестных волостей для поддержания ıорядка.

Обдумывая теперь все это, Власий прохаживался от окна к окну по кан-ıелярии и довольно потирал руки.

В канун Варсонофьева дня, рано поутру, Тороповский клуб, разбившись ıа несколько групп, подвигался к Тиманеву, обгоняя говорливые стайки босо-югих богомолок.

День выдался жаркий. В полях несло душными запахами уже отцветаю-;ей ржи. По дороге за проехавшей телегой долго тускнела в воздухе тонкая ıыль. А от горячившейся лошаденки роями набрасывались на пешеходов ıвода и слепни. Богомолки отмахивались от них длинными зелеными ветками быстро семенили вперед по тропке, пытаясь бегством спастись от ошалелых ıт жары и крови насекомых.

И вели между собой богомолки, перелесками проходя, разные разговоры. ɜспоминали жизнь старопрежнюю, когда в потребиловке товару всякого евпроворот было. И тебе ситцу, и тебе миткалю, и сахару, и пряников—арамели—всего, чего душа спрашивает. А ныне что?.. и думать забыли! ;удили-рядили о том, как дальше жизнь-то пойдет и уж не конец ли свету риходит.

Говорили про сенокосы, про яровые, и про то, когда опять в Красную армию набор будет и кому теперь черед приходит воевать итти.

А потом вдруг от стайки к стайке стал неизвестно откуда перекидываться слух о том, что комиссары станут сегодня мощи откапывать, чтобы доподлинно удостовериться, нет ли тут какого обмана.

Слух этот разрастался все шире и передавался уже с некоторыми добавлениями. Говорили, что жид-доктор будет резать мощи по кусочкам для раздачи латышам-красноармейцам—этому кусок, другому кусок, третьему кусок,—чтобы православным было некому больше молиться. Что старца Серафима Саровского давно уже так хотели уничтожить, только, будто бы, там у комиссара отнялись обе руки—перстом двинуть не может. Почернел будто весь. «Служите, говорит, не задену» и тут же грянулся о земь.

Заволновались богомолки, услышав такое. Пришли к Варсонофью, а и там то же говорят.

— Ангели, ангели!—слышалось в густых рядах собравшихся в ограде тиманевской церкви богомолок,—докуда Господь-милостивец терпеть такое станет?!

Кое-кто, правда, уверял и в обратном. Дескать, завтра, наоборот,—состоится торжество веры, а не посрамление. И в доказательство приводили к церковной двери, где была вывешена бумажка:

«Завтра, после божественной литургии, в церковной ограде, в сослужении о. благочинного, будет отслужено всенародное торжественное молебствие преподобному Варсонофию по случаю открытия и на начало трудов Варсонофьевского братства ревнителей православной веры. После молебна будет открыта запись членов-ревнителей в названное братство».

Толки раздвоились и опять пошли разными путями.

— О чем, слышь, тут народ шумит?—осведомлялись у сановитого бородача-мужика вновь подошедшие богомолки.

— А кто их знает!—отвечал тот.—Разное народ толкует. Коли не врут, так правда может...

Он неопределенно ухмыльнулся и пошел вон из ограды.

## XIV.

И откуда она взялась на богомольи Степанидка Медвежьи Об'едки? Слухи ходили—померла давно. Ан, нет, жива старбень!

Еще девкой ходила за морошкой, сказывают, когда медведь ее в бору поймал. Есть не ел, а помял только. Думал, видно, что померла она, моху надрал, в мох зарыл и все сидел, слушал. Чуть шевельнется, — он лапой раз-раз и опять слушает. Долго караулил, пока не затаилась Степанида, будто мертвая. И ушел медведь в бор.

Первое время, сказывают, в памяти была, потом путаться стала. Такой и до старости дожила Степанидка Медвежьи Об'едки.

Вещая она старуха—эта Степанидка. По всему уезду ее знают. И боятся старуху: ходит по дорогам, батожком суковатым землю потыкивает, сама с собой шопотки ведет, умеет людям беды просказывать—лихо ворожит.

Пришла на богомолье,—сидит с утра у ограды, все милостыню, собранную из корзины в котомку перекладывает. Глазами сердито вскидывает,—кто мимо идет.

Три бабы отдыхаючи, привалились около.

— Где была, Степанидушка? Что тебя не видать было?

Молчит Степанидка. Из кусков выбрала один побелее, у дьякона подали, разломила на пять, перекладывает из руки в руку.

— Что молчишь, Степанидушка? Скажи, ну-ко нам,—где была?

— Где была! В городу была!—точно сердится на расспросы Степанидка.

— А что в городу видела, Степанидушка?

— Что видела! Всего не сказать, что видела.

— Худо нынь там, говорят? Народ, говорят, бунты делат?

И оживилась сразу Степанидка, точно вспомнила. Забормотала:

— Народу смерть пришла. Бог-от, вишь, раз сказал, — Бога-то не слушают. Смерть-то и завалит народ, завалит!.. Смехота!..

Усмехалась Степанидка чему-то тайному.

Переглянулись бабы:

— Просказыват!

И останавливали проходящих богомолок:

— Слышьте ужо! Степанидушка просказыват.

Останавливались богомолки и долго любопытно смотрели, как перекладывает Степанидка куски, боясь проронить слово.

Злобно щурилась на них Степанидка. Грозила кривым пальцем.

— Ужо не возрадуитесь. Погодите сколь, не возрадуитесь. Иродка-то, может, на земи уж! Ой, поганец в земи ищет, в земи найдет. Красна та бардия евона лесами таится, все леса обходит. Говрит, на Пянды-реки кровь быть лита. Говрит, зайду в клети—подклети. Говрит, стану середь дороги, розмахну больши ворота, никому мимо не протти, не проехать... А, смехота одна!

Долго усмехалась себе Степанидка, показывая красные беззубые десны. Потом сразу поскучнела и стала есть разложенные на земле куски,—дьяконов пирог.

— Беду просказыват,—тяжело вздыхали бабы.

— Господи, до чего страшно просказыват!

Развязывали котомки и клали по пирогу к ногам Степанидки.

— На-ко, Степанидушка, прими Христа ради.

И расходились, томимые предчувствиями недоброго, какой-то беды.

— Надо ужо поговеть на празднике. Может и свету конец скоро сбудется. Ишь ведь, каку беду просказыват: на Пянды-реки кровь лита будет. В семи верст от нас.

— Матушка-богородица! Нету нынче в людях спокою. И не видать, глаз проткни,—не видать!..

— О-хо-хонечки,—не видать!..

## XV.

Богомольцев в этом году собралось столько, сколько в последние годы не бывало. Располагались, где придется: по сеням, по кладовым, по поветям, а то и просто вокруг церкви в ограде, благо время стоит теплое.

В тени за церковью уже спали, подобрав ноги, богомолки, пришедшие за ночь с дальних мест.

Открылась и ярмарка: два воза с горшками и один с граблями, да топорищами. Да под горой на реке привели верховцы два карбаса с точильным брусом. Еще приехал хромой солдат с полной коробухой всяких военных поделок. Были тут мундштуки из патронов, подцепки из пуль и алюминевые колечки, в виде ремешка с пряжечкой,—пленный австрияк научил делать.

Вокруг этих товаров, еще задолго до обедни толпился народ. Бабы постукивали по горшкам,—нет ли трещины. Взмахивали граблями по воздуху. Но особое внимание выпало на долю солдата. Его окружали густой стеной девки и ребята. Примеривали, переспрашивали, торговались. Солдат успевал бойко отвечать на все стороны.

— Не можем-с, барышня, не можем-с! Самим дороже стоит-с! Три рубля-с! Шесть рублей-с! Завернуть? Сию минуту-с!..

Гудела ярмарка разговорами. Айкали бабы, что ярмарка в этом году больно плоха. Толкались, слушали, переходили с места на место и снова вслушивались,—везде шли разговоры о том же.

Мужики, в ожидании благовеста, сидели в тени под двумя березами подле огорода и чинно беседовали о том, что солдаты большую волю стали забирать везде.

— Ведь молодяшки,—только и образованье-то видели, что на войну сходили. А поди ж ты! У нас вот Еремка,—такой сопливой парень был,—просто смотреть неохота, а теперь без гранаты и не ходит. Я, говорит, большевик, с самим Лениным за руку на митинге здоровался, а на буржуев мне наплевать... Сам и не знает, поди, какие буржуи-то есть. И смех и грех, право! Что вот с ими говорить станешь, коли они и слова слышать не хотят и все вооружоны ходят...

Беседовали так мужички под ярмарочный шум. Слух о том, что солдаты мощи задумали откапывать, не переставал волновать и их. Ведь станется,—ни во что теперь не верят,—ни в Бога, ни в чорта.

— Вон похаживают, ни на кого и не смотрят! И Власко Трошин посередке. Ишь, помахиват!

Молодежь шла толпой из ограды. У двоих через плечо висели гармошки.

Все торопливо шли в другой конец деревни. Власий что-то об'яснял, возбужденно размахивая руками.

— ...оцепить и никого не подпускать близко!—донеслись до мужичков его последние слова, как бы подтверждая только что высказанные сомнения.

Сидели так, пока, наконец, не прошел шурша синей рясой в церковь поп Никита.

Покрестившись, стали мужички подниматься. Народу в церкви много будет сегодня,—лучше пораньше туда забраться.

Медленно поднимались по скрипучей лестнице, а вслед им сквозь ярмарочный шум доносились со стороны деревни заливчатые трели гармошки.

## XVI.

В середине обедни приехал комиссар Зарукин с красноармейцами.

Комиссар был пожилой, но еще выглядевший моложаво—жизнерадостный маленький человек, с лысиной, в очках. Весь розовый, очень оживленный, он так и сыпал шутками. И видом он скорее напоминал провинциального доктора, чем политического деятеля.

Входя в Совет, он бодро о чем-то расспрашивал Власия. За ними вошел и доктор, совсем еще юноша, худой и бритый, с маленьким саквояжем в руках.

Солдаты, глядя на комиссара, вдруг успокоились и повеселели.

— Ему уж не первый раз мощи-то откупоривать,—сообщил кто-то. И все следили глазами за каждым движением комиссара.

— Ну-с, а вы теперь моих молодцов спрячьте где-нибудь на повети и уж, конечно, насчет молочишка и остального не обидьте. Все народ свой. Ночью-то ведь и спать не пришлось.

И комиссар почти любовно оглядел распоясывавшихся в сенях красноармейцев. Потом развязал галстух, расстегнул ворот и, все так же пошучивая, принялся с доктором за молоко.

И только, когда зазвонили к «достойно», комиссар сразу деловито перешел к обсуждению плана действий. Солдаты, заполнившие к тому времени помещение Совета, слушали его с напряженным вниманием. И чем дальше говорил комиссар, тем проще и выполнимей представлялось им дело.

— Дело наше упрощается тем, что мощи эти лежат в пределах церкви. Мои ребята, станут, значит, у входа снаружи и извнутри, чтобы никого не впускать, а вы все должны оставаться в толпе и сдерживать ее, коли этого потребуют обстоятельства. Ну-с, а чтобы и богомольцам не обидно было, предложим им выбрать от себя представителей—следить за нашей работой. Поп у вас вредный вот, с им придется дело иметь особо. Главное, не дать ему взбаламутить народ... задержать в церкви...

На минуту комиссар задумался. Потом, встряхнув головой, продолжал:

— Ну-с, ладно! Эту часть я беру на себя. Значит! товарищ Трошин, ваша задача провести полем к задней калитке в ограде моих ребят... лучше

будет после последнего звона, когда народ из церкви повалит. Я буду в церкви и задержу тем временем попов. Когда у вас все будет готово, придете в церковь и получите от меня дальнейшие инструкции. Понятно? Смотрите, это самое трудное,—вам нельзя запаздывать ни на минуту. Главное, застать противника врасплох. А там... никто, как Бог и его святые угодники!

Комиссар встал, закурил и весело улыбнулся.

— Ну-с, я пошел в церковь!.. Не забудьте,—я ни с кем из вас не знаком.

## XVII.

Протискавшись наперед ко клиросу, комиссар вытер вспотевшую лысину и огляделся.

Обедня уже подходила к концу. Часть богомольцев пробиралась к выходу.

В правом приделе над мощами трепетными огоньками теплились свечи. Большая лампада тускло светила сквозь зеленое стекло.

Комиссар вдруг услышал знакомый голос благочинного, читавшего молитву, и осторожно попятился за колонну.

Было в церкви нестерпимо душно. Мелькали взад и вперед потные блестящие лица баб, взмокшие морщинистые шеи мужиков виднелись впереди. Где-то в стороне отчаянно голосили ребятишки. Пронзительный крик галчат доносился из купола. Там вверху, на запыленных стеклах бились крылышками черные бабочки.

Комиссар, опустив со скучным видом голову, терпеливо стал ждать конца обедни. Казалось, что человек глубоко ушел в молитву и уже не замечает ни толчков со всех сторон, ни любопытствующих взглядов.

И только когда дьячок затянул заключительное «под твою милость» и народ густой стеной двинулся к выходу,—очнулся комиссар. Он торопливо протер очки и решительно двинулся к мощам.

Несколько богомолок распростерлись на полу перед мощами. Некоторые усердно отбивали поклоны, что-то шепча. В алтаре гулкий дьяконский бас отчитывал молитвы.

— Молебен по случаю открытия братства состоится через полчаса,— донесся до комиссара дребезжащий голос.

Тиманевский поп стоял на амвоне и выжидательно смотрел на него.

Комиссар поднялся к нему.

— Батюшка, мне бы спешно повидать благочинного.

— Отец благочинный слушает молитвы по отпусте и спешно к вам не может выйти,—вдруг неприязненно оглядев комиссара с головы до ног, отвечал поп Никита.

— А все-ж таки попробуйте,—улыбнулся комиссар,—скажите, что его ждет Зарукин.

Через минуту в дверях алтаря появилась всклокоченная голова благочинного. Он только что успел снять облачения.

— Чем могу служить?

— Я, батюшка, имею специальное поручение от губернских и уездных властей на вскрытие мощей и вообще на расследование деятельности местного священника. Вот, извольте видеть, мои мандаты.

Благодушный толстяк-благочинный растерялся сразу.

— Ничего не понимаю!.. Какая такая деятельность?..

— Деятельность, которая стала выходить далеко за пределы обязанностей вашего культа и может почитаться контр-революционной.

Голос комиссара неожиданно потвердел, а в потемневших зрачках вдруг замелькал острый беспокойный огонек.

В это время в опустевшей церкви гулко застучали торопливые шаги. Это был Власий.

— Занимайте вход!—властно махнул ему рукой комиссар и Власий так же торопливо вышел.

— Необходимо выяснить дело,—залепетал испуганно благочинный,—как же это так? Мы не имеем разрешения на вскрытие от епископа... нас даже не известили...

— Не могу допустить!.. Это же противозаконно... Это неслыханное кощунство!.. Необходимо обратиться к верующим...—торопливо перебил благочинного Тиманевский поп и уже двинулся с амвона. Он был бледен и нервно хватался рукой за крест на груди.

— Никаких обращений, никаких разговоров!—отчеканил комиссар, быстро обернувшись к нему.—Дело решеное! Понимаете?

В это время за дверями усилился шум. Слышны стали отдельные выкрики и чей-то резкий требовательный голос, покрывавший все остальные.

Дверь открылась и вошел Власий. Он выглядел несколько растерянно, докладывая комиссару о том, что народ волнуется,—становится все труднее сдерживать.

— Ломятся к двери, хоть стреляй в них! Толкуют, что мы попов арестовали и будем церковь запечатывать сейчас. Откуда такое и взяли-то! Просто сладу нет!..

— Я иду сию минуту!

И комиссар решительно двинулся к выходу, пригласив благочинного.

## XVIII.

Мертво было все вокруг, когда заговорил комиссар. Шумели перед тем, кричали беспонятное, друг на дружку лезли. Хотели солдаты для порядку перекричать, спиной народ подпирали, да где,—разве удержишь, коли весь народ стеной ломит.

И вдруг,—как показалась в дверях красная ряса благочинного, а за ней сверкнули очки комиссара,—все сразу стихло.

Тихо-тихо стало. Даже слышно было, как далеко на реке ругались меж

собой перевозчики. Даже слышно было: шумел ветер в высоких церковных елях.

А ограда была полным полна народу. Опустела ярмарка. Торопливо бежали оттуда опоздавшие. Взбирались на ограду, чтобы лучше видеть.

И страшно было, что не боится ничего этот человек—комиссар.

Кричит над всеми,—голос на всю ограду разносит,—только очками на солнце сверкает. На всех смотрит, всех видит.

Сказывает всем, что знает достоверно: нету мощей—есть чучела. Зря, говорит, чучелам молиться, все одно, что идолам.

Сказывает таково ясно и все спрашивает:

— Понятно?.. Понятно?..

Молчит народ, не знает, что сказать. Смотрят все то на очки комиссаровы, то на красную рясу благочинного рядом, и молчат.

И опять долго кричит комиссар и опять спрашивает надоедно:

— Понятно?..

Молчат, никто не шевельнется.

И дальше ведет комиссар, недолго ждет.

— Вот я перед всеми говорю: найдем мощи—судите меня своим судом. Я никуда бежать не собираюсь. Выберите своих выборных, чтобы за мной смотреть. Пускай они свидетелями будут там в церкви. Понятно?.. Согласны?..

Должно все сказал комиссар,—дальше некуда,—и остановился.

И дрогнула толпа.

— Понятно!—откликнулось сразу несколько голосов.

И загудело сразу, ожило все.

— На себя, вишь, весь грех берет.

— Ой, и смел человек!

— А чего бояться,—нечего бояться!

— Вам нечего, коли вы в Бога не верите. Вам с им заодно.

— Чучелко, говорит, ну-ко!

— А може и чучелко, вы ведь не знаете. Вот и надо посмотреть.

— Ой, парни, грех большой! Ой, мужики, что еще не сдумаете!..

— Известно, кто зачинат, тот и отвечат. Тово и грех.

— Ихню сторону не переборешь.

— Позвольте обратиться в свою очередь и мне к прихожанам с кратким словом,—подошел к нему благочинный, неловко кося глазами в сторону.

— Зачем?!—удивился вдруг комиссар.

— В некотором роде пояснить...

— Право, не стоит! Мне кажется, что они теперь выберут и без нас. Товарищ Трошин, вы здесь побудьте за меня. Мне вот с батюшкой еще поговорить надо. Понимаете, батюшка, деятельность местного Тиманевского священника уже обратила на себя внимание со стороны не только...

И, чуть заметно усмехаясь, комиссар мягко подхватил опешившего благочинного под локоть и потащил обратно в церковь.

Вслед им ровно доносился дружный говор отхлынувшей от дверей толпы.

## XIX.

Выбранными оказались все люди пожилые—на этом удалось настоять Власию.

Подходили к раке страшливо, почти на цыпочках. И не знали перекреститься ли им по обычному, или так стать в сторонке. И совестно было взглянуть в ту сторону, где виднелась согнутая спина попа с низко опущенной головой.

— Подвигайтесь ближе, граждане! Вот хоть сюда!—любезно указывал им место возле самой раки комиссар.

Показалось почему-то странным и неприятным слышать в церкви этот спокойный голос.

— Не у себя в дому хозяевать-то начал!—подумалось.

И выборные неприязненно оглянулись на комиссара. А тот с улыбкой смотрел на них и показывал рукой:

— Вот хоть сюда! Отсюда виднее!

Задвигались молча, сгрудились потеснее, но остались стоять на том же месте.

И томительно думали о том, что надо было совсем отказаться давеча от выборов, точно грех большой принимали на душу, присутствуя при таком деле. Казалось всем, что сумрачно и как-то скучно вдруг стало в церкви и хотелось отсюда на солнышко, на вольный воздух. То ли дело сидеть теперь где-нибудь на травке и поджидать со спокойной душой,—когда все кончится!

Но уйти было нельзя никуда. Раз выбран всем народом, значит стой. Надо стоять до конца.

— Ну-с, граждане, приступим к делу,—сказал наконец комиссар.—Батюшка, вам необходимо следить за всем, чтобы после не было на нас нареканий.

Благочинный, тихо говоривший о чем-то с попом Никитой, отделился и подвинулся, как-то боком поближе к раке. А поп Никита вдруг поднял голову, тяжелой поступью взошел на амвон и, не оглядываясь, направился в алтарь.

Смущенно переглянулись выборные. Кто-то причмокнул даже,—не то сочувственно, не то с укоризной самому себе.

Власий и еще двое солдат решительно взялись за крышку раки. В несколько толчков они сдвинули ящик с места и, отделив от полу, перенесли в сторону. Повернули на бок. Оказалось внутри—просто ящик из неструганных даже досок и в углах все затянуто пыльной паутиной.

Под ним накопилось много всякого мусора.

— Мышами пахнет,—громко сказал Власий, сгребая его ногой.

И от этих слов, таких простых и знакомых вдруг стало легче выборным: переглянулись и облегченно задвигались.

Под мусором оказался ряд кирпичей, сложенных кое-как. Когда их выбрали, обнажился желтый песчаный грунт.

— Ну, теперь можно и заступом!

И Власий с удовольствием глубоко всадил в землю железную лопату.

Выборные понемногу стали любопытно подвигаться вперед. Внимательно оглядывали со всех сторон раку и значительно поджимали губы.

Солдаты работали на совесть, поминутно выбрасывая землю на обе стороны ямы. Скоро они стояли в ней уже по колена. Все выше росли две горки свеже выброшенной земли.

Со всех сторон окна церкви облепили любопытные. Закрываясь от света ладонями, долго всматривались внутрь. Прижимались раздавленными носами к стеклам. А сзади теснились все новые и новые. Бабы начинали перебраниваться из-за мест.

Вдруг кто-то сообщил, что поп Никита стоит в алтаре на коленях—Богу молится и все бросились посмотреть к алтарю. Несколько баб стояли под окнами с заплаканными глазами—было им жалко попа.

— Ишь бедной поп-то, аж голова вся затряслась. Ох, грехи, грехи! Што это деитца-то, страшно ведь и подумать—не то сказать!..

Мужички менее любопытные лежали подле ограды в тени и все еще рассуждали насчет комиссаровых слов.

## XX.

Все реже стали заглядывать в глубину ямы выборные. Только тяжелое пыхтенье работавших солдат доносилось оттуда. Частенько же стали останавливаться они, чтобы выпрямить спину и передохнуть.

— Что, устали, видать?—весело засмеялся, глядя на них комиссар.

— Устали... подсмениться бы с кем?—нерешительно сказал один из них.

Все так же посмеиваясь, комиссар протянул руку.

— Вылазьте! Теперь, пожалуй, я сам поработаю. До мощей видно недалеко стало, коли лопата худо пошла.

Спрыгнул в яму Власий, помог опуститься комиссару. Поплевали на руки и работа снова закипела.

Снова две спины поочередно поднимались и исчезали, и рассыпающимися комьями вылетал оттуда влажный песок.

Со страхом заглядывали в яму выборные. И боязливо оглядывались на ближние иконы. Знакомые темные лики смотрели сурово, зловеще. Странная слабость все сильнее сказывалась в коленках у выборных. Хотелось отойти и отдохнуть на скамеечке в уголку. Отходили один за другим и сидели там в сумраке, молча и неподвижно.

И когда кто-то из них от волнения запостукивал ногой, на него сурово прикрикнули:

— Не стукай, ты-ы!..

А когда тот притих, но через несколько минут опять засопел носом, на него снова с разных сторон зашипели:

— Не здыши! Эк-кой какой рататуй!..

И сидели так, долго, как сидят ветхие темные старушки перед исповедью в покаянной тишине.

И вдруг голос комиссара раздался на всю церковь:

— Нашли мощи! Граждане, где вы? Пожалуйте, посмотрите!..

Власий торжествующе показывал из ямы человеческий череп.

— Доктор! Где вы? Батюшка! Пожалуйте, пожалуйте!—весело приглашал голос комиссара.

Доктор, все время со скучающим видом перелистывавший на клиросе церковные книги, подошел и принял череп из рук Власия.

— А ведь череп еще не очень старый,—заметил он, очищая его от земли.—Лет этак сто, полтораста, может быть. Кость совсем еще крепкая.

К доктору потянулись со всех сторон выборные. Любопытно заглядывали ему через плечо.

— А вот еще один!—послышался из ямы удивленный голос Власия.

И он поставил на насыпь второй череп.

— Да тут, повидимому, целое кладбище!—воскликнул комиссар. Заметьте, граждане, что оба черепа лежат в направлении не вдоль вырытой ямы, а как раз поперек. Значит, рака была поставлена наугад. Вот вам, граждане, и обман на-лицо. Батюшка, где батюшка? Идите, удостоверьтесь!..

Смущенный благочинный стоял в толпе не двигаясь и растерянно крутил вокруг пальца бороду. На него все любопытно смотрели, точно ожидая ответа.

— Просто... уму непостижимо...—невнятно пробормотал он, весь покраснев, а глаза снова растерянно забегали по толпе.

— Да ничего непостижимого нет,—торжествующим тоном продолжал из ямы комиссар. Все теперь ясно. Повидимому здесь было старое кладбище и, как доктор говорит, не так еще давно. Я уверен, что если еще в сторону порыться, откопаем таких мощей здесь не одну дюжину.

Стали копать дальше. Появились на насыпи трухлявые куски дерева с проржавленными, ломкими гвоздями. Высыпались из земли мелкие кости.

— Шейные позвонки,—определил доктор.

И вдруг комиссар остановился, что-то разминая в руке.

— Эге!—раздался его довольный голос.—Да мы сейчас, точно узнаем, пожалуй, когда жили покойнички. Дайте-ка руку!

Он выбрался из ямы и подошел к окну. Все удивленно двинулись за ним.

Подняв очки, комиссар близко подносил к глазам большой екатерининский пятак.

— 1767 года,—если я не ошибаюсь.

Пятак пошел по рукам. Действительно,—по обеим сторонам затейливого екатерининского вензеля заметно были видны цифры 17 и 67.

— Мы сами этого не знали... мы сами верили, как нас учили!—запаль-

чиво выкрикнул благочинный и вдруг в волнении смолк, низко опустив голову.

Комиссар остановился и развел руками.

— Что говорить... правильно ты это!—зашумели в ответ выборные. Они были ошеломлены всем происходящим и только теперь начали приходить в себя.

— Кончено!—кивнул головой комиссар.—Вылезайте, товарищ Троцкин.

И он протянул Власию руку, помогая выбраться из ямы.

## XXI.

... Церковь была уже переполнена. Толкались, пробивались вперед. И над притихшей толпой издали доносился чей-то об'ясняющий голос. Прислушивались к нему, досадовали, что ничего не слыхать, и опять начинали протискиваться вперед.

А добравшись—останавливались в изумлении перед неприглядной картиной разорения.

Три неугасимые лампады потухли. И висели они не над знакомой блестящей ракой, а над глубокой темной ямой. Самая рака лежала в стороне, повернутая на-бок,—показывая всем углы, затянутые паутиной. По краям ямы высились две горки сырого песку. А на одной из них в беспорядке валялись человеческие кости. Два черепа, поставленные рядом, смотрели в толпу темными впадинами глазниц и усмехались загадочной улыбкой мертвых.

На них глядели со страхом бабы и прятались, когда Власий поднимал и подносил поближе.

— На, смотри! Да чего боишься, ведь не укусит! Гляди, у него и зубов-то на половину не хватает.

Бабы испуганно пятились, убирая руки. Какая-то старуха вытирала покрасневшие глаза концом платка и слезливо ныла:

— Господи, батюшко! Пошто вы душеньку-то упокойную с места поворошили?

— Да полно, бабка,—успокаивал Власий,—положим назад честь-честью. Кости то не наварные, никто не возьмет.

Мужики неловко усмехались на Власьевы шутки. Приглядывались зорко внимательно ко всему и степенно отходили, уступая место другим.

— Ну, што? Как там?—обступали их в ограде.

— Да што, брат, дело видное! Кости нашли, как есть гнилые совсем. Верно Власко-то сказывает—«может, говорит, не твои ли, дядя, дедушко, да бабушка этта зарыты?». Почем их узнаешь, самдел?..

— То верно!—откликается кто-то задумчиво.

— Докапывали сурьезно, сразу видать. А только мощей-то нету! Яма, поди, аршина на три, а то, гляди, и глубже выкопана. Нашлись ведь, кабы были!..

— То верно!..

И всегда рассудительные мужички-крепыши, которыми деревня стояла, в недоумении разводили руками.

Не удался в этом году праздник в Тиманеве. Не пилось-не елось богомольцам так, как в прежние годы, не вышла пировля. И разговоры велись все об одном—о том, как комиссар сегодня мощи откапывал.

А к вечеру пошел между баб разговор, что мощи попросту «усели» в глубину земли от скверных рук комиссаровых,—не допустил Господь.

— Божья милость! Божья милость!—твердили, крестясь, бабы.

И удивлялись себе, как это сразу они не могли о том догадаться.

Уж закатилось солнышко, когда возвращались богомолки с праздника луговыми тропками. Трещали кузнечики по сторонам. Кой-где светляки зажигались в травяной гуще. Обдавало в низинах сыростью. Резко пахло осокой. Луна, круглая и красная, выглянула над затихшим миром.

Плелись усталые богомолки, обмахивались от комаров и беседовали тихо про день прошедший,—такой бестолковый и несуразный, грешный день.

— Батюшко, Христов угодник, прости нас окаянных!..—раздавались среди них подчас покаянные вздохи.

И вдруг где-нибудь на перекрестке,—с шумом, с песнями, с гиканьем обгоняла их толпа молодежи.

И слышали бабы:

— Эй, тетки! Святой-то ваш, Варасонофка-то, говорят, сегодня скрозь землю провалился?

— Усел, говорят?!. Хо-хо!..

— Ох-хо-хо-о!..

И быстро исчезали на повороте в затянутых сумерками ольховых кустах. Только раскатистое «го-го-го» разносилось еще в засыпающих лугах, да гармошка визгливо вторила, переливаясь на разные лады.

— Басалаи шалые! Тьфу-у!—негодовали бабы,—накажи ты их, Господи, коли нас не слушают!..

— Смуту какую в народе развели,—шамкал старческий голос,—помирать, видно, нам старым надоть.

— И впрямь помирать. Верно, Дарьюшка, ох верно.

— Спаси и помилуй!—удрученно вздыхал еще кто-то сзади.

И бабы шли молча, понурые, притихшие—все во власти одной тягостной думы. Вереницами уходили по затерянным тропкам в большом притихшем мире... Лишние, ненужные думали о смерти.

## XXII.

Через три дня в Торопове произошло событие, окончательно сбившее всех с панталыку.

Молодой поп, не прослуживший у них и месяца,—вышел из попов. Очень просто,—скинул подрясник, написал заявление и пришел в Совет к Власию.

В синей с горошком ситцевой рубахе и серых брюках на выпуск—он уж ничем не напоминал попа. Только шляпа соломенная старая осталась.

Власий так и остолбенел, глядя на него.

А поп развернул бумагу и положил перед ним на стол.

— Тут вам мое заявление о снятии сана и ходатайство на выезд в город.

Спокойно так сказал и сел на скамейку в ожидании ответа.

Четким размашистым почерком было написано в заявлении:

«Будучи рукоположен в священники не столько по убеждению, сколько по стечению обстоятельств,—ныне, когда шарлатанские проделки наших иерархов вскрываются со всей очевидностью (как это случилось в соседнем Тиманеве),—продолжать дальнейшее служение церкви не нахожу для себя возможным и по представлении настоящего заявления гражданским властям буду считать себя свободным и равноправным гражданином Республики. Оставляя должность священника, прошу предоставить мне и жене моей пропуск на выезд в город в ближайшие дни».

Этого Власий не ожидал. Широко раскрытыми глазами смотрел он на попа, а тот, откинувшись спиной к стене и вытянув вперед ноги, свертывал цыгарку.

— Ну, значит... поздравляю со свободным гражданством вас!

Власий неловко поднялся и крепко пожал сухонькую ручку попа.

— Спасибо,—сдержанно улыбнулся тот и опять осведомился насчет пропуска.

— Да не беспокойтесь,—успокоил его Власий,—теперь вам хода хорошая на все четыре. Вы, что, в учителя теперь?

— Не знаю еще. В городе подумаю.

## XXIII.

Весть о том, что молодой поп выходит из попов и уезжает совсем из Торопова, быстро облетела по всем деревням.

Случай небывалый подал пищу для разговоров надолго. Хоть и говорили все, что от него такой штуки можно было ожидать с самого начала. Волосы подстригал по городскому—первое дело, камаши светлые на пуговках носил—другое, руку не давал целовать и благословлять не любил—третье. Сразу видать было—долго в попах не наживет. Так оно и вышло.

Судили об этом на все лады.

— Вот какой неверный поп-то вышел!—ахали бабы.—Сам себя расстриг,—подумайте, ну-ко, девоньки?..

Кое-кто убеждал, что все это устроено Власием.

— Сжил старого попа Никиту, а теперь и этого. Разве кто с ним станет жить, с собакой?

Но смущало то, зачем поп расстрится—неволить его к этому никто не мог. И за Власия заступались:

— Ты это зря на него тень наводишь!

Раз'яснилось окончательно дело на сходке. Власий громогласно прочитал поповское заявление. Сначала было не поняли, о чем поп в бумажке толкует и смотрели на Власия вопросительно.

— Не то об'яснил бы ты нам, Власий Андреевич? Худо что-то слыхать было...

Пришлось Власию об'яснить, что поп ушел из-за обману, который насчет мощей происходит, а потом еще оттого, что в Бога худо верить стал. Рассказал, и всем, как на ладони ясно все стало.

Долго ужасались бабы.

— Известно ведь,—к нашему берегу не прибьет хорошего дерева...

И снова вставал вопрос, как быть без попа. Потолковали и опять решили обратился к Власию. Тот только руками развел.

Так и осталось дело нерешенным.

А Власий, воспользовавшись тем, что попа не было, перевел в поповский дом школу.

## XXIV.

Уж август подошел. Замелькали кое-где в густо-зеленых кудрях берез золотые седины осени. И облака пошли дымчатые, четкие,—такие по осени только бывают.

Опустели деревни. Мужики и бабы уходили с утра на жнитво. Даже старики и те уплелись в этом году. Все помогут хоть суслоны ставить.

Только ребятишки одни оставались в деревне. Лущили горох, грызли молодую репу. За ягодами пропадали целые дни.

Молодежь ушла по мобилизации. Говорили, что опять большая война зачинается. Вообще худые шли из города вести. Хорошо, весь народ на работе—слушать некому.

Власий и секретарь Васька только вдвоем остались в Совете. Отсрочку им дали до поры-до-времени.

— Вот и летичко прошло опять,—вздохнул Власий, задумчиво глядя за окно.

— Да, скушно, брат. Одни мы с тобой остались,—вздохнул и Васька, отрываясь от работы.—Хоть забрали бы, что ли? Работа не в работу теперь, как никого из наших не осталось.

— Ну, опять ты!

— А что? Верно, ведь! Вот пишу—пишу, а как спросишь себя, что пишу, для кого пишу... и сам не знаю. Так, без пользы все!

— Да ты что, в уме?!.

Власий с недоумением оглянулся на Ваську. Он знал, что Васька все ад'ютантом где-то мечтает заделаться—благо старшим писарем был в полку. Соглашался, что в деревне теперь действительно скука, но таких безнадежных речей от него не ожидал.

И рассердившись вдруг, он выбранился:

— Ах, ты, башка бестолковая! Как же без пользы-то? Вот ты возьми, к примеру, попа. Ну-ко, скажи, кто у нас верх взял,—он, али мы? А! Вот то-то и есть!..

Васька смолчал.

Верно, что и без попа научились жить теперь. Ездили все попервоначалу в Кокорино за требами, а теперь уж не до того стало, как страда пришла. Пятеро вот похоронено без отпеву,—все ждут, когда поп приедет отпевать. И ничего,—живут.

Все это так, ладно. Но ведь еще дело не кончено. Вон в других местах, слышно, богатея-мужика с бедняком стравили. Друг на дружку доносят, друг дружку попрекают, чуть не за горло хватаются. И бабы-то,—всегда уж вздорили,—а теперь из-за мужей поедом одна другую едят.

Смута идет по деревням. Неспокойно живет народ, и страшно будет коротать теперь глухие осенние ночи без керосину за первобытной дедовской лучинкой.

— Все это хорошо,—опять отрывается от работы Васька,—а ты мне вот что скажи. Про попа, скажем, так,—наша взяла. А вот дальше-то как?

— Что дальше-то?

— Да вот, когда жить-то по старому начнем?

— Эка, чего захотел! Ты спроси лучше, когда по-новому жить начнем, а по-старому и так уж нажились. Какой ты есть коммунист и партейный работник после этого?!. Тебе чего надо-то?.. Чтобы брюхо набить, а потом и лежать,—пальцы пересчитывать? Так, что ли?!.

Власий сердито отодвинул в сторону бумаги и потянулся в карман за кисетом.

— Коли так, нечего тебе и на отсрочке сидеть!

— Да ты чего вз'елся-то вдруг!—огрызнулся Васька.—Очень я в твоей отсрочке нуждаюсь. Может, давно бы при месте был...

— Это в ад'ютантах-то?!. Слыхали!.. Дурья ты голова, Васька. Ты сам посуди,—какую мы жисть-то ведь устраивать хочем, а? Не такую, как раньше, а совсем хорошую, можно сказать, окончательную, брат. А ты боишся! Чего боисса-то? Социализма боисся? Эх, ты, марало-патока!..

И Власий уже добродушно хлопнул секретаря по спине. Вспомнился ему вдруг приезжий агитатор с его хорошими успокаивающими речами. И теперь сам он, подсев ближе, повторял незабытые еще дружески-ободрительные слова, и говорил, как говорит взрослый и сильный—маленькому и слабому:

— Вась-мазура! Ты послушай-ко, что я тебе скажу. Ведь ты что думаешь,—коли время пройдет, народ не за нас будет? Придут и сами в ножки поклонятся. Спасибо скажут, что их уму-разуму учили, на ихнюю серость не смотрели, да за их, дураков, крепко стояли. Вот оно, брат! Как сказываю тебе, так все и будет!..

Власий решительно поднялся и вышел на двор. Взволнованная грудь дышала здесь легко и свободно.

Медленно ходил он под деревьями. Машинально отщипнул от тяжелой грозди рябины несколько ягод и бросил в рот. Раздавил зубами и весь сморщился от горечи.

Потом взялся за подоконник, приподнялся и сказал внутрь избы в открытое окно:

— Горька ягода-рябина,—хоть брось. А и та, гляди, как всё дожди да заморозки вынесет—сладкой бывает. Осеннюю-то рябину у меня дедко, бывало, с чаем пил. Заместо сахару...

Никто не откликнулся ему на эти слова из темной избы, может и вышел куда, Васька. И помолчав, добавил Власий:

— Еще скажу тебе: коли хошь атаманом быть—терпи, казак!..

Потом он спрыгнул вниз, подошел к низеньким воротцам на задворки и облокотился.

Где-то близко в телятнике мекали телята. Темной гущей разросся по задворкам пахучий коноплянник. Тишиной веяло с полей. И долго стоял так Власий, устремив задумчивый взгляд далеко-далеко.

Были ясны, по осеннему глубоки и покойны дали. А над ними четкие формы облаков складывались и вырастали в далекий, неведомо-прекрасный город.

---

# Частушки.

(Ив.-Вознесенского края).

Серафим Огурцов.

На фабриках, под стук и пенье станка, в деревне,—на гулянках, посиделках, на пашне, за обычной работой крестьянина и рабочего,—создается частушка, в которую вливает народ всю свою глубокую душу; свои переживания, надежды.

В зимние, скучные ночи сидит одинокая крестьянская девушка и глубоко думает перед мигающим огоньком: думает о своем ненаглядном суженом, о весне зеленой, радостной думает, и в ее душе тихо, незаметно складываются строки скромных частушек...

Собираются деревенские «посиделки» зимой,—летом «гулянки» на околице и здесь-то вот и есть главный источник, откуда свежей струей выливаются частушки.

Здесь, ниже, будут приведены современные частушки Иваново-Вознесенского рабочего края.

Вот частушки деревенской молодежи:

Паровоз пары пускает,—
Хочет линией итти...
Мне не хочется, робята,
В Красну армию итти...

Это поет представитель стана несознательных.

Ну, какие теперь годы
Эх, какие времена,—
Лет 15-ти девченка
В комиссара влюблена...

Куда-то уезжает паренек, прощается со своей ненаглядной и поет:

Девченочка русая,
С тобой расстаюся я,—
Девченочка Еничка,
Пожалей маленечка...

И радуясь новому мнимому «декрету» любить, пареньки поют:

Эх, девушки,
Снимайте фартучки, —
Скоро будут вас любить
По хлебной карточке...

Иногда находит на разухабистого паренька вольная вольница, «храбрая» отчаянность:

Я отчаянный родился
Сам собой не дорожу,
Если голову оторвут
Я корчагу привяжу...

---

«Любовные» частушки:

Я тогда тебя забуду,
Семпатишная моя,
Когда вырастет на камне
Зеленая трава...

---

Изменила черноброва,
Видно стал я ей негож...
Эх, теперь одно осталось
Всадить в глотку острый нож...

---

Меня били, колотили
У милашкина крыльца;
Милка вышла на крылечко:
„Так и надо подлеца!“

---

По спине ходила гиря,
По ушам ходил кулак,
По затылку кирпичина
Вот и эдак, вот и так...

---

Золото мое колечко
По столу катилося
Не люблю тебя я больше
Любил—разлюбилася...

---

На машину я садился
Под машиной шесть колес
Эх, и много же о милке
Пролил я горючих слез...

---

Купи, тятинька, карету,
Новой моды без колес,
Сватай, тятинька, невесту
Новой моды без волос...—

Девушки поют о милом:

Возьму в руки ривальвертик
Аглицкой работушки,
Прострелю милому грудь,
Стану без заботушки...

(поется в деревнях Московской губернии).

---

На рябинушке сидела,
Не могла накушаться,
Про милого говорили,
Не могла наслушаться...

---

У поленницы у дров
Говорили про любовь,
Как поленница упала
И любовь наша пропала...

---

Золото мое колечко
По столу вертелося,—
Нагляделись мои глазки
На кого хотелося...

---

Ты играй, играй гармошка,
Золотые рядки,
Думу думаю о милом,
Суженом Ванятке...

---

Парень грозит:

Наше поле рядом с вашим,
Через поле есть межа,—
Кто мою милку полюбит,
Тот отведает ножа...

(Кинешемский уезд, Воздвиженская волость).

---

Ты миленок, вольный свет
Скажи—любишь али нет?

— спрашивает девушка своего ненаглядного.

Он же отвечает ей:

Хорошо траву косить,
Которая зеленая,
Всем нутром тебя люблю,
Милая смышленая...

На другой день «милая смышленая» ждет своего любимого:

Мама, ставь скорей на стол
Золотые чашки,
Ко мне миленький придет
В плисовой рубашке...

Записывается миленок «в коммунисты»:

Коммунист миленок стал;
Плачу, плачу ночью я,
А он все свое твердит:—
„Гибнет власть рабочая"!..

———

Ночь проплакала навзрыд,
Занят платьем новым ум,
А миленок все твердит
Про какой-то минимум...

———

Опущу колечко в речку—
Пускай покатается,
Отпущу жену я в люди—
Пускай пошатается...

———

Тятя с мамой ройте яму,
В эту яму лягу я,
От хорошего-то мужа
Каждый день ведь плачу я...

———

Под оконцами рябина
Кисточки развесила...
Не от радости Дуняша
Голову повесила...

Вот восемь частушек, в которые вложен целый маленький роман. Много поется в деревне и красивых художественных частушек:

Весной цветики цветут,—
Распускают венчики...
Зазвенят скоро в полях
Синие бубенчики.

———

Где мы с миленьким стояли,—
Снег растаял до земли;
Где мы крепко целовались,—
Тут цветочки расцвели...

Тоска безысходная, черная:

За рекой пилит гармошка,
Точно пильщик по бревну,
Ты не плачь, не плачь, Тимошка,
Я ведь тоже зареву...

Есть в деревне частушки и про наших деревенских комсомольцев:

Есть парнишка на селе,—
Чернобровый хлопец;
Девки влопались в него,—
Это комсомолец...

———

Молодого я ждала
Красно-комиссарика,
Ночью он ко мне пришел
Только без подарика...

Или:

Брось ты, Манька
Брось мечты,
Живи поаитишнее,—
Поступлю я в коммунисты,
Будем жить прилишнее...

Неизменная Ванина милка поет:

Замуж Пров меня просил,
А я милка Ванина,
Он три воза накосил
В неделю крестьянина...

Собрались парни на «гулянках», из других, разных деревень пришли и спорят, чьи девушки «фартовей» и лучше.

На эту тему один уж творит частушку и поет:

Наше поле с вашим рядом,—
Наше каменистее,—
Ваши девушки фартовы,
Наши пофорсистее...

Но среди частушек о любви встречаются частушки политического характера.

Новая экономическая политика, из'ятие церковных ценностей, болезнь Владимира Ильича и т. д.

У Советской стало власти
Очень много смелости:
Для голодных отбирают
Церковные ценности...

---

По церквам воззванья шлет
Патриарх наш лихо,
Попадешь ты в Губподвал,
Патриарше Тихон.

---

При политике при новой
Все пойдет иначе,
И везде орут, кричат
Пироги горячи!

---

Захворал Володя Ленин
Доктора хлопочут,
Троцкий бегает кругом
Смерти он не хочет.

---

Эх, яблочко,
Куды котится —
Скоро-скоро к власти Ленин
Вновь воротится.

У города, так же, как и у деревни, существуют свои частушки, отражающие настроения рабочих, их жизнь и проч. По своей форме городская частушка схожа с деревенской; но городская частушка творится в процессе фабрично-заводского труда, рабочие выливают в частушке свои радости и горести жизни, в городской частушке нет тех мотивов, какие можно найти в деревенской.

Эх, плохая стала жизнь,
Кругом только нытика,
Слава Богу, что пришла
Новая политика.

———

На базаре чего хошь
Разны все товарики...
Ходят в синих галифонах
Красны комиссарики...

———

Заморожены заводы,
И не хлопают ремни,
Скучно, скучно мне без милой,
Проходите скорей, дни...

———

На Ивановском болоте
Уточки закрякали,
Мово милова родного
В чрезвычайку спрятали.

———

Как за ярманкой сажают
Граждане арбузы
Как-то наши молодцы
Пропили картузы...

———

Не свистят свистки на смену
Видно лопнули трубы,—
Не ухаживай, мой милый,
Пропадут твои труды...

———

# Покушение на мою жизнь.

(«Воспоминания» С. Ю. Витте, т. II-ой, 1922 г. Книгоиздат. «Слово»).

Несколько предварительных замечаний. Русское зарубежное берлинское книгоиздательство «Слово» выпустило из печати два тома «Воспоминаний» С. Ю. Витте, при чем том второй помечен 1922 годом. «Воспоминания» Витте—более 1.000 страниц убористой печати—обнимают период царствования Николая II с самого начала и до занятия Коковцевым поста премьер-министра (конец 1911 года). «Воспоминания» при всей их суб'ективности являются несомненно ценнейшим историческим документом. Откладывая оценку их до одного из ближайших номеров, редакция считает нелишним познакомить читателя с характером, формой и стилем «Воспоминаний» путем напепатания одной из глав, тем более, что из-за затруднений в области печатного дела, переживаемых и Госиздатом и частными издательствами, читатель в Сов. России едва ли скоро получит возможность иметь в своем распоряжении «Воспоминания». Помещая ниже главу сорок вторую «Покушение на мою жизнь», редакция менее всего руководствовалась желанием дать читателю, так называемый, «сенсационный» материал. Отрывок этот, во-первых, представляет собой нечто цельное и является очень удобным таким образом для перепечатания, а, во-вторых, в нем очень рельефно проступают как стиль эпохи—«дух времени», так и духовный облик лукавейшего из царедворцев, каким был и остался до конца жизни своей Витте. Чего стоит один только намек, что покушение на него, Витте, происходило, может быть, не без санкции того самого «обожаемого монарха», в верноподданных чувствах своих к которому и кстати и некстати распространяется неоднократно Витте в своих «Воспоминаниях». Крайняя стадия распада, интриг, подсиживаний, закулисной игры в среде царской камарильи, к которой принадлежал и автор «Воспоминаний»,—тоже выявлены в отрывке в достаточной мере ясно. Пусть, впрочем, убеждается в этом сам читатель.

Редакция оставляет в неприкосновенности начертание некоторых слов, как: Государь, Его Величество и т. п.

*Редакция.*

...Когда я вернулся из-за границы, то к моему дому было поставлено несколько агентов охранного отделения, из которых постоянно поочередно

сидели у меня в вестибюле. Заметив это, я им дал маленькую комнату для того, чтобы они могли быть там и не находиться в вестибюле, в виду того, что ко мне приходило много лиц и они могли видеть, что у меня сидят агенты охранного отделения. Таким образом, со стороны Столыпина и со стороны находящейся в его ведении секретной полиции, было оказано в отношении меня как бы особое предупреждение.

Через некоторое время, по моем приезде, я начал получать угрожающие письма с различными значками, как-то: с крестом, скелетом, которыми меня предупреждали, что вот такие-то партии решили меня убить. Я на эти письма не обращал внимания и их уничтожал.

29-го января мне жена предложила ехать вечером в театр; мне не хотелось и я не поехал вечером, а ожидал доктора по горловым болезням. Часов в 9 вечера пришел ко мне бывший мой сотрудник, когда я был министром финансов, Гурьев, довольно известный публицист, который помогал мне составить одну работу, касающуюся дел Дальнего Востока. Я ему для этой работы пред'явил некоторые документы из моего архива и, так как я не хотел, чтобы эти документы выходили из моего дома, то для справок он приехал ко мне. Между прочим, это дало повод к такому инциденту: как-то раз, уже это было впоследствии, через несколько месяцев после того момента, который я описываю, приехал ко мне министр двора барон Фредерикс и обратился ко мне с следующим разговором: он мне сказал, что он пришел ко мне от Его Величества передать просьбу Государя о том, что ему сделалось известно, что я хочу издать какую-то книгу, касающуюся наших финансов и управления финансами В. Н. Коковцева, и что, так как ему сказали, что я хочу изобразить наши финансы и наше управление в неодобрительном виде, то он просит меня эту книгу не издавать. На это я ответил барону Фредериксу, что я никакой книги подобной не составлял и не собираюсь составлять, а поэтому и прошу доложить Государю, что дошедшие до него сведения совершенно ложны. Я догадался, что это ему доложил, вероятно, В. Н. Коковцев, который, узнавши, что ко мне ходит Гурьев, думал, что я собираюсь вместе с Гурьевым писать что-нибудь о современных финансах.

Гурьев всобще был нелюбим Коковцевым, потому что, когда Коковцев вступил на должность министра финансов, то Гурьев написал статью, в которой он высказал различные, вообще, финансовые соображения и сказал, что мы дошли до того, что на должность министра финансов вступают лица, мало подготовленные к этой должности, и что это напоминает те об'явления, которые печатаются в газетах, где кухарки предлагают свои услуги и говорят, что кухарка за повара,—вот и эти министры финансов своего рода кухарки за повара. Это очень не понравилось Коковцеву; может быть, другой государственный деятель не обратил бы на это никакого внимания, но у Коковцева есть маленькая черта обидчивости, и в зависимости от этой маленькой обидчивости, он этого выражения никогда не мог простить Гурьеву.

Но так как я опасался, что барон Фредерикс может не точно пере-

дать мой ответ Государю Императору, то я сейчас же, по уходе барона, написал Его Величеству письмо, в котором сообщал, что у меня был барон Фредерикс, который передал то-то; что я ничего подобного не собирался печатать, что я ничего не составляю и что если приходит Гурьев, то он приходит составлять такую работу, которая, если когда-нибудь и появится в печати, то, вероятнее всего, после моей смерти. В этом письме я Государя благодарил, что Государь, получивши такого рода сведения, был так милостив, что соизволил справиться лично у меня, верно это, или не верно? Этим последним я намекал Государю, что если бы Его Величеству угодно было всегда делать то же самое, то, вероятно, массы тех сплетен, которые доходят и доходили до него, и которым он, вероятно, по крайней мере в некоторой части верил и верит, что этих сплетен не существовало бы, или, по крайней мере, они не производили бы на него того впечатления, которое могут производить.

Итак, я возвращаюсь к 29-му числу. Гурьев ко мне пришел, я вынул документы, он начал просматривать. В это время мне доложили,—это было часов в 10 вечера,—что ко мне пришел доктор. Доктор приходил ко мне раза два в неделю, так как я болел горлом и моя болезнь уже тянулась десятки лет, то он приходил, чтобы мне прополаскивать горло. Я сказал Гурьеву, что так как ко мне пришел доктор, то уж, пожалуйста, отложите вашу работу на следующий какой-нибудь день; приходите ко мне другой раз; предупредите меня по телефону и тогда я вам дам все эти документы. Он меня просил не прерывать начатую им работу и мне сказал, что он просит меня позволить удалиться с этими документами в другую комнату, чтобы он мог заняться, покуда я буду возиться с доктором. Я согласился на это и сказал моему камердинеру, чтобы он отвел Гурьева в верхний этаж моего дома, а именно, в гостиную моей дочери.

Когда моя дочь вышла замуж за Нарышкина, то гостиная ее и спальня не были обитаемы, и поэтому эти комнаты мало или почти не топились. Камердинер отвел туда Гурьева и, когда он вошел, то увидел, что в комнате очень холодно. Вследствие этого, мой камердинер пошел и сказал истопнику, чтобы тот пришел и затопил печку. Между тем Гурьев расположился работать, делать выписки из документов, а в это время со мной занимался доктор. Не успел доктор окончить осмотра, как пришел ко мне сверху камердинер, очень встревоженный, и говорит, что Гурьев очень просит меня немедленно притти наверх по очень важному делу. Я просил доктора отложить дальнейший его осмотр моего горла на следующий раз, а сам пошел наверх.

Когда я пришел наверх, то увидел во вьюшке печки четырехугольный маленький ящик; к этому ящику была привязана очень длинная бичевка. Я спросил Гурьева, что это значит? На что истопник мне ответил: что, когда он отворил вьюшку, то заметил конец веревки и начал тащить и, вытащив веревку арш. 30, уведел, что там есть ящик. Тогда они за мной послали. Я взял этот ящик и положил на пол. Ящик и веревка были очень мало зама-

раны сажей, хотя несколько и были. Тогда Гурьев хотел, чтобы этот ящик вынесли из дому и его там вскрыли. Так как я несколько раз был предупреждаем, что на меня хотят сделать покушение, то мне пришла в голову мысль, не есть ли это адская машина. Поэтому я сказал Гурьеву и людям, чтобы они не смели трогать ящик, а сам по телефону дал знать охранному отделению. В то время охранным отделением города Петербурга заведывал полковник Герасимов, ныне генерал, состоящий при министре внутренних дел.

Немедленно приехали из охранного отделения сначала ротмистр Комиссаров, ныне он заведует жандармским управлением Пермской губернии, а в то время он заведывал самым секретным отделением в охранном отделении; за ним приехал Герасимов, потом судебный следователь, товарищ прокурора, затем директор департамента полиции и наехала целая масса полицейских и судебных властей.

Ящик этот ротмистр Комиссаров вынес сам в сад и раскупорил его. Когда он раскупорил, то оказалось, что в этом ящике находится адская машина, действующая посредством часового механизма. Часы поставлены ровно на 9 часов, между тем было уже около 11 часов вечера. Тогда, когда он вскрыл ящик и раз'единил вспышку, а вспышка должна была произойти посредством серной кислоты, то принес ее в дом и положил на стол, около моего кабинета, в моей библиотеке. Все начали осматривать эту машину; затем составлять всевозможные протоколы.

Сейчас же делали допросы,—в это время Гурьев уже уехал,—при чем допрашивали прислугу, допрашивали истопника, как он нашел, а также меня. Я им показал все то, что я кратко выше изложил, при чем Герасимов мне задал вопрос: не подозреваю ли я кого-нибудь в том, что сделано, кто подложил машину? Я наивнейшим образом сказал, что совершенно никого не подозреваю, что я личных врагов не имею, политические мои враги, в то время были не анархисты, а союз русского народа, т.-е. крайние правые, и что я не могу себе представить, чтобы эти лица могли сделать на меня покушение и еще в таком ужасном виде, потому что, если бы это покушение совершилось, то пострадали бы не только я, но могла пострадать моя жена и моя прислуга.

Они в это время осматривали все. Между прочим, дворник им показал, что за несколько дней до этого, или днем ранее этого, 28-го числа, подходил к нему какой-то господин в дохе, так, что воротник был поднят и лицо его было незаметно, и что он спрашивал у дворника, где находятся моя спальня и спальня моей жены? Дворник ответил, что он этого не знает. Тогда он сказал, что если граф и графиня спят с левой стороны, то он советует перейти направо. Подозревая, что этот господин есть, вероятно, из той шайки, которая мне подложила адскую машину, я не понимал, почему он советует перейти с левой стороны моего дома на правую, потому что направо спальня моя и жены, а налево комнаты были пусты. Они мне спустили адскую машину на левую сторону дома, поэтому я думал, что двор-

ник спутал, что, может быть, тот человек советовал перейти с правой на левую, но потом я случайно раз'яснил, в чем дело.

Затем последовали все допросы вне дома. Вечером, часов в 11, вернулась моя жена из театра и была крайне удивлена тою массою полицейских и судебных властей, которые наполняли мои комнаты.

Рассматривая все, делая всевозможные исследования, никто из судебных властей и полицейских не догадался пойти на крышу и посмотреть, есть ли какие следы хода к той трубе, которая соответствует той комнате, во вьюшке которой найдена адская машина. Между тем, в этот вечер ко мне пришел курьер, который был при мне, когда я был министром финансов и потом председателем совета министров, Николай Карасев, человек очень смышленный. Он сейчас же полез наверх и усмотрел, так как в это время был снег и все крыши были в снегу, что есть след, идущий с крыши соседнего дома Лидваля к этой трубе, о чем он и передал судебному следователю, и тогда судебный следователь проверил это только на следующий день и, действительно, нашел эти следы.

Затем Николай Карасев передал мне свое соображение, что, по его мнению, надлежит проверить все трубы, не имеются ли еще где адские машины, но я проверить никак не мог, так как это было поздно ночью. Все власти уже пораз'ехались, а агенты охранного отделения, находившиеся при мне, смотрели на все это, как посторонние зрители. При таких условиях я с женой легли спать, но, конечно, она не могла быть особенно спокойного при таких обстоятельствах; к счастью, у меня жена очень решительная и твердая женщина, а поэтому мне ее успокаивать было не нужно, скорее она своим хладнокровием успокаивала мои нервы.

Мы не знали, к кому же обратиться, чтобы проверить трубы, нет ли в других трубах адской машины. Мы боялись, если мы обратимся к нашим трубочистам, то, может быть, они и подложат машину, или, во всяком случае, тогда скажут, что это, мол, трубочисты наши подложили машину; вследствие этого моя жена обратилась к генералу Сперанскому, заведующему Зимним дворцом, прося его прислать дворцовых трубочистов. Генерал исполнил просьбу, и на другое утро, 30 января, все трубы были проверены, при чем в соседней трубе была найдена вторая адская машина, которая, таким образом, переночевала в трубе.

Эта адская машина попала не в верхний этаж, а в нижний, в запасную трубу, которая проходит мимо трубы, идущей к камину, находящемуся в столовой, и так как машина не нашла себе упора, то ее лица, покушавшиеся на мою жизнь, привязали наверху к трубе, так, что она висела в нижнем этаже, как раз в столовой, в запасной трубе.

Сейчас же вторично было дано знать охранному отделению и агенты охранного отделения вынули эту вторую машину; разрядил ее тот же Комиссаров и нашел, что эта адская машина совершенно такой же системы, как и первая, при чем этот факт ясно показал, что та полицейская и судебная публика, которая накануне вечер проводила у меня для того, чтобы

раскрыть, кто подложил первую машину, очень мало заботилась о моей безопасности и о безопасности моего дома, а заботилась гораздо более раскрыть и доказать что-то другое.

Когда при первом допросе меня судебный следователь спрашивал: подозреваю ли я кого-нибудь, и намекал на мою прислугу, я ответил, что я за свою прислугу ручаюсь и уверен, что никто из них не мог этого сделать и никогда не сделает. Я тогда, с своей стороны, обратился к полковнику Герасимову и спросил: «А вы думаете, кто бы мог сделать покушение?». Он ответил, что он точно не знает, но, может быть, это кто-нибудь из правых.

Затем эти машины были переданы в лабораторию артиллерийского ведомства для того, чтобы сделать экспертизу. Экспертиза нашла, что машины эти не взорвались потому, что они были уложены в ящики, которые не могли дать полный ход молоточку будильника, в машине находящемуся, и поэтому, молоточек будильника не мог разбить трубочки с серной кислотой, а вследствие этого и машины не могли взорваться.

Затем лаборатория артиллерийского ведомства нашла, что в остальном машины сделаны очень хорошо и они должны были взорваться от двух причин: или от биения молоточка будильника, или, если будильник не действовал, то тогда от топки печи. Будильники действовать не могли, вследствие того, что машины были вложены в узкие ящики. А что касается второй причины, то случайно она не могла иметь место потому, что спустили первую машину в такую комнату, где печь не топилась каждый день, а раза 2—3 в неделю; вторая же машина, которая была вложена в запасную трубу, если от будильника взорваться не могла, то, как она находилась в трубе, которая не топилась, она не могла взорваться и от топки; таким образом, вторая машина могла взорваться только от детонации, т.-е., если бы взорвалась первая машина, то от детонации взорвалась бы и вторая. Таким образом, первая и сама могла только взорваться от топки печей, вследствие узкости ящика, а вторая машина могла взорваться только по силе детонации, в случае взрыва первой машины.

Затем явился вопрос: какие же могли быть последствия, если бы машины взорвались. В этом отношении экспертиза дала то показание, что была бы разрушена стена, могли быть повреждены комнаты, как те, в которых были заложены машины, так и соседние, но так как я и моя жена были в спальне, то вред нам мог быть произведен случайно, если бы мы случайно находились в столовой, или в тех комнатах. Так как будильник был поставлен на 9 часов, то обыкновенно в 9 часов в тех комнатах мы не бывали,—в столовой случайно могли быть в 9 часов вечера, а что касается того, что если бы машины взорвались от топки, то вопрос зависел от того, когда топка была; во всяком случае ясно, что покуситель ошибся: он полагал, что мы находимся в тех комнатах, в той стороне дома, в которой мы не находились и там никто не жил, а в ближайших только жила прислуга и прислуга могла бы пострадать.

Как я сказал, экспертиза указала на то, что стены были бы разрушены, может быть, потолки были бы разрушены первого и второго этажа, но вообще экспертиза, повидимому, тоже старалась указать, что разрушения хотя и были бы, но не грозили всему дому.

На другой день, конечно, во всех газетах было напечатано о случае. Ко мне явились некоторые из моих друзей, наших знакомых и, между прочим, явился министр двора, но явился не как министр двора, а просто как наш добрый знакомый. Его Величество и Его семья никакого жеста по поводу раскрытого покушения не сделали и никакого внимания мне не оказали.

На другой день я получил анонимное письмо, в котором мне сообщалось, что я должен послать 5.000 рублей в конверте в Народный дом в какое-то помещение, что там будет человек, который примет эти 5.000 рублей. Я это письмо вложил в конверт и отправил директору департамента полиции того времени, Трусевичу. Трусевич был у меня в тот же самый день вечером, когда была положена и открыта адская машина. Я никакого ответа от Трусевича не получил.

Прошло несколько дней, я получил вторично анонимное письмо, в котором мне сообщалось, что вот я не ответил на первое письмо, а вследствие этого на меня будет сделано второе покушение, и чтобы я ответил с посланным, который должен вручить это письмо человеку, стоящему на одной из улиц, прилегающих к Невскому проспекту. Тогда я дал это письмо агенту охранного отделения, который был при моем доме, и рассказал ему, в чем дело, и сказал ему, чтобы он накрыл преступника. Агент охранного отделения преступника не накрыл и затем я его больше не видел никогда, так как агенты охранного отделения несколько раз менялись и тогда были переменены, а письмо тоже мне не было возвращено, а агентом было передано в охранное отделение.

Меня с первого раза удивил способ ведения расследования; во-первых, прежде всего, самым покушением на меня никто, собственно, не интересовался, и агенты охранного отделения, и судебное ведомство совсем не интересовались фактом покушения на меня и раскрытием покусителей, а все как бы желали напасть на след и возможность придраться и сказать, что, мол, это была симуляция преступления, что, в сущности, адские машины были спущены не с трубы, а положены прямо в вьюшку из дома.

Это предположение опроверглось после того, как была найдена другая адская машина в трубе, спущенная и привязанная веревкой наверху трубы. Допрос, который сделал судебный следователь Гурьеву у себя, не у меня, на квартире, прямо был такого рода, что видно было, что судебная власть очень бы желала того, чтобы притти к заключению, что это преступление было симуляцией, а не истинным покушением. Но им не удавалось на этой почве найти какой-нибудь базис. Точно также обратило их внимание, почему это ящик и веревка были чистые, и это дало повод как бы направить следствие к тому, что самая чистота ящика и веревки показывают, что эта машина

была заложена изнутри. Между тем, дело об'яснялось просто: так как печь топилась редко, а труба чистилась одинаково всякий раз, как приходили трубочисты, которые чистили трубы всех печей, и тех, которые топились, и тех, которые не топились или мало топились, то поэтому все трубы и были чисты, но на это следователь не обратил никакого внимания. Видимо, мысль была направлена к тому, чтобы найти симуляцию.

Затем производилось следствие. В производстве следствия, я в курсе не был, только слыхал несколько раз от судебных властей, что следствием открыть преступников не могут, но вот о том, что это преступление было симулировано, т.-е., что преступления не было, и только была какая-то комедия преступления, то эта версия была так распространена полицией и судебным ведомством, что она достигла в ближайшие дни и верха. Так мне передавали некоторые лица, которым я не имею права не доверять, хотя был бы рад, если бы это было не так, что первые дни даже Государь высказывался в том смысле, что не я ли сам себе подложил адскую машину, чтобы мой дом взорвать для того, чтобы приобрести более популярности и обратить на себя внимание. И когда Ему было указано, что мало вероятно, чтобы граф Витте мог такую вещь сделать, то Он сказал: может быть, действительно граф Витте не может сделать, а, может быть, по его желанию, его знакомые, его доброжелатели, которые думали таким образом увеличить его популярность. Но должен сказать, что это было недолго и, вероятно, в зависимости от тех рассказов, и настроение наверху менялось. Очевидно, что Государь Император сам мог знать об этом деле постольку, поскольку ему докладывали; поэтому, если Его Величество выражал такое мнение, то, следовательно, Ему в этом смысле докладывали и председатель совета министров Столыпин, и министр юстиции, между прочим, большой негодяй — Щегловитов.

Что «Щегловитов хотел укрепить именно эту версию, это я знаю из того, что некоторые члены Государственного Совета и, между прочим, мой большой приятель — Стахович, товарищ министра юстиции по школе правоведения, мне говорил: что после покушения на меня был разговор в Государственном Совете во время антракта, и некоторые указывали на возмутительность такого покушения, и министр юстиции характерно улыбнулся и заметил: что да, может быть, это покушение было в сущности сделано лицами, живущими в доме графа Витте, может быть, и с его ведома.

Министр юстиции, который позволяет себе такого рода вещи говорить, какого имени он заслуживает? Он заслуживает именно то имя, с которым, наверно, сойдет с поста министра юстиции, которое он достаточно заслужил в общественном мнении России, т.-е. название каторжника.

Я об этом разговоре в Государственном Совете не знал, мне его передавали уже через несколько месяцев после того, как он имел место.

Через 2-3 месяца после этого покушения, я встретил министра юстиции в Государственном Совете. Государственный Совет тогда заседал в дво-

рянском собрании на Михайловской площади, и спросил министра юстиции: а в каком положении расследование, раскрыты преступники или не раскрыты? На это мне министр юстиции сказал: «Нет. еще покуда не раскрыты, а кстати, я сегодня говорил по вашему делу с Государем Императором». Я спросил, по какому поводу. Он сказал: «Вы знаете, артиллерийское ведомство сделало исследование того особого рода динамита, который был вложен в машины; так как это взрывчатое вещество в первый раз попало в руки артиллерийского ведомства и, повидимому, оно Венского изготовления, поэтому, с разрешения судебной власти, одна склянка динамита была взорвана за городом, там, где происходит стрельба пушками, и оказалось, что это вещество такой силы, что если бы эти машины взорвались у вас в доме, то не только бы ваш дом был бы весь взорван и снесен, но той же участи, в значительной степени, подвергся бы и соседний дом Лидваля».

Тогда я его спросил: «А что же Государь на это сказал?». Он говорит: «Вынул из ящика своего стола план Вашего дома, подробно мне показал по плану, как и где были положены адские машины, а когда я заметил Его Величеству о том, что эти взрывчатые вещества были такой силы, то Его Величество мне заметил: «Ну, если кладут адские машины, то ведь не для того, чтобы шутить». Из этого я усматриваю, что к тому времени мысль Его Величества о том, что я, или кто-нибудь из моего дома, могли подложить машины для моей популярности—уже потеряли силу, и Государь уже об этом более не соизволил говорить. Я повторяю, что уверен, что Государь повторял то, что ему говорили. Я только одно не могу вспомнить без боли в сердце, что Его Величество, после того, как я служил Его отцу и Ему около 15 лет, жертвуя и своим благополучием и своими материальными средствами и своею жизнью для Него и для родины, может настолько меня не знать, чтобы тому лицу, которое Ему высказало такое предположение, не повелеть молчать и такой гнусности никому не говорить.

Затем уже после, значительно после, я совершенно случайно узнал, кто был тот господин, который подходил к моему дому за день-два до предполагаемого взрыва и который предупредил дворника, чтобы я перешел с левой стороны и перенес спальню мою и спальню жены на правую сторону.

Я дальше расскажу формальную часть следствия, а покуда я рассказывал предварительную часть дела, освещая событие, как оно имело место, какие впечатления я вынес и что я по этому делу узнавал.

Как я говорил, через много времени после совершения этого преступления, мне один знакомый передавал, что к нему приехал один студент Политехнического Института и передавал ему, но под честным словом, что он этого никому не передаст. Он мне передал это, а потому я и не считаю возможным указать это лицо. Так, этот студент рассказал ему, что он сын офицера пограничной стражи (генерала), что на сестре его матери женат Казаринов. Этот Казаринов—вице-председатель общества Михаила Архангела, образованного Пуришкевичем—это одна из партий подкупных борцов за

сохранение устоев, приведших нас к японской войне и к 17-му октября 1905 года, как последствию этой войны.

Вот приехал его отец и остановился у Казаринова, женатого на сестре его жены. Он нашел, что Казаринов занимается устройством двух адских машин и, когда его спросил этот генерал, для кого эти машины приготовляются, он сказал, что мы приготовляем, чтобы взорвать графа Витте и его дом. Так как я имею гордость считать как учащихся, так и учащих в Политехническом Институте, а равно и пограничную стражу, в числе моих поклонников и доброжелателей, то этот генерал сказал Казаринову, что если бы он не был ему родственник, то он сейчас же бы дал знать полиции, а теперь он больше у него оставаться не может и сейчас же от него уехал и потом перестал бывать у него.

Затем студент говорил, что он знает, что за несколько дней до 29-го января, когда подложили мне адские машины, то сам Казаринов переехал в маленький дом, находящийся против моего дома. Дом деревянный, где внизу находится трактир, а наверху второстепенные меблированные комнаты. Поселился Казаринов в этих комнатах для того, чтобы наблюдать за картиной взрыва моего дома, который должен был совершиться 29-го января, в 9 часов утра. За день до этого у него заболел дифтеритом его ребенок. У Казаринова, вследствие религиозного экстаза, вызванного смертельной болезнью его ребенка, разыгралось угрызение совести; он не мог остановить преступления, но он подошел к дворнику и дворнику сказал, чтобы я переходил с левой стороны дома на правую, т.-е. место более безопасное, не об'ясняя причины и не зная, что я живу именно на правой стороне, а не на левой. Он думал, что я живу на левой стороне, потому что вечером и ночью на левой стороне было гораздо темнее, на правой светлее, ибо у нас и в спальне вечером горит огонек.

Я об этом эпизоде не мог передать следственной власти, потому собственно этот эпизод не вошел в следствие, так как я не хотел компрометировать этого студента Политехнического Института, а равно и его отца, ибо я должен был все семейство Казариновых между собой расстроить, а о том, что Казаринов такой суб'ект, который на такую вещь вполне способен, то это известно всем тем, кому известно, что такое Казаринов.

Меня тогда же очень удивило отношение ко всему этому делу тех охранников, которые были при мне. Я в скором времени убедился, что эти охранники были поставлены около моего дома не для того, чтобы меня охранять, а чтобы за мною следить, а в случае надобности и скомпрометировать. Только в последние месяцы я не замечаю около себя охранников, а в прежнее время они постоянно филировали около моего дома и даже имели квартиру в соседнем доме, чтобы следить за мною, за тем, что у меня делается и что я делаю, дабы в случае какой-нибудь некорректности с моей стороны, меня скомпрометировать там, где это было нужно. Но так как я никакой компрометации не боялся и не имею основания бояться, то я этому не придавал значения, но только в скором времени просил уволить меня от агентов

охранного отделения в том смысле, чтобы они не ходили в моем доме. Но если в настоящее время за мною не следят, то я не могу быть уверенным чтобы швейцар моего дома не был агентом охранного отделения. Тем не менее, если швейцар—человек очень исправный, то мне безразлично, если он докладывает, куда ему следует, о том, кто у меня бывает, и я этим швейцаром дорожу». По этому поводу я припоминаю такой разговор с графом Милютиным: как-то он рассказывал, что когда он был военным министром, то у него был один курьер, который очень долго у него служил; когда он оставил пост военного министра и хотел переселиться в Ялту, то этот курьер не согласился поехать с ним. Он очень опечалился, но ему кто-то из лиц, близких к департаменту полиции, сказал: зачем, граф, мы печалитесь, ведь этот курьер, понятно, не может поехать в Ялту, потому что здесь он получал двойное содержание, от вас и от охранной полиции, ибо он агент секретной полиции,—и от секретной полиции он получает больше, чем от вас, и естественно, что первого он не хочет лишиться. Из этого видно, что граф Милютин в течение многих лет, будучи военным министром, ближайшим лицом к Императору Александру II, все-таки подвергался надзору, вероятно со стороны шефа жандармов, графа Петра Шувалова. Граф Милютин мне рассказал это с соболезнованием. Я же, с своей стороны, если мой швейцар агент охранного отделения, что я более, нежели подозреваю, этим доволен, так как имею хорошего швейцара сравнительно за недорогую плату.

26 мая того же года заседание Г. Совета было отменено, вследствие полученных сведений, что готовится террористический акт. Сведение это было передано председателю Г. Совета Акимову, и, поэтому, заседание было перенесено на 30 мая. Накануне заседания ко мне вечером приехал Иван Павлович Шипов, бывший министр финансов в моем министерстве, и предупредил меня, чтобы я 30-го не ездил в заседание Государственного Совета, потому что меня предполагают дорогой убить бомбой; при чем мне передал, что это сведение он имеет от Лопухина, что Лопухин, который живет в одном доме и на одной и той же лестнице, как и он, к нему зашел,—хотя он с Лопухиным домами не знаком,—и сказал ему, что, так как он знает, что Шипов очень дружен со мною, то он считает необходимым его предупредить, что предполагается завтра, когда я буду ехать в Госуд. Совет, или обратно, бросить в меня бомбу. При чем я должен сказать, что Лопухин, после того, как он был уволен от службы, вошел совсем в кадетскую партию вместе с князем Урусовым, и так как он был специалистом по всяким розыскам и вообще по делам секретной полиции, то он занимался в этой партии специально вопросами сыска, то есть контролем над тем, что делает секретная полиция, ибо уже тогда вполне обнаружилось, что секретная полиция не брезгает никакими средствами для расправы с теми, которых она считала своими врагами, или с теми лицами, которые ненавистны кому-либо из высших власть имущих. Я сказал Шипову, что я ему очень благодарен, но что я сожалею, что это он мне сказал, потому что, может быть, я завтра на заседание не

поехал бы, но раз меня предупреждают, что завтра, когда я буду ехать туд или обратно, в меня бросят бомбу, раз известно, что это Шипову передал Лопухин и Лопухину, как это сказал он, это достоверно известно от члено Госуд. Думы,—это была вторая Госуд. Дума, крайне левого направления,— которые считали нужным предупредить меня, потому что в сущности это по кушение исходит не от левых, таким образом, следовательно, об этом поку шении известно стольким лицам, что если я не поеду в Госуд. Совет и обратно, то очевидно, я покажу свою трусость; поэтому я решил ехать Единственная предосторожность, которую я принял, по настоянию моей жены, была та, что я утром поехал завтракать к Быховцу, женатому на сестре моей жены, и оттуда поехал в Госуд. Совет не в своем автомобиле, а в его карете.

Приехавши в Государств. Совет и просидевши там все заседание, никакого покушения не было. Когда я выходил из Государственн. Совета, то я ни как не мог найти карету Быховца, потому что кучера я не спросил о его имени и первый раз его видел и кучер меня, видимо ранее не видел. Вследствие этого, не будучи в состоянии найти экипажа, я пошел домой пешком прошел по Невскому пр. мимо Европейской гостиницы, затем встретил порядочного извозчика, сел на него и приехал домой. Таким образом, я пришел к тому заключению, что в данном случае была ложная тревога.

На следующий день во всех газетах появилось, что 29-го мая около Пороховых, близ Ириновской жел. дор., в лесу исправительной колонии убит неизвестный человек в то время, когда он изготовлял бомбу, и, что по слухам, эта бомба предназначалась для какого-то члена Государств. Совета. Поэтому мне не трудно было догадаться, что на меня не было сделано покушения 30 мая именно потому, что, вероятно, главный покуситель был убит.

Следствие по этим делам производилось в течение почти 3 лет. Я, по мере производства следствия, получал от судебного следователя документы, но только те, которые мог получать потерпевший, согласно закону, т.-е. только одни показания допрашиваемых и свидетелей. Дело об убийстве лица около Пороховых, которое приготовляло бомбу, производилось одним следователем; дело о покушении на меня производилось другим следователем, дело о приготовлении к моему убийству, приготовлении, которое делалось в Москве, производилось третьим следователем и все эти следователи действовали независимо друг от друга, а затем и менялись. Я увидел, что, в особенности, при алчном желании замять дело, следствие это ни к чему притти не могло. Я, с своей стороны, тщательно собирал по этому предмету документы, те, которые мог собрать и преимущественно официального характера, за подписью чинов судебного ведомства.

Видя, что следствие производится нарочно для того, чтобы не раскрыть преступления, я несколько раз обращался к прокурору судебной палаты Камышанскому. Камышанский был назначен прокурором судебной палаты во время моего министерства и по моему настоянию. Так как в мое министер-

ство Петербургский судебный округ и, главным образом, прокуратура совершенно почти забастовали, т.-е. боялись энергичных действий, я на это обращал внимание министра юстиции. Министр юстиции мне говорил, что нет соответствующего прокурора судебной палаты, так как прокурор судебной палаты Вуич назначен директором департамента полиции, и он не может подыскать соответствующего лица; что между товарищами прокурора есть люди очень энергичные, но только люди крайне правого направления. На это я заметил, что я не вижу препятствий к тому, чтобы был человек правого направления, лишь бы только в точности исполнял законы и не боялся решительных мер. Таким образом Камышанский, сравнительно совсем молодой человек, был назначен прокурором судебной палаты.

Вследствие этого, вероятно, Камышанский относился ко мне с некоторым уважением и благодарностью.

Видя, что следствие так производится, что, очевидно, не желают раскрыть преступления, я его пригласил как-то к себе и начал ему говорить о крайне безобразном ведении следствия. На это мне Камышанский ответил буквально следующее: «Ваше сиятельство, вы совершенно правы, но мы, т.-е. прокуратура и следователи, иначе не можем поступать. С первых же шагов для нас сделалось ясным, что для того, чтобы раскрыть и обнаружить все дело, необходимо тронуть и сделать обыски у таких столпов, вновь явившихся спасителей России, как доктор Дубровин, между тем, мы сделать этого не можем».

Я его спросил: «почему вы этого сделать не можете?», на что он мне ответил: «вот почему; потому. что если мы только этих лиц арестуем и сделаем у них обыски, то мы не знаем, что мы там найдем, наверное, нам придется итти дальше и выше». Затем он кончил так: «пусть нам скажет министр юстиции, что мы не должны стесняться и можем арестовать Дубровина и подобных ему лиц; и затем, если, как это несомненно, они выдадут лиц, выше их стоящих, то что мы можем итти дальше и за это не подвергнемся никакой ответственности. А раз нам такого указания не дадут и не дают, то естественно, что мы следствие крутим, с целью замазать истину».

Вследствие этого, я был у министра юстиции. Не говоря ему о разговоре моем с Камышанским, я ему говорил о крайне безобразном ведении всего дела и что ведется нарочито для того, чтобы не обнаружить то, что происходило. Министр юстиции оттоваривался, говорил, что он потребует дело. Он потребовал от прокурора судебной палаты записку по сему делу. Прокурор ему дал записку и копию записки дал мне. В этой записке прямо указано, где виновные, по какому пути следует итти, чтобы найти виновных, но министр юстиции опять не принял решительно никаких мер.

Поэтому я был вторично у министра юстиции и ему резко в конце концов сказал: «знаете, что вы меня доведете до того, что я сделаю скандал и скандал для вас и для правительства весьма неприятный». Это было последнее свидание мое с министром юстиции, и после этого я прервал с ним всякие личные сношения.

Тем не менее в течение 3-х лет, в которые производилось следствие, многие побочные обстоятельства послужили к выяснению дела, и главным образом, газетные статьи главного лица, которое совершало на меня покушения посредством бомбы, Федорова, бежавшего за-границу и описавшего в газете «Matin», каким образом эти покушения готовились и как одно из них посредством адской машины было произведено.

Через 3 года судебный следователь сделал постановление, что за нерозыском тех лиц, которые покушались на мое убийство, и за смертью руководителя этих лиц—Казанцева, дело это прекращается.

Все это дело находится в моем архиве и в нескольких экземплярах в различных местах для того, чтобы на случай, если пропадет один экземпляр, остался другой, так как дело это характеризует то положение дела, в котором очутилась Россия, после управления Столыпина и Щегловитова. Дело это, составленное из официальных документов, несомненно устанавливает следующие факты: Казанцев—гвардейский солдат в отставке был один из агентов охранного отделения, которых покойный Столыпин именовал идейными добровольцами, т.-е. такими лицами, которые занимались делами секретной полиции, охраной и убийствами тех лиц, которых они считали левыми и вообще опасными для реакционного течения.

Этот агент охранного отделения принимал участие в убийстве Герценштейна в Финляндии, совершенном агентами охранного отделения и агентами союза русского народа, который в то время слился с охранным отделением так, что трудно было найти, провести черту, где кончаются агенты секретной полиции, охранного отделения и где начинаются деятели так называемого союза русского народа, действующего в Петербурге, под главным начальством доктора Дубровина и в Москве Грингмута и затем, после его смерти, протоиерея Восторгова.

Убийство Герценштейна произведено под главным начальством доктора Дубровина агентами полиции и союзниками. Затем у главы союза русского народа явилась мысль убить и меня. Об этом вопросе было обсуждение между главными союзниками; об этом, вероятно, знал и градоначальник Лауниц. Пресловутый князь М. М. Андронников, конечно, втерся в союз русского народа к Дубровину и к Лауницу и так как он у них узнал, что в случае, если я возвращусь в Россию, то меня убьют, то и дал мне телеграмму в Париж, чтобы я не возвращался,—телеграмму, о которой я говорил ранее.

Секретарь доктора Дубровина Пруссаков, который затем рассорился с Дубровиным и дал показание судебному следователю, указал, что Дубровин говорил своим сотрудникам о необходимости меня убить и главное овладеть документами, которыми я обладал и которые находятся у меня в доме, что будто бы (чему я не верю) на необходимость уничтожить все находящиеся у меня документы имеется Высочайшее повеление, ему переданное.

Таким образом Дубровин очень интересовался и науськивал некоторых лиц на то, чтобы меня убить и овладеть моим домом, или его разорить. Из следствия видно, что исполнение этой задачи взяли на себя не Дубровин и

петербургские союзники, а почли более удобным поручить это дело московским союзникам, а для сего Казанцева, который участвовал в убийстве Герценштейна, так сказать, командировать в Москву.

В Москве Казанцев поступил под главенство графа Буксгевдена, чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе, и как бы поступил к нему управляющим его домом, хотя его домом, собственно, не занимался, а имел какую-то кузницу около Москвы, где, между прочим, и изготовлялись различные снаряды.

Таким образом, ясно, что петербургская боевая дружина, находящаяся в главном распоряжении Дубровина, не решилась совершить на меня покушение, боялась, что сейчас же будет открыта, и для отвода глаз это поручение передала в Москву. В дальнейшем главную роль играли: граф Буксгевден, чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе, и агент охранного отделения и вместе с тем и член русского народа и монархических, крайних московских партий, Казанцев.

Казанцев приобрел некоего Федорова; Федоров был искренним революционером, анархистом, хотя рабочий, по умственным способностям, полукретин, затем другого рабочего, тоже крайне левого направления Степанова.

Из Москвы экспедиция, состоящая из этих трех лиц, приехала в Петербург, остановилась в меблированных комнатах, находящихся близ Невского Проспекта, значит, в самом центре города. Затем, очевидно, Казанцев имел сношения и с здешними крайними правыми группами, а именно с Дубровиным, а также с группой Михаила Архангела, если в то время Казаринов уже был в этой группе, а может быть еще в то время он был в группе Дубровина.

Эти лица, вероятно, адские машины получили от Казаринова, поэтому Казаринов, интересуясь, какое разрушение произведут эти машины, и поселился против моего дома в меблированных комнатах, о чем я говорил ранее.

29-го января они, через соседний дом Лидваля, прошли, поднялись там на крышу сарая, с этой крыши пролезли на крышу моего дома, где помещаются кухня и людские, а оттуда по крыше влезли на крышу моего главного фасада и заложили адские машины, но, очевидно, они ожидали взрыва в 9 часов вечера, но взрыв не последовал. Так как взрыв не последовал, то из следствия видно, что на другой день тот же самый Федоров был отправлен к моему дому утром и должен был влезть опять тем же путем на крышу и бросить в эти трубы тяжесть, которая должна была разбить адские машины и тем произвести взрыв, но когда он подходил к дому, то его предупредил Казаринов, что все раскрыто, машины из труб вынуты, и поэтому эти лица с огорчением возвратились в Москву, при чем Федорову и Степанову было внушено, что я должен быть убит по решению главы революционно-анархической партии, как крайний ретроград, который подавил революцию 1905/6 года.

Приехавши в Москву, как показывает то же следствие, тот же самый

Федоров, под руководством Казанцева, убил депутата первой Гос. Думы и одного из редакторов «Русских Ведомостей» Иоллоса. Совершив это убийство, они изготовили уже там бомбы и приехали в Петербург для того, чтобы бросить мне бомбу, когда я буду ехать на улице.

Из того же следствия видно, что в Москве всем этим руководил чиновник при московском генерал-губернаторе, граф Буксгевден, и что он, т.-е. Буксгевден, когда Казанцев должен был совершить через Федорова мое уничтожение, приехал в это время в Петербург.

Я Буксгевдена лично не знаю, по рассказу же бывшего московского генерал-губернатора Дубасова и его супруги, граф Буксгевден представляет собою на вид человека очень скромного, сам он состояния не имеет, но его жена имеет и человек он более, нежели ограниченный.

Когда вторично приехал сюда Казанцев вместе с Федоровым и Степановым, то тогда уже была вторая Г. Дума открыта и Степанов передал некоторым из членов Думы крайней левой партии о причинах, почему они приехали и, затем, как они убили Иоллоса.

Эта партия крайняя левая всполошилась и об'яснила Федорову и Степанову, что они являются игрушками в руках черносотенной партии, что Иоллос убит по постановлению черносотенной партии их руками. Казанцев уверил Федорова, что Иоллоса нужно было убить, потому что Иоллос похитил значительные суммы денег, которые были собраны на революцию.

Вследствие такого разоблачения, Федоров решил убить Казанцева, чтобы отомстить ему за его обман, и вот решено было бросить мне бомбу, когда я буду ехать в Г. Совет. 29-го мая они поехали недалеко от Пороховых начинять бомбу взрывчатым веществом, которую они привезли с собою из Москвы. В то время, когда Казанцев начинял эту бомбу, Федоров подошел к нему сзади и кинжалом его убил, прободав ему горло. Таким образом, Бог спас меня и вторично.

Затем, так как Казанцев был агентом охранного отделения, для меня несомненно, что все, что он делал, было известно и петербургскому охранному отделению и союзу русского народа, и, когда он был убит, то сейчас же полиция узнала, кто убит; тем не менее, полиция сделал так, как будто убит неизвестный человек, и дала время, чтобы как Федоров, так и Степанов могли скрыться, потому что, очевидно, если бы они были арестованы, то все дела были бы раскрыты и было бы раскрыто, откуда было направлено покушение на мою жизнь.

Когда Федоров и Степанов скрылись, тогда Степанов скрылся где-то в России и до сих пор, вероятно, находится в России, но полиция во время Столыпина все время делала вид, как будто она его найти не может. А Федоров перебрался через финляндскую границу в Париж и там сделал все разоблачения.

Вследствие моих настояний, судебный следователь, потребовал от Франции возвращения Федорова, и я настаивал о том перед министром юстиции. Наконец, после долгих, долгих промедлений, Федоров был потребован, но

правительство французское Федорова не выдало и, когда я был в Париже и спрашивал правительство о причинах, то мне было сказано, что Федоров обвиняется в политическом убийстве, а, по существующим условиям международного права, виновные в политических убийствах не выдаются; но при этом прибавили: конечно, мы бы Федорова выдали, ввиду того уважения, которое мы во Франции к вам питаем, тем более, что Федоров в конце концов является все-таки простым убийцей, но мы этого не сделаем, потому что, с одной стороны, русское правительство официально требовало выдачи Федорова, а, с другой стороны, словесно нам передаст, что нам было бы приятно, если бы наше требование не исполнили.

Я знал, что правительство будет отказываться, что Казанцев есть агент охранного отделения, и поэтому старался иметь в руках к этому доказательства. Сколько раз я ни обращался к судебному следователю, но он по этому предмету не делал никаких решительных шагов; он все требовал от охранного отделения и от директора департамента полиции, чтобы ему дали ту записку, которую я получил, после того, как у меня были заложены адские машины, в которой меня уведомляли, что от меня требуют 5.000 рублей, и что, в противном случае, на меня будет сделано второе покушение, именно ту записку, которую я имел неосторожность передать директору департамента полиции. На все его требования, этой записки он не получал под тем или другим предлогом.

Наконец, я вмешался в это дело, писал директору департамента полиции, просил вернуть записку; директор департамента полиции долго не отвечал и потом ответил, что он эту записку передал в охранное отделение, ну, а там ее найти не могут.

Перед самым окончанием следствия, судебный следователь Александров получил явное доказательство, что Казанцев есть агент охранного отделеления, и так как он, видимо, был вынужден вести все следствие таким образом, чтобы свести на-нет, то, вероятно, из угрызения совести в последний раз, когда он у меня был, он мне показал фотографический снимок записки и спросил, та ли это записка, которую я послал директору департамента полиции и в которой требовалось от меня 5.000 рублей. Я посмотрел и говорю: «Та самая, где вы эту записку достали»? Он мне сказал, буквально, следующее: «У меня есть другое дело, дело не политическое, и мне нужен был почерк одного агента сыскного отделения петербургского градоначальства; поэтому я пошел в это отделение, чтобы попросить образец почерка этого агента сыскного отделения. На это заведующий архивом отделения сказал: «У нас здесь есть почерки всех агентов как сыскного, так и охранного отделения, так как при Лауните охранное и сыскное отделения были слиты, и вот. если хотите, то можете поискать в этих шкафах».

Я взял, достал почерк этого агента сыскного отделения, а потом мне пришло в голову: а посмотрю-ка я, нет ли здесь почерка Казанцева. Посмотрел на букву К., Казанцев. Затем взял образец почерка, и вот этот об-

разец есть то, что я вам показываю. Я обратился к заведующему архивом и спросил его: «Чей же это почерк?» Он говорит: «Это известного агента охранного отделения Казанцева, который был убит около Пороховых Федоровым».

Я попросил судебного следователя, не может ли он мне оставить на несколько часов этот образец. Он оставил, и я, с своей стороны, снял фотографический снимок с этой записки. Таким образом, я получил более или менее материальное удостоверение того, что Казанцев есть агент охранного отделения.

Из всего, мною изложенного, очевидно, что покушение, которое делалось на меня и на всех живущих в моем доме, т.-е. мою жену и на мою прислугу, делалось, с одной стороны, агентами крайне правых партий, а с другой стороны, агентами правительства, и если я остался цел, то исключительно благодаря судьбе.

Когда судебный следователь сделал постановление о прекращении следствия, то я написал письмо к главе правительства Столыпину 3-го мая 1910 года, в котором ему изложил, в чем дело, выставил все безобразие поведения в данном случае правительственных властей, как судебных, так и административных, указал на то, что при таких условиях естественно, что высшее правительство стремилось к тому, чтобы все это дело привести к нулю, и в заключение выразил надежду, что он примет меры к прекращению террористической и антиконституционной деятельности тайных организаций, служащих одинаково и правительству, и политическим партиям, руководимым лицами, состоящими на государственной службе, и снабжаемых темными деньгами, и этим избавит и других государственных деятелей от того тяжелого положения, в которое я был поставлен. Письмо это было составлено известным присяжным поверенным Рейнботом и мне принадлежит только общая идея этого письма и в некоторых местах его стиль. Ранее, нежели послать это письмо, я его передал, одновременно и все трехтомное дело о покушении на меня, таким юристам, как члены Государственного Совета—Кони, Таганцев, Манухин, граф Пален. Все они признали, что письмо, с точки зрения фактической и с точки зрения наших законов, совершенно правильно, и что, может быть, только стиль несколько ядовитый, но что это дело уже лично мое.

Столыпин, получив это письмо, был совершенно озадачен; он, встретясь со мною в Государственном Совете, подошел ко мне со следующими словами: «Я, граф, получил от вас письмо, которое меня крайне встревожило». Я ему сказал: «Я вам советую, Петр Аркадьевич, на это письмо мне ничего не отвечать, ибо я вас предупреждаю, что в моем распоряжении имеются все документы, безусловно подтверждающие все, что в этом письме сказано, что я, ранее, нежели посылать это письмо, давал его на обсуждение первоклассным юристам и, между прочим, такому компетентному лицу, престарелому государственному деятелю, как граф Пален».

На это Столыпин ответил: «Да, но ведь граф Пален выживший из ума». Этот ответ показывает степень морального мышления главы правительства. И затем он раздраженным тоном сказал мне: «Из вашего письма, граф, я должен сделать одно заключение: или вы меня считаете идиотом, или же вы находите, что я тоже участвовал в покушении на вашу жизнь? Скажите, какое из моих заключений более правильно, т.-е. идиот ли я, или же я участвовал в покушении на вашу жизнь?» На это я Столыпину ответил: «Вы меня избавьте от ответа на такой щекотливый, с вашей стороны, вопрос».

Затем я уехал за границу и несколько времени никакого ответа от Столыпина не получал и уж, когда я вернулся в Петербург, то через 7 месяцев получил от него ответ, весьма наглый, на мое письмо. В этом ответе—это было письмо 12-го декабря 1910 года—он самым бесцеремонным образом отвергает некоторые факты и входит в довольно наглые инсинуации.

Я не преминул 16-го декабря 1910 года ему дать подобающий ответ, ответ весьма жестокий, но вполне им заслуженный, но в котором в заключение я высказал, что, как, очевидно, между главою правительства, министром юстиции и мною по этому предмету существуют разногласия, то я прошу, чтобы все это дело было поручено рассмотреть кому-нибудь из членов Государственного Совета—сенаторов, юристов, близко знакомых со всем следственным делом, для того, чтобы они высказали—кто из нас прав: я ли, утверждая, что все следствие было сделано с пристрастным участием агентов правительства и что следствие было ведено для того, чтобы прикрыть все это, или же он, Столыпин и министр юстиции, которые утверждают противное, а именно, что правительство здесь не при чем. При чем я перечислил тех членов Государственного Совета, которым кому-нибудь из них я просил бы передать это дело для дачи заключения Его Величеству. Перечислил я лиц всех партий и крайних правых, и крайних левых, так как для меня безразлично, кто будет производить это рассмотрение, ибо каждый из них не мог бы придти к иному заключению, чем к какому я пришел, потому что каждый из этих лиц—суть члены Государственного Совета и, при каких бы то ни было политических разногласиях и личных чувствах в отношении ко мне, никто бы не уронил себя до такой степени, чтобы не признать того, что я утверждаю, так как это вытекает математически из всего обширного дела, у меня имеющегося.

Должен сказать, что как первое письмо, так и ответ Столыпина и второе письмо, обсуждались в Совете министров. Через некоторое время после моего второго письма, я получил краткий ответ от главы правительства, в котором он меня уведомлял, что, мол, он докладывал мою просьбу о поручении расследовать дело кому-нибудь из сенаторов, что Его Величеству благоугодно было самому этим делом заняться и что, рассмотрев все дело, Его Величество положил такую резолюцию: что он не усматривает неправильности в действиях ни администрации, ни полиции, ни юстиции и просит переписку эту считать поконченной.

Само собой разумеется, что Его Величество, ни по своей компетенции в

судебных делах, ни по времени, которое он имеет в своем распоряжении, не мог рассмотреть и вникнуть в дело, и эта резолюция Его Величества, которая, очевидно, написана по желанию Столыпина, показывает, как Столыпин мало оберегал Государя и в какое удивительное, если не сказать более, положение он Его, Государя, ставил.

Переписка моя, все дело о покушении на меня, как я говорил, состоящее из 3-х томов, находится у меня в архиве, точно так, как и переписка моя между мною и Столыпиным. Переписка эта, ввиду смерти Столыпина, не составляет уже такого особого секрета и, может быть, я ее распубликую еще при моей жизни. Тогда общество увидит, до какого позора дошли судебная власть и правительство в управление Столыпина.

Разве только эти дела имели место в его управление? В его управление не только убивали лиц, которые по тому или иному поводу были неудобны, когда они принадлежали к тем сословиям, т.-е. к толпе, за которую никто вступиться не может, или не посмеет, но даже подобные убийства практиковались и в отношении тех лиц, которые по своему положению могли бы иметь какую-нибудь защиту, но все-таки таковую не находили.

---

# Демократическая контр-революция.

И. Майский.

Так быстро несется время и так легко стираются из памяти даты и события, что порой даже жутко становится. Ведь на нас, участниках и свидетелях величайшего в мире общественного переворота, лежит огромный исторический долг: передать потомству возможно более полную, яркую и достоверную картину революции. Нужно, поэтому, спешить с занесением на бумагу наиболее важного и замечательного из пережитого, передуманного и перечувствованного. Так должен поступать каждый, кто провел эти великие годы в действии и борьбе.

Волею обстоятельств мне пришлось принимать близкое участие в одном из поучительнейших эпизодов революции. Я имею в виду самарский Комитет членов Всероссийского Учредительного Собрания. И сейчас я хочу поделиться с читателями своими воспоминаниями о том периоде, а также некоторыми выводами и заключениями, к которым меня привел проделанный тогда жестокий политический опыт.

## I. Идеологические обоснования.

31-го июля 1918 года я выехал из Москвы, направляясь в Самару.

Мотивы, которые побудили меня к этому шагу, сейчас, четыре года спустя, мне было бы, пожалуй, трудно воспроизвести с полной об'ективностью: слишком много с тех пор воды утекло, слишком сильно изменился я сам за протекшее время.

К счастью, в моем распоряжении имеется беспристрастный свидетель— один документ, который с точностью отражает мои тогдашние взгляды и настроения. Этот документ—мое письмо Центральному Комитету Р. С.-Д. Р. П., вызванное моим устранением из Ц. К., состоявшимся осенью 1918 г. Письмо было писано в конце октября, т.-е. после падения Самары, но еще до воцарения Колчака. Оно являлось ответом на репрессии Ц. К. по отношению ко мне за участие в правительстве Комитета членов Учредительного Собрания и содержит идеологические обоснования моих политических действий. Письмо было отправлено тогда же через фронт в Москву, но дошло ли оно по адресу, мне неизвестно. Независимо, однако, от этого, как документ, оно сохраняет

свою ценность. И читатель, вероятно, на меня не посетует, если я приведу из названного письма довольно длинные выдержки: ведь в письме запечатлены мысли и чувства, которые весной и летом 1918 г. были широко распространены в рядах социал-демократии.

«Когда в октябре 1917 года,—говорил я в этом письме,—большевики захватили власть и открыто взяли курс на социальную революцию, пред С.-Д. партией стал вопрос: Что делать? Мыслимы были, очевидно, три позиции: поддержка большевиков, борьба с большевиками, или, наконец, нейтралитет. После некоторых первоначальных колебаний, наша партия, отвергнув первую и третью возможности, официально высказалась за борьбу против «коммунистической» диктатуры, как ведущей страну к гражданской войне, политическую свободу к смерти, народное хозяйство к разрушению. «Коммунистической» диктатуре социал-демократия противопоставляла идею демократии, ярче всего олицетворяемую Всероссийским Учредительным Собранием. Была ли, однако, наша партия последовательна в проведении этой официально провозглашенной общей линии ее политики?

«Я утверждаю, что нет. Ее непоследовательность неоднократно и по различным поводам проявлялась в течение всей минувшей зимы, но с особенной рельефностью она стала обнаруживаться начиная с весны текущего года. В самом деле, общая ситуация к маю и июню месяцам в кратких чертах была такова.

«Большевизм в расцвете сил и энергии твердо ведет свою разрушительную линию как в политической, так и в экономической сферах. Он не думает ни о каком соглашении с другими социалистическими и демократическими силами. Наоборот, все откровеннее он становится на путь открытого преследования их. «Легальные возможности» борьбы с большевизмом—в прессе, на собраниях, в советах, в союзах и т. д.—насильственно уничтожаются одна за другой. Свободы аннулируются. Надвигается полоса политического террора, гражданская война ведется с все большим ожесточением и для ведения этой войны большевизм все чаще и охотнее обращается за помощью к германскому империализму.

«В такой обстановке борьба против большевизма неизбежно должна была принимать все более острую форму. Пора слов миновала, наступала пора действий. Повсюду, частью стихийно, частью организованно, стали вспыхивать забастовки, восстания, заговоры офицеров, мятежи рабочих и крестьян. С конца мая начались военные действия чехо-словаков, и вслед затем в Самаре создался Комитет членов Учредительного Собрания. Одновременно шла ликвидация большевистской власти в Сибири. Общественная атмосфера с часу на час накалялась, и партия должна была дать своим сторонникам ясный и недвусмысленный ответ на вопрос: Что же делать? Участвовать или не участвовать в подымающем голову движении против большевизма? И если участвовать, то в каких формах, на каких условиях, с какими лозунгами? Дать такой ответ был прямой долг Ц. К.,—исполнил ли он свой долг?

«Нет, не исполнил. Я вспоминаю многочисленные заседания Ц. К. мая—июля настоящего года, посвященные перманентному обсуждению «текущего момента», и у меня родится при этом только одно чувство—чувство глубокого недовольства и протеста. Это была какая-то сплошная вакханалия двусмысленных фраз и каучуковых резолюций. Сказать членам партии прямо: «будьте с большевиками» большинство Ц. К. не считало возможным, ибо большевистское господство считалось гибелью для России. Сказать: «устраивайте восстания против большевиков, поддерживайте чехо-словаков, ищите союзнической ориентации»—оно также не решалось, ибо его смущало присутствие в анти-советском лагере явно реакционных элементов и оно боялось, как бы активность партии в конечном счете не пошла на пользу реставрации. Ц. К. не говорил определенно ни да, ни нет, т.-е. фактически, вопреки официальной партийной линии, гласившей «борьба с коммунистической диктатурой», он стал проводить политику «нейтралитета»...

«До каких, поистине, героических высот доходило подчас стремление руководящего большинства Ц. К. остаться во что бы то ни стало в стороне от грозных запросов жизни, может прекрасно свидетельствовать следующий характерный случай.

«Однажды, если не ошибаюсь, в середине июня, в Ц. К. явилась делегация от железнодорожников одного провинциального города с вопросом, как вести себя членам нашей партии, железнодорожникам, в случае появления чешских или большевистских войск? Должны ли наши партийные товарищи в этом случае перевозить войска? И, если да, то какие именно? Депутацию принимал Мартов, и он дал на ее вопрос поистине классический ответ: «держите нейтралитет». Когда же делегаты попросили конкретизировать эту слишком общую формулу, Мартов пояснил: «Ну, пожалуй, в отношении большевиков, держите нейтралитет враждебный, а в отношении эс-эров и чехов—дружественный»... Не знаю, как описанные железнодорожники провели в жизнь эту замечательную директиву Ц. К., но знаю очень хорошо, что давать подобные директивы в разгар ожесточенной гражданской войны, значило по существу, оставлять местные организации совсем без всякого руководства, предоставляя им действовать в чрезвычайно сложных и запутанных обстоятельствах на свой собственный риск и страх.

«Вспоминается мне и еще один любопытный факт. Как-то раз на заседании Ц. К. подвергались обсуждению планы эс-эров об открытии заседаний Учредительного Собрания на освобожденной от большевиков территории при наличности определенного количества депутатов. Я горячо защищал эти планы и предлагал послать в Самару полномочную делегацию Ц. К., которая, находясь вне пределов Советской России, могла бы оказывать известное влияние на эс-эровскую политику по ту сторону фронта. Наоборот, большинство присутствовавших членов Ц. К. относилось к планам эс-эров иронически, третируя эти планы, как обычную «эс-эровскую авантюру». Особенно старался в данном отношении Дан. Я, наконец, не выдержал и спросил его:

«— Об'ясните мне, пожалуйста, почему вы так легко готовы высмеять и

раскритиковать всякие попытки оживить Учредительное Собрание? Наша партия стоит на платформе Учредительного Собрания, она ведет неустанную агитацию в пользу Учредительного Собрания, она усиленно доказывает, что вне Учредительного Собрания нет выхода для страны из нынешнего положения, она призывает рабочих бастовать во имя созыва Учредительного Собрания, словом, проявляет, как будто бы, максимум интереса и активности в борьбе за Учредительное Собрание, и что же? Когда находятся люди, которые делают попытку поставить созыв Учредительного Собрания на практическую почву, вы не находите ничего лучшего, как презрительно пожать плечами и высокомерно бросить: «Нелепая авантюра!». Где же логика?

«На это Дан ответил:

«— Конечно, наша партия стоит на платформе Учредительного Собрания. Она всегда на ней стояла, если припомните, еще в своей программе, но это требование слишком общее. Кто ж в самом деле может думать в настоящее время в серьез об оживлении э т о г о Учредительного Собрания, или о созыве Учредительного Собрания, как о конкретном требовании момента?

«— Позвольте,—вскричал я,—но ведь и в письменной и в устной агитации мы именно так и ставим требование созыва Учредительного Собрания, как конкретное требование момента. Что же это такое: политическое лицемерие?

«Дан протестовал против моего выражения «политическое лицемерие», но сколько-нибудь убедительно доказать его необоснованности не мог. Да и как же иначе? Ведь и в вопросе об Учредительном Собрании, как и во многих других, суть дела состояла в том, что большинству Ц. К., быть может, даже не вполне сознательно, хотелось занять такую позицию, которая освобождала бы его от необходимости д е й с т в о в а т ь.

«Позиция нейтралитета для большой политической партии при всяких условиях является весьма сомнительной позицией. Но она становится совершенно немыслимой, ибо просто противоречит человеческой природе, в обстановке кипящей кругом гражданской войны. Поэтому партия должна была занять вполне ясную и определенную позицию в происходившей борьбе, но какую именно?

«Выбор, на мой взгляд, не представлял особых затруднений. С самого начала революции мы считали, что наша революция есть не социалистическая революция, ибо для последней у нас отсутствуют почти все об'ективные предпосылки, а революция буржуазно-демократическая (включающая, конечно, передачу помещичьих земель крестьянству и широкую программу социальных реформ для защиты пролетариата). Она неизбежно должна была бы остаться таковой даже и в том случае, если бы в некоторых странах Западной Европы вспыхнула революция, приближающаяся к социальной. Ибо характер революции в каждой данной стране, в конечном счете, определяется уровнем ее экономического развития и что мыслимо и возможно, скажем, в Германии или Англии, несомненно, окажется немыслимым и невозможным в

России. Исходя именно из этих соображений, мы с первого же дня революции стояли на платформе демократии, а не «диктатуры пролетариата», полагая, что хорошая демократия—это максимум, на который может рассчитывать Россия при современном уровне ее исторического развития. Но ясно ли, что теперь когда перед нами стоял выбор между диктатурой пролетариата и демократией, между Советской властью и Учредительным Собранием, наше место было на стороне демократии и Учредительного Собрания? Мне это казалось совершенно бесспорным. Правда, известные массы пролетариата, находясь под гипнозом большевизма, поддерживали Советскую власть против Учредительного Собрания, однако, говоря словами Бебеля, «вожди должны не рабски следовать всем желаниям и прихотям массы, а внимательно изучать положение дел... и только затем уже решать вопрос, следует или не следует предпринимать те или иные шаги». С.-д-ия является вождем пролетариата, выражающим осознанные длительные интересы, его, как класса,—вполне мыслимо, поэтому, временное расхождение ее с широкими массами рабочих в моменты, когда эти массы, увлеченные непосредственными выгодами сегодняшнего дня, сходят с прямой дороги социализма. Тогда долг с.-демократии, даже рискуя своей популярностью, защищать завтрашний день пролетариата против его сегодняшнего дня. Позднее ей это сторицею зачтется. Именно таково сейчас положение у нас. Пусть рабочие массы в странном ослеплении кадят фимиам перед алтарем Советской власти,—с.-демократия должна иметь мужество пойти против течения и при решении вопроса о своей политике руководствоваться исключительно лишь общими длительными интересами пролетариата, как класса.

«В чем сейчас состоят эти общие длительные интересы пролетариата?

«Они состоят в создании единой, независимой и демократической России. Только такая Россия является основной предпосылкой нормального развития классовой борьбы и минимальной гарантией прав пролетариата. Только в такой России может развернуться здоровое, мощное, европейски-развитое рабочее движение. Не иначе.

«Раз это так, ясна линия поведения партии в настоящий момент: партия должна бросить все свои силы и энергию на чашу весов демократии, она должна определенно стать на сторону антисоветского движения и сделать отсюда все логические выводы. Правда, в рядах этого движения имеются весьма разнообразные элементы,—в том числе и реакционные силы,—однако еще Мирабо сказал, что революцию нельзя сделать при помощи лавандного масла. Как ни неприятно нам присутствие в антисоветском лагере сомнительных политических группировок, мы не можем только из-за этого отказываться от борьбы с «коммунистической диктатурой», борьбы, по существу, признаваемой нами правильной и необходимой. Мы должны лишь принять все зависящие от нас меры, для того, чтобы по возможности парализовать опасность справа. И этой цели легче всего достигнуть не «нейтралитетом» партии, не фактическим уходом партии с поля битвы, а, наоборот, лишь самым активным участием ее в борьбе. Чем крупнее будет ее роль в антисовет-

ском лагере, тем больше шансов, что на смену «коммунистической диктатуре придет господство демократии, а не господство черной сотни.

«Отсюда ясны и практические выводы: решительная борьба с большевизмом, подготовка и организация народных восстаний против Советской власти, активная поддержка чехо-словаков и Комитета членов Учредительного Собрания, участие в строительстве демократической государственности, продолжение войны с Германией в тесном контакте с союзниками во имя восстановления единой и независимой России,—таковы должны были бы быть директивы Ц. К., направляемые по адресу местных организаций. Как ни тяжело партии пролетариата итти против части того же пролетариата, пребывающей в большевистском пленении,—это необходимо сделать твердо и решительно во имя будущего рабочего класса, во имя социализма».

Центральный Комитет не решался сделать этих практических выводов, но, вместе с тем, вся его позиция была такова, что позволяла каждому отдельному члену партии сделать такие выводы для себя. Я эти выводы сделал и... отправился в Самару.

Теперь, четыре года спустя, представляется просто невероятной та степень политической наивности, которой продиктовано приведенное письмо. Но тогда я твердо верил в непреложность моих теоретических построений. И таких, как я, среди меньшевиков было много,—не все лишь находили в себе достаточно решимости и последовательности согласовать свое дело с своим словом или, вернее, с своей мыслью. Понадобился ужасный опыт гражданской войны, понадобились кровавые письмена Поволжья, Сибири, Архангельска, Дона, Украйны, для того, чтобы излечить мечтателей 1918 г. от их опасных иллюзий. Впрочем, даже и сейчас не все излечились. Таков консерватизм человеческой психологии.

## II. От Москвы до Самары.

Итак, 31 июля я выехал из Москвы. Столицу Красной России я покидал без всякого сожаления. Да это и не удивительно. При моих тогдашних настроениях все в ней мне должно было не нравиться.

Лето в тот год выдалось жаркое и удушливое. Солнце по целым дням пекло сверху, а каменные дома и мостовые обдавали жаром с боков и снизу. Улицы не убирались, в домах и во дворах повсюду лежали кучи сора и грязи. Фабрики одна за другой останавливались, магазины закрывались, а те, которые еще функционировали, поражали своей унылой пустотой. Трамвай ходил плохо. Рынок влачил жалкое существование. Хлеба не было: по карточкам выдавали то четверть, то осьмушку фунта в день, в вольной же продаже хлеб встречался редко и стоил очень дорого. Каждую ночь происходили обыски и аресты, а часовые, стоявшие у правительственных зданий и казенных учреждений, для развлечения то-и-дело стреляли в воздух. По вечерам эти военные упражнения производили жуткое впечатление. Настроение у обывательской массы и интел-

лигенции было мрачное и озлобленное. Все, кто мог стремился бежать куда глаза глядят, а кто не мог, смотрел волком на соседа и, казалось, готов был перервать ему глотку. По городу циркулировали самые фантастические слухи. Каждый день сообщали о новых заговорах и восстаниях, о новых репрессиях Чека в отношении недовольных, о германских батальонах, расквартированных в центре столицы, о всеобщем походе Антанты на Советскую Россию. Убийство Мирбаха многими было воспринято как сигнал к кровопролитию, и это еще больше усиливало всеобщую нервность и напряжение. Миллионный город казался стоящим на вулкане, и каждый ждал с минуты на минуту начала извержения. Того великого и истинно-революционного, что творилось в описываемый период в Красной столице, я тогда не видел, не понимал. И потому, когда поезд вынес меня за околицу Москвы, я невольно вздохнул с облегчением.

Мой путь первоначально лежал в Казань. Ничего замечательного по дороге туда со мной не случилось, никаких любопытных встреч и разговоров в памяти не удержалось. Осталось только одно яркое впечатление: уже ближе к Волге на какой-то небольшой станции появились бабы, продававшие большие, аппетитные караваи белого хлеба. На нас, голодных москвичей, давно уже отвыкших от такой роскоши, эта картина произвела потрясающее впечатление. Все пассажиры выскочили на перрон, и в один миг белые караваи исчезли из рук крестьянок.

В Казань я приехал утром 2-го августа. День был хмурый и дождливый. Оставив вещи на вокзале, я отправился в город для того, чтобы разыскать указанных мне еще в Москве лиц. На первых же шагах я натолкнулся на дикую сцену: посреди улицы стоял молодой парень в военной форме с взведенным револьвером в руках, против него на тротуаре стоял штатский мужчина неопределенного возраста и вида. Военный кричал:

— Так ты пойдешь? Ты пойдешь за мной, такой-сякой?..—и дальше следовали некоторые энергичные «истинно-русские» выражения.

Штатский ежился под дулом револьвера и, стараясь незаметно улизнуть, бормотал вполголоса:

— Так мы что... Мы можем...

И вдруг, улучивши удобный момент, пустился со всех ног вдоль по улице. Военный бросился за ним. Несколько пуль прожужжали в воздухе, но штатский продолжал бежать. Вот он вскочил на мостик, перекинутый через какую-то речку, торопливо перекрестился и сразу бухнулся вниз, в воду. Еще мгновение, и он быстро плыл по течению, стараясь держать голову в воде, а военный бежал по берегу и выпускал одну пулю за другой. Наконец, оба скрылись за поворотом, и финал сцены остался мне неизвестным.

«Не весело встречает меня Казань»,—невольно подумал я и, ускорив шаги, направился на розыски нужных мне знакомых.

Неудачи однако преследовали меня. До 3-х часов я ходил из конца в конец по городу и все понапрасну: одни из нужных мне лиц выехали в уезд, другие были так напуганы, что просили меня как можно скорее удалиться. Дело

принимало скверный оборот, и я уже начинал беспокоиться относительно своего ночлега. С большим трудом мне удалось разыскать скверненький номерок в какой-то небольшой гостинице и расположиться там с моим несложным багажем.

На следующий день поиски мои продолжались и уже с бо́льшим успехом. Я узнал, что фронт проходит в 30-40 верстах от Казани, что есть возможность прорваться через этот фронт сухопутным путем или по Волге и что завтра или послезавтра как раз собирается группа желающих пробраться в Самару. Я просил включить и меня в эту группу и, с расчетом двинуться на другой день, занялся некоторыми подготовительными работами.

На другой день двинуться однако не пришлось. С вечера 4-го августа началось наступление чехо-словаков и «народной армии» на Казань. В'езд и выезд из города стал невозможен. По улицам то-и-дело грохотали провозимые орудия, проносились конные отряды, пробегали красноармейцы в одиночку и группами. Затем начался обстрел Казани чехо-словаками: через ровные промежутки времени гулко ухали, где-то на Волге или за Волгой, пушки, к небу поднимались небольшие клубящиеся облачка и затем на землю падало что-то громкое и тяжелое. Было немного жутко и вместе с тем занимательно смотреть на эти вспыхивающие облачка и прислушиваться к этим странно-необычным звукам. В своем номере я нашел забытую кем-то книгу воспоминаний различных писателей и людей искусства о Чехове. Я сидел у окна, читал книгу и время от времени подымал голову к небу. Маленькие облачка неизменно вспыхивали, грохот падающих ударов раздавался то здесь, то там. И, созерцая эту картину, я невольно думал о том, как мало в ней чеховского, и еще о том, что чеховская Россия умерла и больше не воскреснет.

5-го августа наступление продолжалось. Чехо-словаки подходили все ближе. Началась ружейная перестрелка. Затрещали пулеметы. По улице мимо нашей гостиницы торопливо пробежал расстроенный отряд красноармейцев и затем пули как град посыпались вдоль улицы, по мостовой, по стенам домов, по церковной колокольне, находившейся напротив гостиницы. Только впоследствии, уже в Самаре, я узнал чем был вызван этот пулеметный ураган. Рядом с гостиницей, где я помещался, находился Госуд. банк, в котором хранились золотые запасы Республики. Войскам Комитета Учредительного Собрания был дан приказ во что бы то ни стало захватить эти запасы. Небольшому отряду из состава комитетских войск удалось раньше других прорваться в город и занять позицию не подалеку от банка. Он устроил там баррикаду и все время держал подступы к банку под пулеметным огнем, препятствуя, таким образом, вывозу золота из Казани. Золото было действительно захвачено, наша же гостиница вся оказалась избитой по наружной стене пулеметными выстрелами. Несколько пуль попали даже в номера и произвели страшный переполох среди обитателей гостиницы.

К вечеру 6-го августа борьба была решена. Красные войска поспешно отступали за город, а в город со стороны Волги вступали чехо-словаки и батальоны «народной армии». Почти одновремено с комитетскими войсками на

улицах Казани показались вооруженные группы каких-то молодых людей с белыми повязками на рукавах, которые носились по городу в грузовых автомобилях, врывались в дома, арестовывали подозрительных по большевизму людей и вообще очень много шумели и кричали.

7-го августа Казань была окончательно занята войсками комитета, и я, таким образом, сразу очутился по ту сторону фронта. Перестрелка в городе стихла, внешне воцарилось спокойствие. Улицы сразу наполнились шумной толпой. Магазины открылись, рестораны заработали с удвоенной силой. Я вышел из своего невольного заключения и отправился бродить по городу. На каждом шагу я натыкался на следы только что разыгравшейся борьбы: на мостовых валялись неубранные трупы красноармейцев, стояли брошенные на произвол судьбы орудия, с крыш кое-где выглядывали жерла пулеметов. Местами нога попадала в лужу полузасохшей крови, местами взгляд ловил останки лошадей с вырванными внутренностями и судорожно скрюченными ногами.

По углам улиц, у общественных и государственных учреждений, стояли военные посты. Все это были по большей части чехи, плохо или совсем не говорившие по-русски. Около них собирались любопытные обыватели и пытались вступить с ними в дружеский разговор. Одновременно начались расправы с большевиками. По городу ходили слухи, передававшиеся из уст в уста, об убитых, расстрелянных, растерзанных на части коммунистах. Говорили о сотнях, даже о тысячах жертв. В тот момент я не имел возможности проверить эти слухи, но самому мне пришлось быть свидетелем двух глубоко возмутительных сцен.

Днем 7-го августа, идя по одной из Казанских улиц, я заметил издали собравшуюся толпу. Подойдя ближе, я увидал такую картину: у забора стояли двое молодых парней, по внешности видимо рабочих, страшно бледных с кровавыми шрамами на лице. Против них стояло человек 5 чешских солдат с поднятыми винтовками. Кругом толпа шумела и улюлюкала по адресу рабочих. Какой-то толстый лавочник, ожесточенно размахивая руками, во всю глотку орал:

— Это большевики! Лупи их, лупи их в мою голову!..

Раздался залп, и оба рабочих, беспомощно взмахнув руками, упали на землю.

Несколько часов спустя, уже под вечер, пересекая центральную часть города, я был невольно увлечен людским потоком, стремительно несшимся куда-то в одном направлении. Оказалось, все бежали к какому-то большому четырехугольному двору, извнутри которого раздавались выстрелы. В щели забора можно было видеть, что делается во дворе. Там группами стояли пленные большевики, красноармейцы, рабочие, женщины и против них чешские солдаты с поднятыми винтовками. Раздавался залп, и пленные падали. На моих глазах были расстреляны две группы, человек по 15 в каждой. Больше я не мог выдержать. Охваченный возмущением, я бросился в социал-демократический комитет и стал требовать, чтобы немедленно же была послана депутация

к военным властям с протестом против бессудных расстрелов. Члены комитета в ответ только развели руками:

— Мы уже посылали депутацию,—заявили они,—но все разговоры с военными оказались бесплодными. Чешское командование утверждает, что озлоблению солдат должен быть дан выход, иначе они взбунтуются.

Я отправился к с.-р., там господствовала та же растерянность. Ни та, ни другая партия не оказывались в состоянии держать в руках воинскую силу, действовавшую именем демократии. Это была первая царапина, проведенная жизнью по моей стройной теоретической концепции, но тогда я не обратил на нее должного внимания. Казанская история казалась мне случайностью, а не символом.

В с.-р. комитете я встретился с В. М. Зензиновым, с которым мы тут же условились на другой день вместе ехать в Самару. Затем я побывал у В. И. Лебедева и Б. К. Фортунатова, командовавших войсками, взявшими Казань, и получил от них первые более точные сведения о Комитете членов Учредительного Собрания. Настроены они оба были очень оптимистически, только что одержанная победа пьянила им голову и они с уверенностью утверждали, что не позже как через два месяца все мы будем в Москве.

Вечером в тот же день состоялось меньшевистское собрание, на котором обсуждалось создавшееся положение и, где после довольно оживленных дебатов, было решено оказать всемерную поддержку новой власти в Казани. Беспозвоночная политика Центрального Комитета давала свои плоды!

8-го вечером я выехал на пароходе «Амур» в Самару. Это был не пассажирский пароход, а пароход специального назначения. Он был вооружен пулеметами и имел на борту не совсем обычную публику. В каютах парохода разместились члены Учредительного Собрания, эс-эровские цекисты, эс-эровские и эс-дековские партийные работники, солдаты добровольческих отрядов, сформированных Комитетом Учредительного Собрания. На пароходе, кроме того, ехала почти вся академия генерального штаба, во главе с профессором Андогским, в сопровождении жен и детей. Эта академия была эвакуирована большевиками из Петрограда в Екатеринбург, потом из Екатеринбурга в Казань и теперь направлялась в Самару с тем, чтобы далее двинуться в Сибирь. Генерал Андогский очень заискивал перед с.-р. и до небес превозносил стратегические таланты Фортунатова и Лебедева. В разговоре с Зензиновым он доказывал, что взятие Казани является одним из замечательнейших событий военной истории. Кажется, он сравнивал его с взятием Очакова Петром Великим.

Хотя путь от Казани до Самары был очищен от большевиков, тем не менее наш пароход шёл с большими предосторожностями. Ночью он гасил огни и на палубе выставлял часовых. В нескольких местах пароход окликали стоявшие на реке сторожевые суда. Тогда пароход приостанавливал свое движение, обменивался паролем с вопрошавшими и затем проходил дальше. Уж на рассвете я был внезапно разбужен сильным шумом и стуком на палубе. Я поднял голову и прислушался. С берега кто-то стрелял из вин-

топок, и частые пули стучали по железной обшивке парохода. Наши солдаты с грохотом поворачивали пулемет. Еще момент и пулемет запел свою песню. Потом все стихло. Пароход сразу пришел в движение, и скоро все снова погрузилось в сон.

В Симбирске мы сделали небольшую остановку. В этом тихом провинциальном городе, даже в эпоху социалистической революции, напоминавшем собой старинное дворянское гнездо, нас ждали не очень веселые вести. Фронт от города проходил всего в 12 верстах по правому берегу Волги и, по словам управляющего губернией, нажим со стороны большевиков в последнее время значительно усилился. Если подкрепления во-время не придут, красные через две-три недели займут Симбирск. Управляющий усиленно просил меня и Зензинова похлопотать в Самаре, чтобы войска были доставлены без промедления, иначе порвалась бы связь между Самарой и Казанью. Потом мы все вместе вышли на высокий берег Волги, с которого открывается дивная панорама на величавую реку и на степи противоположного берега,—вероятно, одна из лучших панорам в России,—и стали в бинокль рассматривать линии расположения наших и большевистских войск. Нам было не до красот природы!

К вечеру пароход покинул Симбирск и, быстро проскочив под покровом ночи расстояние, отделяющее его от Самары, утром оказался в виду берегов «столицы Учредительного Собрания».

## III. В Самаре.

Первые впечатления от Самары были очень благоприятны. Пароход пришел около 7-ми часов утра. Все учреждения еще были закрыты, все друзья и знакомые еще спали. Но так как приехавшим не сиделось на месте, то они в ожидании начала присутственных часов, решили сделать небольшую рекогносцировочную прогулку по Самаре. Вместе с несколькими товарищами по путешествию я отправился бродить по улицам города, в котором работал лет за пятнадцать перед тем, на заре моей революционной деятельности.

День был яркий и солнечный. По улицам сновало много народу, громыхали телеги с какими-то грузами, стояли разносчики с лотками, продававшие с'естные припасы и всякую мелочь, бегали газетчики с только-что выпущенными из типографии номерами. Выставки магазинов были полны всевозможными товарами, являя резкий контраст с товарной пустотой, зиявшей в то время в московских магазинах. Вся картина города носила хорошо знакомый, привычный, «старый» характер, еще не нарушенный горячим дыханием социалистической революции. И это невольно ласкало наш глаз, глаз противников советского режима.

Высшего пункта наше настроение достигло, когда мы пришли на рынок. Эти горы белого хлеба, свободно продававшиеся в ларях и на телегах, это изобилие мяса, битой птицы, овощей, масла, сала и всяких иных продовольственных прелестей нас совершенно ошеломило. После Москвы 1918 г. са-

марский рынок казался какой-то сказкой из «Тысячи и одной ночи». Притом, цены на продукты были сравнительно очень умеренны. Наша компания тут же накупила всякой всячины и отправилась пить чай в расположенное на рынке, довольно грязное и заплеванное «Чайное зало».

Напившись и наевшись, мы двинулись на розыски знакомых. Кое-кто отправился по делам. Весь первый день прошел в каком-то розовом чаду. Наш приезд случайно совпал с открытием самарского университета. По этому поводу было устроено большое торжество. Город был разукрашен флагами, арками и гирляндами, газеты выпустили специальные номера, ученые и общественные учреждения посвятили новорожденному блестящие собрания, на которых выступали с речами члены правительства и видные партийные деятели. Особенным именинником чувствовал себя министр народного просвещения, член Учредительного Собрания Е. Е. Лазарев, большой охотник поговорить и поиграть в официальность. В этот день он вполне удовлетворил свою страсть к красноречию. После обеда, на главной улице города происходило катание местной буржуазии. Лошади были сытые и хорошие, пролетки блестяще-лакированные, дамы, сидевшие в пролетках, все в золоте и бриллиантах. По тротуарам толпилась пестро-разряженная публика и подобострастно передавал из уст в уста имена самарских богатеев, проносившихся по улицам, и суммы принадлежавших им состояний. И здесь картина была так хорошо знакомая, привычная, «старая». Никакого намека на социалистическую революцию! И опять-таки нам, противникам советского режима, это казалось милым и приятным.

Нас, как приезжих, весь день таскали с собрания на собрание, с торжества на торжество. Нам рассказывали, об'ясняли, демонстрировали. Вечером я вместе с Зензиновым, Гендельманом, Брушвитом и некоторыми другими попал в какой-то художественный «Подвал» самарской богемы, где было много артистов, художников, студентов, военной молодежи из «народной армии» и большое количество пестро-разодетых дам и девиц. В этом «Подвале» было очень весело: декламировали стихи, пели песни, играли на рояле, произносили речи, посвященные событию дня. Было и немного политики. Помню, Брушвит, торжественно бия себя в могучую грудь, клялся, как «старый студент», в течение пятнадцати лет не окончивший университета, оказывать всяческое содействие вновь народившейся высшей школе.

Только часам к двум я вернулся домой. Я уже засыпал, когда пришел мой сожитель по номеру, старый эс-эр, знакомый мне по 1905 г., и, растолкав меня, спросил:

— Хотите быть министром?

— Я хочу спать,—отвечал я, поворачиваясь на другой бок.

Но мой сожитель не унимался.

— Я не шучу,—продолжал он,—сегодня было заседание Комитета членов Учредительного Собрания и там было решено предложить вам пост министра труда. Мне поручено переговорить с вами.

Я предложил собеседнику отложить «министерские разговоры» до за-

етра и затем, утомленный пестрыми и разнообразными впечатлениями моего первого самарского дня, скоро погрузился в сон.

На следующий день, однако, мне пришлось вплотную подойти к решению «министерского» вопроса. При моих тогдашних настроениях, участие в правительстве Комитета членов Учредительного Собрания не представляло для меня чего-либо странного и невозможного. Я знал, как остра у Комитета нужда в людях, годных для дела государственного управления, я сознавал огромное значение для него установления хороших отношений с пролетариатом и, потому, готов был помочь Комитету в его трудной задаче своей работой в ведомстве труда. Но, конечно, занять министерский пост на свой личный риск и страх я не считал возможным. Я обратился за советом и решением по данному вопросу к своей партии.

История взаимоотношений между Комитетом и меньшевиками «территории Учредительного Собрания» в кратких чертах была такова: первоначально, когда Комитет только-что образовался, меньшевики заявили о своем лояльном отношении к нему, но от прямой поддержки, в особенности, от участия в власти, отказались. Однако, в процессе дальнейшего развития, они этой линии выдержать не могли: обстоятельства слишком властно требовали занятия совершенно определенной и недвусмысленной позиции. В начале августа, за несколько дней до моего приезда, в Самаре состоялась Конференция меньшевистских организаций «территории Учредительного Собрания». Присутствовали представители от Самары, Симбирска, Оренбурга, Уфы, Екатеринбурга и ряда других городов, всего от 11-ти организаций. Главным предметом обсуждения на Конференции был вопрос об отношении к Комитету членов Учредительного Собрания. Этот вопрос был разрешен в смысле оказания ему безусловной поддержки со стороны партии. Тут же был выбран Областной Комитет Р. С.-Д. Р. П. «территории Учредительного Собрания», которому и поручалось проводить данную линию политики в жизнь.

В интересах лучшего понимания дальнейшего, считаю необходимым подчеркнуть, что в конце июня или в начале июля 1918 г. Центральным Комитетом Р. С.-Д. Р. П. было принято постановление, согласно которому в районах, оторванных от Москвы гражданской войной, верховное руководство партийной работой переходит к областным или краевым комитетам, избираемым на С'езде представителей партийных организаций данной области или данного края. В эти комитеты должны также входить те члены Центрального Комитета, которые оказались бы на соответственной территории. Таким образом, в районе власти Комитета членов Учредительного Собрания высшей партийной инстинцией, по букве и духу решения Ц. К., являлся созданный в начале августа Областной Комитет. К нему мне, очевидно, и необходимо было адресоваться для решения вопроса о принятии или непринятии предложенного мне министерского поста. Я так и сделал.

Областной Комитет отнесся к сделанному мне предложению вполне сочувственно. Однако, прежде, чем давать на него окончательный ответ, я решил обстоятельно поговорить с председателем Комитета членов Учредитель-

ного Собрания В. К. Вольским. В разговоре с ним, я постарался выясни себе во всех деталях основные линии общей политики Комитета и, убеди шись, что они для меня и для партии приемлемы, я, со своей стороны, указ на те специальные условия, при наличности которых я мог бы взяться за упр вление ведомством труда. Полагая, что демократическое государство обяза гарантировать пролетариату охрану его законных интересов, путем прое дения определенной программы социальных реформ, я считал необходимы чтобы Комитет гарантировал мне возможность издания нижеследующего ря законов:

1. О 8-ми часовом рабочем дне.
2. О минимальной заработной плате.
3. О свободе коалиций.
4. О страховании от безработицы.
5. О реформе больничного страхования.
6. О реформе страхования от несчастных случаев.
7. О промысловых судах.
8. О трудовой инспекции.
9. О трудовом договоре.
10. Об арбитражных судах.

В. К. Вольский мне ответил:

— Вашу программу мы принимаем. Идите и делайте то, что находи необходимым.

После разговора с В. К. Вольским у Областного Комитета партии отпа всякие дальнейшие сомнения, и мне было дано официальное разрешение занятие поста управляющего ведомством труда. Принятая по этому пово и напечатанная в меньшевистской «Вечерней Заре» от 16-го августа 1918 резолюция гласила следующее:

«1. Принимая во внимание, что в настоящий момент перед револю онной демократией стоят задачи спасения страны и воссоздания единой . мократической России, настоятельно требующие максимального сплочения сил под знаменем Всероссийского Учредительного Собрания.

«2. Что эта цель легче и полнее может быть достигнута на почве по. жительной работы по восстановлению нормальной экономической и госуд ственной жизни страны.

«3. Что одним из важнейших моментов подобного восстановле является урегулирование взаимоотношений между трудом и капиталом с ким расчетом, чтобы, при гарантии свободного развития производительн сил, интересы трудящихся были всемерно охранены методами широких циальных реформ, осуществимых в рамках капиталистического строя.

«4. Что политика Комитета членов Всероссийского Учредительнего ( брания до сих пор в общем соответствовала указанным выше задачам с сения революции и воссоздания единой демократической России, и, судя

заявлениям его ответственных представителей, обещает остаться таковой и в дальнейшем.

«5. Что при таких условиях долг и обязанность социал-демократии оказать всемерную поддержку Комитету членов Всероссийского Учредительного Собрания в стоящей перед ним грандиозной творческо-государственной работе,—

«Областной Комитет Р. С.-Д. Р. П. территерии Всероссийского Учредительного Собрания постановляет:

«Санкционировать занятие тов. Майским предложенного ему Комитетом членов Всероссийского Учредительного Собрания поста управляющеге ведомством труда».

Как видно из предыдущего, мое вступление в правительство Комитета членов Учредительного Собрания совершилось с строгим соблюдением всех предписанных партийными канонами юридических норм. Никакого постановления Ц. К., запрещающего членам партии участвовать во власти на территориях, отвоеванных контр-революцией у большевиков, до дня моего от'езда из Москвы не было. Если впоследствии такое постановление Ц. К. даже и состоялось (хотя мне об этом ничего не известно), то во всяком случае оно не было сообщено Самарокому Областному Комитету. В отсутствии решения Ц. К. Областной Комитет был правомочен выступать на своей территории, как верховная партийная инстанция. Поэтому, когда в сентябре 1918 года Ц. К. устранил меня из своего состава за участие в правительстве Комитета членов Учредительного Собрания, он юридически действовал беззаконно. А его ссылка на совершенное мной, якобы, нарушение его резолюции, запрещающей меньшевикам участвовать в контр-революционных правительствах, было актом настоящего политического лицемерия, так как самое существование такой резолюции является вообще сомнительным, да и «революционная» поза Мартова и Дана совершенно не соответствовала обстоятельствам. Мое участие в правительстве Комитета членов Учредительного Собрания нисколько не противоречило тогдашней позиции меньшевистского Ц. К. Я сам, еще будучи в Москве, не раз слышал, как Мартов высказывал мнение, что в Самаре можно ожидать создания истинно-демократической власти. Другие члены Ц. К. были еще оптимистичнее. Меньшевики же, как известно, в 1917—1918 г.г. считали своим долгом оказывать всемерную поддержку господству демократии. Неудивительно, поэтому, что, когда в Самаре стало известно о моем устранении из Ц. К., Областной Комитет в заседании 28-го сентября единогласно принял следующую резолюцию:

«Областной Комитет Р. С.-Д. Р. П. территории Всероссийского Учредительного Собрания ввиду газетных сообщений о том, что тов. И. М. Майский, в связи с занятием им поста управляющего ведомством труда Комитета членов Всероссийского Учредительного Собрания, устранен из состава Ц. К. Р. С.-Д. Р. П., постановил,—

«Предложить Ц. К. пересмотреть свое решение, так как тов. И. М. Майский занял упомянутый пост с согласия Областного Комитета, который на

основании решения самого же Ц. К. является руководящим партийным органом на территории Всероссийского Учредительного Собрания, как в районе, оторванном от Ц. К.».

Эта резолюция была послана с оказией через фронт, но дошла ли она до Ц. К. и подвергалась ли его обсуждению, не знаю.

Как бы то ни было, но вопрос был решен. 14-го августа я был официально назначен управляющим ведомством труда и с этого момента тесно связал свою судьбу с судьбой Комитета членов Учредительного Собрания.

Что же представлял из себя названный Комитет?

*(Продолжение следует).*

# Проблемы нового мира[1]).

## Дж. А. Гобсон.

Правительства воевавших держав действовали только из-за побуждений инстинкта самозащиты, когда бросали в тюрьму работников и работниц, порицавших «капиталистическую войну». Спервоначалу обвинение состояло в том, что подобные заявления вредят делу набора и ослабляют дисциплину в армии. Но это было лишь предлогом. При разборе дела в суде почти не считали нужным привести доказательство подобного вреда, и обстоятельства дела оказывались такого рода, что не могли задеть ни набора, ни дисциплины. Настоящий мотив подобных преследований лежит в естественном чувстве обычной обиды против осквернения святого дела. Преступление уподоблялось измене или святотатству. Но в глубине этого покоилось неопределенное и не выраженное чувство страха. Это был страх за существующий строй, за капиталистическую систему в политике и промышленности; боялись, как бы война, задержавшая рост беспорядков и создавшая выгодное единение народов, не поставила бы всюду, после своего окончания, правящие классы собственников перед лицом наступающей пролетарской революции. Это ощущение грядущего возмездия больше, чем что бы то ни было, заставляло правительство уклоняться от заключения честного мира. Под поверхностью всей этой нерешительности борющегося империализма и дележа добычи, прикры-

---

[1]) От редакции. Имя Джона Гобсона едва ли нуждается в подробной характеристике. Гобсон—известный английский экономист. В теоретическом отношении—эклектик, он в области политики разделял позицию фабианцев и выступал в качестве сторонника социальных реформ. Исследуя капитализм, он много работал над свойственными этому строю социальными язвами и выпустил ряд работ, широко известных у нас в русском переводе („Эволюция современного капитализма", „Проблемы безработицы" и т. д.). В своей ставшей знаменитой книге об империализме Гобсон чуть ли первый вложил в это понятие современное его понимание. После мировой войны Гобсон вслед за Энжеллом и Кейнсом выступил с требованием ревизии Версальского договора. Печатаемая редакцией статья взята из новой довольно объемистой книги „Проблемы нового мира", вышедшей из печати в Англии в конце 1921 г. Эклектизм автора сказался и здесь особенно в конце статьи в вопросе об устойчивости капитализма. Редакция в одном из ближайших номеров посвятит этому вопросу—как он поставлен у Гобсона—особую статью.

той священными фразами о справедливости, лежит инстинктивное нежелание очутиться перед лицом «революционной» музыки. Даже до падения русского самодержавия, шум волн накопившегося недовольства и поднявшееся движение организованных рабочих в военной и других важных отраслях промышленности, заставлявшее правительство откупаться уступками, служило предзнаменованием то в той, то в другой стране. Но вспыхнувшая революция в России в 1917 г., с ее полным разрушением существующего строя и ее драматическим соединением политики и экономики под владычеством пролетариата, была недостаточно оценена правящими кастами Запада, как новая серьезная опасность.

Они не могли разглядеть действительного значения происходящих событий. В их глазах это было взрывом преступного фанатизма, который по игре случайности утвердил для небольшой группы олигархии революционных коммунистов кратковременное царство терроризма. Они были склонны уничтожить его, но они не без основания боялись, что открытая и решительная попытка сделать это отразится на их идеалистических заявлениях, и без того взятых под подозрение утомленным войной и разочарованным народом. И поэтому они не отважились на открытую войну. Но они и не осмелились заключить мир с большевиками. Находились у них советчики, которые рекомендовали им бороться, чтобы истощением довести Россию до более глубокого отчаяния, в надежде, что отчаяние приведет к сильной власти, способной держать пролетариат на своем месте и сохранять верность западноевропейским кредиторам. Хотя они и пробовали прибегать к этой политике, но не решались поставить на карту достаточно людей и денег для нового испытания такой политики. Кроме того активная и дорого стоющая интервенция плохо согласовалась бы с их постоянными утверждениями, что большевизм осужден на скорую гибель, благодаря внутренней его несостоятельности и растущему возмущению населения. Ввиду этого имела место лишь ограниченная интервенция с «санитарным кордоном» для защиты Западной Европы от большевистской пропаганды. Колебания и отсрочки создали выгодное состояние неуверенности, которое не вело к большой трате общенародных усилий, а в то же время оправдывало сохранение чрезвычайных полномочий для того или иного правительства. Здесь не место дискутировать об этичности подавления пропаганды, или толковать о том, что лучший путь уничтожить ошибку, это выставить ее на солнце. Достаточно констатировать безумие тех, которые полагали, что насильственное запрещение опубликовать речи Ленина в нашей стране могло помочь делу сохранения частной собственности и социального строя (как было дело в апреле 1918 г.).

Рабочие нашей страны не являются искусными диалектиками. Но когда правительство им вдруг заявило, что большевизм обречен на гибель, ввиду неверности идей, которые он претендует осуществить, и что эти идеи столь опасны, что их появление здесь недопустимо, то этим оно могло лишь увеличить любопытство и интерес рабочих к ним. Безумие политиков пошло еще дальше, когда они вместе с прессой старались у нас, во Франции и в Аме-

рике, прикрепить большевизм, как позорную этикетку, ко всему активному рабочему движению и социалистической пропаганде.

Итак, нам важно понять, почему это учение кажется действительно опасным правящим классам собственников. Главная опасность его не была сначала ясно осознана; они изображали его неверным не только вследствие его синдикализма, его стремления заменить «территориальную» демократию «функциональной» и изгнать паразитические классы, не только как революционный метод, они его критиковали, но и как доктрину и как образец применения революционного метода. Демократическое движение Западной Европы развивалось со времени крушения революции 1848 года все больше в направлении реформизма и оппортунизма. Правда, репрессии против анархизма и социализма, сурово применяемые в периоды паники, на-ряду с голодом, время от времени капиталом для подавления бастующих, хотя поддерживали существование революционных групп, в глазах которых насилие было акушеркой реформы, но лейт-мотивом демократического движения на Западе, как на практике, так и в принципе, был компромисс.

Помимо этого, рабочий класс был вышколен в духе терпеливости и умеренных надежд, и хотя некоторые буйные умы смогли пробудить в нем потребность своего царства тут же за столом, все же доктрины пролетарского господства, как последствие победоносного насилия, не находили широкого и глубокого отклика. В течение второй половины столетия расширение народного представительства в государстве и повышение уровня жизни и условий работы квалифицированных рабочих оказались достаточными, чтобы отдалить насильственное утверждение пролетарской власти. Это было отчасти делом сознания, основанного на солидных фактах, что они приобретают почву под ногами, и следствием недоверия к насилию и скачку в неизвестность. Частью это было результатом недоверия к «мыслителям» и с их «идеалами» и «утопиями». Мы уже констатировали раньше разочарование и огорчение, которое принесло с собой новое столетие с его туго затянутой петлей власти капитала, с постепенным уменьшением реальной заработной платы и ничтожным влиянием рабочего класса на государство. Поразительные примеры разбитых иллюзий можно найти в любой стране. Значительные социалистические и рабочие партии участвуют во всех буржуазных парламентах, кроме Америки, некоторые из их членов, во Франции и в Англии, заняли даже правительственные посты. Таким образом, парламентаризм оказался также бессильным добиться реформы или остановить развитие реакции. Рабочий класс терял свои пасифистские и конституционалистские настроения, и политика его все больше становилась на путь конфликтов, и получил распространение синдикализм, правда, меньше в теории, чем на практике. Эволюция снова готовилась приставить свое заглавие: красное Р. Но нигде не было ясного плана, нигде, кроме как у нескольких почти игнорируемых мыслителей, не было революционного плана. «Беспорядки» стали тем неподходящим мягким выражением, которое журналисты сделали общим достоянием, но речь шла о чем-то более положительном, чем о беспорядках. Это было замешатель-

ство, несущее в себе элементы социального взрыва. Гарантией от этого взрыва казалось отсутствие какого-нибудь общего понимания цели или направления. Государство верой в свою глубокую устойчивость, правительство, сознающее себя «источником цивилизации», в действительности не страшились столь слепого бунта. Общественный порядок был действительно нарушен. Основные процессы экономической жизни были расстроены, собственность была задета, к парламенту относились с презрением. Вождей и правления тред-юнионов массы освистывали. Но все это не делалось на основании убеждений, в этом не было определенной цели или ясной руководящей идеи. Поэтому все это не было очень опасно; только идеи, как таковые, опасны, так как лишь одни они могут указать путь.

И вот на эту почву общего разброда как в намерениях, так и действиях, свалилась война, и из дыма войны возникло чудо большевизма. Он оказывается единственным созидательным продуктом войны. Все остальное—распад и разрушение. Большевизм просто отстаивает новый политический и экономический строй в России. Он основан, по его утверждению, на принципах социальной справедливости и выгоды, направленных к упрочению действительного и плодотворного мирового товарищества работников и работниц, труд которых нужен для отвоевания у природы средств к существованию. Он признает гражданами только рабочих, включая сюда и работников умственного труда; только одни рабочие имеют право пользоваться плодами промышленности. Нет места в обществе для паразитов, для людей, которые во имя своего «владенья собственностью» претендуют на право есть, не работая. Всякое снабжение пищей, одеждой, жилищем паразитов, которых паразитизм сделал неспособными к производительному труду, является чистейшей филантропией. Такого рода «собственность» не имеет никаких прав.

Можно было бы заметить, что в этих революционных идеях нет ничего нового. Они были основным ядром социализма во все времена. Но до сих пор они были одной лишь проповедью. Ныне они являются с печатью осуществимости на себе. Верно, что это осуществление может оказаться кратковременным, может быть утвердится бесстыдная тирания насильнического меньшинства с помощью союзников и русских эмигрантов. Но нельзя отрицать заявления большевизма, что он претворил в дело революционные идеи. Допустим, что советское правительство не опирается на выраженную волю народа, что оно является продуктом небольшого организованного меньшинства «реалистов», насильно диктующего свою волю колеблющемуся соглашательскому народу,— но разве это говорит против закономерности его происхождения из войны? Насилие, как орудие достижения свободы и справедливости, для обеспечения царства демократии, было расписано на знаменах борцов за право во время борьбы народов. Под знаменем этой идеи (воли сознательного меньшинства каждой страны) народы бродили по колено в потоках крови во имя разрушения германского империализма. Победа одержана, и что же дальше? Насильственная воля победителей, диктующих свободу и справедливость разрушенной и не сопротивляющейся Европе. Если насилие в руках автократи-

ческих правительств есть единственный путь для завоевания свободы и справедливости для народов, то почему не может, не должно оно служить средством для завоевания свободы и справедливости вообще? Не должен ли какой-нибудь народ возвестить это открытие и соблазнить другие последовать своему примеру? Это не было ни делом случая, ни делом гения, а самой черной необходимостью, что Россия оказалась пионером. Вопрос о сокрушении германского милитаризма и освобождении демократии Германии был оттеснен в России вопросом о более близких обязанностях сокрушения русского милитаризма и освобождения «демократии» в России. Германия была неприятелем, и миллионы русских жизней были потеряны в борьбе с ней. Но там, в России, перед русскими, стоял более близкий неприятель, и естественная экономия сил перенесла борьбу из дальней арены на более близкую. Военные неудачи, разоблачения придворного разврата, чиновничьего воровства и измены были похоронным звоном для царизма. Но эта утомленность и разочарование войной не могли бы высвободить Россию из войны, если бы не был привнесен довод насилия с указанием другого выхода. Громадные массы русского народа, уверовавшие в возможность получения земли, устремились к ней с новой силой. Волнующиеся массы пролетариата в городах добивались, не вполне зная чего, — может быть фабрик, заводов и шахт, а главное, безусловного уничтожения власти хозяев и обеспечения сносного существования. В душе каждого человека во все времена глубоко таилась сокрытая и неопределенная жажда к материальному благополучию и свободе, всегда готовая откликнуться на зажигательные слова агитатора. Может быть, слишком много значения придают идеологическим учениям и их формулам в деле революции. Их разрушительная логика и их теории мало трогают простых людей, и не потому, что они не нужны или ничтожны. Но их действительная роль заключается в том, что они доставляют зажигательный материал агитаторам, являющимся иногда журналистами, иногда рядовыми мужчинами и женщинами, обладающими некоторым характером и чувством общественности. Марксизм — самое поразительное современное явление. Его хладнокровное абстрактное учение о неизбежной эволюции экономического строя и классового могущества, о сверхприбыли и господстве машины, учение, основанное на сочетании Гегелевской диалектики с обобщениями британского современного капитализма, не могло непосредственно затронуть души какого бы то ни было народа. Но оно может доставить стальное оружие убежденности для пропагандистов, когда они обращаются к интересам и вожделениям народа. Интересный процесс, по моему. Но это обращение не является плоским и нечестным призывом к низменным страстям, которые выявляют своей агитацией защитники существующего строя. Такой материал не выдержал бы опасного огня революции. Утверждать противоположное было бы клеветой на все человечество. Это предполагало бы присущность человеческой натуре известной степени безумия и порочности, что несообразно с историей человеческих учреждений. Революционное движение может быть плохо направлено или быть предано плохими вождями, но его происхождение не может

иметь источником коварные замыслы. «Причины восстаний—двух родов,—говорит Ф. Бэкон,—много нищеты и много недовольства». К этим болезням—в области материальных условий и настроения—агитатор и должен применить простые и убедительные средства. Социализм легко об'ясняет происхождение бедности и показывает, как недовольство может быть устранено. Но народ в существе своем нетерпелив, и как только ему указывают причину и лечение болезни, он требует немедленного удовлетворения. Это и означает революцию посредством силы. В России эта сила была на-лицо: солдатская масса, разбегающаяся, но еще недостаточно организованная, воспламененная фактом ниспровержения русского самодержавия, была готова содействовать уничтожению его политических и экономических сообщников, помещиков, капиталистов, чиновничества. Но, возразят, это не об'ясняет специальных особенностей большевизма и истинную сущность того инстинкта страха, который он вызывает в душе западно-европейских правителей. Когда наши идеальничающие государственные деятели разукрашивали войну лозунгами свободы и демократии, они умышленно орудовали выражениями и понятиями прошлого.

Им нужно было, по их же заявлению, умеренная революция в Германии и Австрии, может быть, даже и в России, так как они, хотя и признавали царизм, но вместе с тем не доверяли ему. Под умеренной революцией они разумели политические перемены, которые установили бы в этих странах демократию, господствующую в Англии, Франции, С. Штатах. Они правильно считали, что вопрос о монархии или республике есть дело местного удобства или вкуса, и не является сам по себе принципиальным. Им нужно было установление ответственного парламента, податливой демократии на широкой базе народной воли. Такая демократия, как показал опыт, прекрасно совместима даже при современных основных условиях—с сохранением капитализма в государстве и промышленности. Расширение избирательного права не представляло бы угрозы частной собственности или правящему классу, так как искусство политического управления быстро росло. Партия, пресса, церковный амвон, концертный зал, ресторан, кинематограф и всякие центры административного механизма были в их руках. Они наблюдали, как были низведены до бессилия рабочие и социалистические партии, которые грозили подчинить своему влиянию парламентарные правительства. Волны рабочей агитации, грозные, могли бушевать вокруг экономических устоев, но прочное капиталистическое государство могло с улыбкой и без огорчения взирать на них. Когда являлась необходимость для капитализма сделать уступки рабочим, в этом деле государственное законодательство стало принимать участие. Капитализм, с году на год упрочивающий свои позиции, мог итти на уступки, вознаграждая себя за них более строгим контролем цен и перемещением наиболее эксплоататорских форм промышленности в более отдаленные страны, где капиталу предоставляется больший простор для проповеди отсталым расам необходимости труда.

Но тут было одно крайне необходимое условие для существования гар-

монии между демократией и капитализмом. Демократия должна была быть только политической. Какие бы видоизменения и улучшения ни были введены в механизм демократии, они не заключали в себе опасного, если только промышленные организации непосредственно не затрагивались. Отмена всяких привилегий собственности, голосование для всех совершеннолетних, пропорциональное представительство, даже референдум и народная инициатива, крайние формы демократии,—легко совместимы с сохранением капиталистического строя в обществе. Собственность может хорошо всегда обороняться, если только демократия основана в последнем счете на территориальном представительстве, т.-е. на базе, которая не допускает тесного и действительного сообщества экономических интересов.

Взрыв негодования против идеи советов и отстаивание государственными деятелями и органами общественного мнения, явно недемократическими по своим симпатиям, моральной и политической правомерности учредительного собрания, избранного территориально, имеет свою юмористическую сторону. Но ими руководило правильное предчувствие, что если когда-нибудь понятие промышленного юнионизма будет воспринято, как избирательная идея, их участь решена. На первый взгляд могло казаться безразличным, будет ли происходить голосование по производственным группам или по территориальным, раз голосуют одни и те же лица. Интересно поэтому отметить, с какой смехотворной аккуратностью правители западно-европейских стран издали вынюхивали отрицательные стороны системы советов. Они единодушно приняли на себя роль чемпионов учредительного собрания, которое большевистский режим отверг. Ибо учредительное собрание означало правомерную политическую демократию, невинный характер которого подтвержден их собственным опытом. Не имело большого значения, что они увенчали демократическую позу активной поддержкой генерала Деникина, адмирала Колчака и других реакционных вождей, которые не претендовали даже на серьезное сочувствие народному самоуправлению. Инстинкт самозащиты не делал их склонными предоставить разрешение тяжбы между политической и промышленной демократиями самому народу. Поэтому они частично скрыли и свой страх, и недовольство советской системой, поставивши лишь в вину насилие и обман при ее проведении. Советское правительство—утверждали они, — ни в коем случае не выражало ни воли, ни согласия людей, носящих звание рабочих; оно является железным режимом террора, проводимого в жизнь небольшой кучкой фанатиков и преступников, благодаря их монополии на оружие и хлеб. Чтобы поддержать это мнение, они завели в своей прессе постоянные отделы пропаганды о жестокости большевиков, попутно отказывались дать доступ в Россию независимым журналистам или другим посетителям и запрещали статьи и листки, направленные к опровержению возведенных на большевиков обвинений или к защите их. Более того, были сделаны все официальные шаги для того, чтобы воспрепятствовать весьма важному опубликованию противо-обвинений в жестокостях, допущенных реакционными правительствами по отношению к России и Венгрии и

белой гвардией в Финляндии. Они надеялись, что таким способом им удастся удержать в известных границах общественное волнение по поводу их насильственного вмешательства в дела России, после того, как «война кончена». Они надеялись, что вместе со скорым крушением этого преступного заговора, они смогут еще позировать в роли освободителей русского народа. Для осуществления этой цели они применили два средства: вооруженная поддержка реакционеров и доведение до голода городского населения; сочетание обоих средств, по их мнению, могло бы оказаться действительным для сокрушения большевизма.

Теперь необходимо отдать себе отчет, насколько верны обвинения против большевистского правления. Ужасные преступления, зверства, совершенные в период внезапного широкого ниспровержения царизма, со своим длинным списком, может быть, и были. Может быть, также верно, что насилие и голод были применены класово-сознательным меньшинством при установлении и утверждении советского режима. Ни теория, ни практика революционизма не исключают этого предположения. По поводу этих двух пунктов исторического момента я сделаю лишь два замечания. Первое: ни один разумный человек не может ни верить, ни не верить в обвинения в жестокостях и зверствах, каким бы авторитетным лицом или свидетелем они ни были высказаны, если известно, что отказывают в действительной возможности или возражения или перекрестного допроса. Заявления защитников большевизма и, повидимому, независимых свидетелей (поскольку они минуют правительственную цензуру) направлены к дискредитированию обвинений врагов большевизма в отношении размеров насилия и степени поддержки, оказываемой народом этому правлению. Но и тут мы не можем питать доверия. По общим соображениям, я допускаю, что русский характер, одинаково склонный к взрывам зверства и покаяния, после долгих лет физического и нравственного угнетения, привнес в свои усилия освобождения и строительства страшные элементы мстительности и безжалости. Но это не дает специального оправдания союзникам, чтобы отказать Ленину и Троцкому в таком отношении, в котором они не отказывали бывшему царю, руки которого были запачканы кровью своего народа, а агенты его вытравливали начатки конституционной демократии.

Нет, тут есть один ключ к об'яснению поведения союзников. Ценой людей и достояния, жертвой принципов простой целесообразности, идея советов должна быть убита в России, Венгрии и всюду, где она найдет себе приют, чтобы они только не распространялись на Запад. Представление, что можно в наши дни помешать распространению идей, верных или неправильных, невинных или преступных, при помощи «санитарного кордона», кажется достаточно смешным, когда пытаются придать этому конкретную форму. Но правительства действительно не виноваты в такой глупости. Они не полагали, что их народам можно будет в конце концов помешать чтению речей Ленина или слушанию защиты большевистского эксперимента. Они только рассчитывали держать их вне советской пропаганды до тех пор, пока она не придет

с печатью явного успеха или полного поражения. Нужно было показать, что промышленная демократия, как результат пролетарской революции, невозможна, она должна была бы стать невозможной, раз потребовалась безграничная блокада с сопутствующим голодом и торжеством реакционного деспотизма при помощи союзного оружия. Такова была преобладающая политика союзных правительств до лета 1920 года, когда близость угрозы голодом не только для средней Европы, но и для Франции и Англии и полное падение кредита в торговле с другими странами, продающими хлеб и сырье, заставили западно-европейские правительства волей-неволей обсуждать вопрос о возобновлении экономических сношений с Россией, даже с риском признания Советского Правительства.

Почему же так важно было дискредитировать идею советов и помешать ее пропаганде? В прошлом истории западно-европейской политики, особенно у нас, нет никаких указаний на возможность нарушения хода исторического развития демократии в пользу совершению новой формы. Несколько лет тому назад никому не пришло бы в голову искать опасность в этом. Почему же это теперь кажется опасным? Ответ, я полагаю, ясен. Рабочий класс у нас и в других западных странах в своем постепенном и эмпирическом стремлении к лучшим условиям жизни и работы, вынужден был остановиться перед экономическими препятствиями, которых нельзя одолеть сочетанием тред-юнионизма с той случайной политикой, которую он обычно практиковал. Он вынужден был остановиться и задуматься. Новые методы изыскивались накануне войны. Идея синдикализма начала волновать рабочее движение. Она создала различные формы индустриального юнионизма и гильдейского социализма, основанных на пролетарском контроле нескольких отраслей промышленности и главных условий производства. Очевидное поражение тред-юнионизма в деле улучшения условий жизни и разочарование в эксперименте парламентарной рабочей партии способствовали синдикализму. Вера рабочих в избирательное право и парламентские деяния, которая со времени чартизма держала в крепкой узде тенденции революционного насилия в нашей стране, стала истощаться. «Капиталистическое государство» было основательно отгорожено от рабочих. Они не могли рассчитывать на управление парламентом. Члены рабочей партии в Палате Общин в политической игре оказались перед лицом министерского деспотизма, становившегося с каждым десятилетием все более сильным. Реальное временное влияние, которое присутствие Рабочей партии оказывало на приостановку или видоизменение капиталистических мероприятий, было мало заметно рабочему. Более того, наиболее серьезные жалобы рабочих на применение законов не были удовлетворены. Выбор нескольких рабочих на посты в департамент торговли, назначение кучки рабочих в суды, не могло быть реальной помехой для классового правительства. Таковым было ощущение более молодых рабочих. В районах, где рабочие более проникнуты классовым самосознанием, как в Кляйде, Южном Уэльсе, местами в Ланкашире и промышленном Миндлэнде, быстро рос могучий фермент экономического «синфей-

нерства», идея промышленного самоопределения вне государства. Революционный по своей вере в силу стачки, как оружие борьбы, но уклоняющийся от какой-либо конкретной творческой политики, он обнаруживал характер французского или итальянского синдикализма. Трезвые наблюдатели не считали его очень серьезным движением. Было неразумно полагать, что английские рабочие, как бы они ни были разочарованы непосредственной политикой, слепо порвали с методами политики и об'явили бы действительно войну существующему государству. В нашей крови и традициях нет такого оттенка анархизма. Все же опасность распространения большевизма кажется нашим правителям реальной, так как большевизм ставит целью не создать особую промышленную державу в противоположность политическому государству, а стремится завоевать именно это же государство, переменивши его основу. Государство, в котором право голоса будет предоставлено лишь признанным «рабочим», с голосованием не по территориям, но по профессиям, с парламентом рабочих, применяющим весь конституционный аппарат, создающим законы и заставляющим им повиноваться, такое государство превратило бы правительство из «податливой» политической демократии в «неподатливую» промышленную демократию. Рабочие численно, как часть населения, не считаются реальной угрозою собственности и управлению промышленности. Эти же рабочие, с их действительной силой в качестве делегатов производственных союзов, представляют совсем другой «номер».

Однако я не предполагаю, что наши правители и собственники серьезно опасаются, что русский большевизм, в чистом, настоящем виде, овладеет рабочим движением у нас. Не стоит ни на минуту останавливаться на рассмотрении точки зрения, согласно которой конференция тред-юнионов или какой-нибудь могущественный совет рабочих первоначально отвергнет существующие избирательные способы и с'импровизирует новую форму промышленного государства, которое должно притти в столкновение с существующим политическим государством. Однако еще менее вероятна та единственная альтернатива, что сам парламент сменит свою территориальную избирательную основу на профессиональную. Действительной причиной того, почему советы должны быть опорочены, является не страх за то, что мы будем подражать России, а боязнь, как бы рабочее движение не позаимствовало из этого эксперимента известный элемент пролетарской силы, которая, будучи соединена воедино с нашим перестроенным государством, будет прямым и могучим покушением на право собственности. Этот элемент, допущение функционального представительства в инстанции управления, может принять разные формы. Признание законом цеховых индустриальных союзов, как орудия для улаживания вопросов заработной платы, и других условий труда, для управления делом помощи безработных, выдачи пенсий и других вознаграждений, является вероятным шагом по пути к определенному законодательству, для определения места организованного пролетариата в нашей правительственной системе. Учреждение представительного правительства внутри нашего производства, от эле-

ментарной единицы в виде мастерской до общегосударственного промышленного совета, не может быть успешным, без определенного воздействия на политическое государство. Понадобятся законные права и полномочия; их потребуют и добьются те представительные учреждения, при которых организованный труд сумеет удовлетворить свои требования и интересы гораздо более конкретно, чем при одной политической власти.

Эта новая форма представительства, введенная вместо существующей формы и как дополнение к ней, претендует, во-первых, на то, что она является по существу более демократичной, и, во-вторых, что она ведет к лучшему управлению. Первое основано на утверждении, что общность работы больше сплачивает, чем соседство жилищ. Рабочий больше знает о своих товарищах по работе в заводах, шахте, верфи, магазине, фабрике, чем он знает о тех, которые живут на той же улице или доме, и с первыми у него больше общего. Более тесны сношения и общность интересов с товарищами по работе являются лучшей школой для общего стремления к политическому сотрудничеству, чем поверхностная и хрупкая связь простого соседства.

Второе основание вытекает из первого. Для рассмотрения экономических споров потребуются опытные представители, отобранные из соответственных отраслей промышленности, а не политические деятели вообще, выбранные случайной группой территориальных избирателей со смешанными профессиями и большей частью чуждые этим роковым вопросам. В защиту этого довода приводят еще то, что существующий режим весьма тяготеет в сторону опытных представителей интересов капитала. Между тем как производственное представительство труда ограничено небольшим количеством избирательных кругов, где территория случайно совпадает с профессией, как, например, в некоторых копях, ткацких и судостроительных центрах, капитал в его основных частях, промышленных, коммерческих и финансовых, имеет подавляющее влияние. Только прямое функциональное представительство, утверждают, может восстановить равновесие и предоставить труду подобающее ему место в улаживании политико-экономических дел.

Требование промышленной демократии нашло наиболее определенную форму в Англии в гильдейском социализме, который стремится отделить политическое правление от экономического, и одновременно приспособить их друг к другу. Принцип полного самоопределения в работе и производстве должен быть осуществлен в группах самоуправляющихся мастерских в районе и в виде национальных гильдий нескольких производств с федеральным правлением во главе, в виде конгресса национальных гильдий. Народ, как производитель, должен управлять и определять условия производства. Но политическое государство граждан-потребителей, избранное как до сих пор территориально, должно приобрести в собственность орудия производства и все фабрики, предоставив их в распоряжение гильдий на разработанных условиях применения их для общественной пользы. Государство будет получать с управляемой таким образом промышленности, в виде гильдий-

ских налогов, свои доходы для политического аппарата и тех общественных услуг, которые будут признаны не экономическими. Сверх того государство будет представлять интересы потребляющей публики, если возникнет какой-нибудь конфликт интересов производителей и потребителей в области цен или других вопросов снабжения; об'единенная конференция Гильдейского конгресса и парламента будет первой апелляционной инстанцией для всех споров и дел, в которых потребуется законодательный путь принуждения для выполнения законов [1]). В гильдейском социализме уже имеются свои группировки и фракции, и многие формы взаимоотношений между экономическим и политическим управлением смутно очерчены. Нельзя также сказать, что он дает работоспособный образец общества, в котором экономические и неэкономические элементы благосостояния получили гармоническое выражение. Наиболее близкий подход к такому гармоническому единению дан в пресловутом равновесии сил. Самоуправление в производстве, вероятно, неизбежно поведет к неудаче вследствие своей односторонности и непрерывного его расширения, ведущего к актуальному конфликту с политическим аппаратом. Если органическое единение будет достигнуто, то оно потребует, чтобы проблема социального строя получила свое одновременное выражение и в производстве и в политике, и чтобы человечество в новом строе представляло равные условия для роста и общности интересов при реформе как политической, так и экономической структуры.

Но нас непосредственно не интересует, в какой мере эти схемы верны, справедливы и практичны; они нас интересуют в виде доказательства для подтверждения того взгляда, что война способствовала созреванию и скорейшему наступлению новой эры в политической жизни общества, в которой права собственности и соответственные правительства подвергаются оспариванию и радикальному пересмотру. Пролетарское насилие на континенте является наиболее резким проявлением этой новой тенденции; представители интересов собственности и их авторитеты упорно указывают на это, как на доказательство преступности самой тенденции, но такая тактика все же не в состоянии потушить загоревшийся всюду в уме и душе людей новый дух искания причин и социальной справедливости.

Война сама по себе не укрепляет разума и не очищает страстей. Напротив, она нарушает ясное мышление, питает и развивает низменные чувства, и отдает индивидуальность под власть дикой толпы. Но когда человечество покончило с этим безумием и стремится оправиться от него, война может сразу оказаться и откровением и освобождением. Ныне миллионы людей, для которых Маркс и социалистические учения совершенно неизвестны, крепко впитали убеждение, что война по существу и по своей основной причине есть война капиталистическая.

Торговые пути, иностранные рынки, угольные и железнодорожные кон-

---

[1]) Дж. Д. Коль, Самоуправление в производстве—лучшее популярное изложение Гильдейской политики.

цессии, угольные станции, пути к нефти. каучуковые плантации, тропические продукты и рабочая сила для их обработки, колонии для выгодной эксплоатации, финансирование заграничных займов для управления иностранными делами, это все больше и больше становилось сущностью великих деловых «предложений». Опасный характер экономического соперничества, в котором правительства скрывались за стеной своих национальных представителей выявился в огромном росте военной промышленности, которая сама по себе есть наиболее зрелый и наиболее цветущий плод современного капитализма. Приготовления к войне были буднями капитализма, точно так же как война была высшим актом или подвигом капитализма. «По всем признакам это была война экономики, производства, снабжения, соперничающих наук, социальных организаций. Это была война хлеба, война машин, химическая война, война тканей и металла, война нефти» [1]). Это было бунтом машины против ее творца;—это злополучное извращение научной индустрии и применение ее для разрушения, а не творчество, вот что преследовало воображение всех обитателей. Разве могут люди, бывшие свидетелями работы шахт, машиностроения, судостроения, химического производства и банковского дела, всей этой гордости и надежд современного капитализма, наблюдавшие, как все они вдруг и сразу были обращены на убийство и разрушение, разве могут эти люди когда-нибудь восстановить свою старую веру в их благодетельные намерения! Они будут упорно возвращаться к вопросу, можем ли мы дольше сидеть, спать и работать под таким владычеством, когда тайно хозяева всех этих орудий и способов производства в состоянии из какого-либо корыстолюбивого мотива (а корысть их очевидный стимул) превратить их вдруг в орудия нашего разрушения.

К скрытым подозрениям насчет происхождения войны, к потрясающим переживаниям ее самой они прибавят свою долю размышления о способах и результатах заключения мира. Уголь и железо, это основа капитализма, заслонили все «принципы» территориальных соглашений; точно также торговые пути и порты обусловливали перекраивание новой Европы и раздел Азии между высоко заинтересованными покровителями и держателями мандатов; таким же образом военные долги, контрибуции и широкие кредитные операции определили преуспевание или нищету, рабство или свободу ряда поколений для народов, захваченных в сети войны. Все эти факты должны запечатлеться в уме каждого осведомленного гражданина и проникнуть постепенно в самые отдаленные углы народного сознания; и результатом этого явится большое увеличение недоверия к «собственности» и классовому государству, которое в течение нескольких поколений способствовало накоплению сознательности в рабочем классе.

Уже самый анализ дает ответ на наш первоначальный вопрос, почему правители западно-европейских государств выявляли такую готовность вы-

---

[1]) Дж. Л. Гарвин. Экономика мира.

травить большевизм, что они были склонны пожертвовать для этой цели, если нужно будет, и добрым миром и пасифистской Лигой Наций.

Возобновление войны в ее широком смысле невозможно. Сила противника сокрушена и, применяя умеренное количество военного воздействия, можно помешать ее восстановлению. Средняя и Восточная Европа,—в состоянии бессилия, ее медленное экономическое возрождение с буржуазной демократией для сохранения социального строя или даже с затушеванным самодержавием,—все это более предпочтительно, чем какое бы то ни было соглашение, которое бы отвлекло все мысли и чувства каждого народа от иностранной политики и сосредоточило их на задачах домашнего переустройства. Ведь эти правительства и поддерживающие их классы нуждаются в достаточно расстроенном мире для того, чтобы оправдать сохранение умеренного милитаризма; они боятся того толкования, которое недавно возбужденные желания и мечтания их народов придали делам переустройства.

В Соединенных Штатах, где меньшая продолжительность войны не привела правительство к стольким непоправимым преступлениям, решительное и быстрое прекращение «политики переустройства» стало возможно, как только наступило перемирие. Но английское правительство само себя сочло настолько нагруженным дорогими и заманчивыми обещаниями, что такой способ выпутаться был невозможен для него. Однако может показаться, что политика переустройства не содержит в себе ничего опасного для существующего строя и что она может быть успешной в своем стремлении «откупиться от революции». Народное образование, жилищный вопрос, земельный, народное здравие, охрана здоровья детей, советы Уитли, 8-ми часовой рабочий день, законодательные департаменты для заработной платы,—представляют собой прогресс в деле социальной реформы и капиталистических уступок, недурно приспособленных для этой цели. Это и есть существенное предложение «синицы в руки» практическому люду. Будет ли это иметь успех? Я думаю, что нет, и вот почему.

Во-первых, программа рабочей партии оставляет далеко за собой эту программу переустройства и заключает в себе некоторые определенные притязания на собственность и управление хозяйства, которые правящие классы без борьбы не уступят, и эта программа получила столь широкое признание, что она составляет новую эпоху в социальной и политической мысли народа. Она содержит простое требование социализации определенного числа наиболее важных и доходных областей капиталистической промышленности и требование нового уклада для рабочих в их работе в общественных и частных предприятиях. Неопределенное чувство недовольства, господствовавшее последние годы, выкристаллизовалось в новое настроение по отношению к собственности и промышленности.

Во-вторых, образование значительных и оформленных организаций как капитала, так и труда за время войны совершенно исключает возможность возвращения к довоенным условиям. В крупных отраслях промышленности исчезла надежда или опасение серьезного соперничества, так как в большин-

стве крупных отделов добывающей и обрабатывающей промышленности транспорта и банков властно господствует трестирование. В строении свои дел капитал дошел до той степени развития, которая может оказаться ее последней стадией. Успехи организации труда, хотя неизбежно и менее полные (так как для мертвого капитала тесное единение более доступно, чем для живых рабочих), но все же были значительны. Сила Тройственного союза—новый фактор в судьбе народов. Точный смысл всех этих перемен может быть выражен в следующем: они впервые определенно выдвинули альтернативу частной или общественной монополии для ряда важных отраслей промышленности в стране. Во время войны несколько отраслей промышленности работали под комбинированным и об'единенным управлением частных владельцев и государства, при чем последнее вмешивалось в разные стороны вопроса о снабжении сырьем, назначении твердых цен, рынков, и вводило налоги на сверх-прибыль. Метод, пытающийся примирить личную заинтересованность с общественной пользой, бывший неизбежным и полезным компромиссом при чрезвычайных обстоятельствах войны, по общему отзыву мало применим к нормальным временам. Видные деловые люди и рабочие, которые охотно совершали патриотические подвиги и приносили жертвы во время войны, не сделают этого в мирное время, и постоянные трения в связи с вмешательством государства, терпимые ввиду трудностей войны, становятся несносными в мирное время. Деловые люди естественно требуют, чтобы государство убрало свои руки и дало бы возможность вести свои дела, по их усмотрению со всей прежней свободой в действиях. Но возвращение к довоенным временам невозможно. Свободная конкуренция, и в оное время бывшая для потребителя лишь жалкой защитой против трестирования, настолько во многих случаях оттеснена на задний план, что требования этих деловых людей в сущности сводятся к праву монопольного хозяйничания в промышленности. Нет смысла принуждать людей конкурировать, если их интересы ведут к комбинированию и если они имеют свои средства для того, чтобы это комбинирование сделать производительным.

Одним словом, война подействовала, как принудительный процесс, который завершил в несколько лет естественную эволюцию промышленности, переведя ее из стадии соперничества в стадию комбинирования. Эта же перемена заставляет поставить вопрос о личной прибыли и общественной службе во всей его остроте и определенности. Невозможно оперировать с уверенностью первыми результатами борьбы двух принципов. Но, я думаю, мы можем быть уверены в том, что в основных отраслях промышленности, как угольная, железнодорожная, страхование, электрическая и банки, государство будет скоро втянуто на путь социализации собственности, если не производства. В прочих отраслях промышленности, а, может быть, и в этих, дело будет наполовину под государственным контролем цен или под влиянием других экспериментов, направленных к тому, чтобы обеспечить для общественных нужд плоды высокой личной инициативы и производительности якобы присущие частному предприятию. Крайне невероятно, что будет сделана по-

пытка огульной трансформации фабрик или что будет найдено какое-нибудь одно решение новой проблемы промышленности.

Нас интересует здесь, во-первых, то обстоятельство, что одна значительная часть промышленности должна уже рано перейти из сферы частного извлечения прибыли в область общественной службы, и во-вторых, что в другой значительной части государство будет изыскивать строгие границы для прибыли. Эти обстоятельства в соединении с новой налоговой политикой, которую современное государство должно проводить в целях конфискации излишнего богатства для уплаты военных долгов и покрытия расходов по новой социальной политике, расходов по минимальной заработной плате и страхованию безработных,—а эти расходы каждое производство должно нести,—эти обстоятельства будут иметь два важных последствия. Большая часть народа будет занята на общественной службе, и великий эксперимент промышленной демократии подвергнется своему испытанию. Если, как часто утверждают, не будет найдено такого способа общественного управления, которое обеспечило бы нужный уровень производительности, так как рабочие отвоюют благодаря политическому давлению несоответствующую своей доле в общем богатстве заработную плату, досуг и прочие условия труда, то неудача эксперимента будет очевидна. Ибо весы, на которых все будет взвешиваться, не дадут ускользнуть каким-нибудь погрешностям. Невозможно сохранять большие организации бездельников-попрошаек в общественных учреждениях при помощи субсидий, выкачиваемых из частных предприятий. Эксперимент должен поэтому принять характер моральной проблемы отыскивания и применения тех стимулов, которые будут наполнять отдельного рабочего чувством общественного долга и заставят его подчиняться дисциплине способами, обязательность которых он свободно признает. Вот именно здесь и может быть применимо «синдикалистское» содействие. Ведь легко допустимо, что современные правительственные способы не вызовут чувства общественного долга, достаточного для того, чтобы держать промышленность в ходу на желательном уровне производительности. Это и есть проблема «бюрократии», ждущей своего разрешения. Демократия предлагает уже решение в виде самоуправления. Демократия является в делах управления выражением общественного мнения, но она может быть плодотворной постольку, поскольку это мнение принадлежит осведомленным и близко стоящим к делу лицам. Такие лица найдутся в мастерских или других мелких производственных единицах, где известен каждый шаг в работе каждого отдельного рабочего. Этого же нет ни в одной избирательной камере современного города.

Не следует ли отсюда, что демократия сможет сама осуществиться тем или иным путем?

Исходя из эволюционной точки зрения, социалисты поспешили сделать вывод, будто капиталистическая система уже изжила себя и должна уступить место такому строю, в котором личная заинтересованность уступит место общественному интересу в качестве стимула. Еще ни в коем случае не доказано, что система наемного труда обречена на гибель и что новые требова-

ния рабочих промышленной демократии не могут встретить должного отпора или найти компромиссного решения. До сих пор капитал в значительной части покупал мир в промышленности ценой разных уступок. Можно ли утверждать, что источники этой политики истощились? Странно, что среди мыслей и разговоров о «международном пролетариате» так мало посвящают внимания возможности «международного капитала». Можно ли в самом деле считать капитализм изжившим себя, пока он не достиг этой стадии? Общее чувство страха, передаваемое от более революционных к более консервативным странам, и установленная западно-европейскими правительствами взаимная помощь в борьбе против революционного движения порождает более основательную и устойчивую систему международного сотрудничества капитала. И разве эта система не может оказаться способной затормозить или противодействовать делу революции в некоторых странах? Священный союз старого режима, слишком явно опиравшийся на силу оружия, не может больше служить надежным орудием для борьбы с революцией. Капитализму, как правящей силе, придется работать в перчатках для осуществления мирового господства, замышляемого по инициативе главарей международной торговли и финансов. Во время войны с особой выпуклостью выделилась одна черта нашего нового мира: это особая важность связи между высоко развитыми и плотно населенными странами белого Запада с отсталыми странами, от которых первые зависят в смысле снабжения важнейшими видами продовольствия и сырья. Мы видели важность этой зависимости при изучении причин войны, заключавшихся в соперничающем империализме. Но подобно тому, как внутри страны конкуренция подала повод к трестированию (комбинированию), к тому же приводила борьба за империи. Как только стали понимать важность империи, как фактора экономической эксплоатации, политика международного капитала становится простой и состоит в заключении договоров (в Лиге Наций и т. п.) для восстановления экономического мира с заменой борьбы классов борьбой рас...

Несколько западно-европейских правительств держат в своих руках политическую и экономическую власть над громадными районами Африки и Азии, содержащими главные запасы растительного и минерального масла, хлопка, резины, разных металлов, продовольствия и текстильного сырья. Торговые фирмы под покровительством этих держав, действуя порознь или об'единенные соглашением, умеют сорганизовать на месте дешевую покорную рабочую силу для своих плантаций, шахт, для заготовки и фабрикации экспортных товаров. Железные дороги и пути, доки и судоходные линии в их руках; они же распоряжаются торговым и финансовым аппаратом для вывоза тропических и других продуктов в свои страны, где армии хорошо оплачиваемых и довольных рабочих в громадных трестах Запада будут при помощи научных способов производства приспособлять эти продукты для нужд потребления. Если нетронутые до сих пор культурные богатства Африки, Азии, Южн. Америки и Тихоокеанских островов могут таким образом попасть в распоряжение синдикатов западно-европейских промышленных

стран, то капитализм может оказаться в состоянии «померяться силами» рабочими в своей стране, которых он сделает участниками своей огромнс потогонной системы, благодаря которой он заменит эксплоатацию рабочи Запада эксплоатацией чужеземных подчиненных народов. Если таков пут для обеспечения частной собственности и достижения экономического мир внутри страны, то стремление к комбинированию политических и экономи ческих факторов будет все больше развиваться именно в эту сторону. Подме борьбы классовой борьбой рас, проведение под крылышко эксплоатирук щего капитала больших масс покровительствуемых рабочих, которые, може быть, превратятся в мелких держателей акций, все это имеет в своей осно идею, не вполне ясную даже для тех крупных дельцов и финансистов, план которых базируются на таких будущих источниках прибыли. Она еще н воплотилась в хорошо продуманный, ясно осознанный план. Проведение е в жизнь, конечно, продвинулось бы вперед, если бы его форма и значени были вполне осознаны. Это было в начале войны иллюстрировано на дела «Комитета по развитию богатств империи», который рекламировал свой пла «империализации» подвластных нам тропических стран и выколачивания и туземных рабочих дивиденда для частных синдикатов и дохода для импер ского казначейства. При помощи этого нового вида паразитизма организс ванные белые массы Запада эксплоатируют цветные расы отсталых стран дл своего обогащения и удовольствия. Этот паразитизм может выявиться, ка естественная тенденция развития империализма стран в наш смутный век.

Во всяком случае дальнейшая эксплоатация богатств отсталых стран бу дет двинута вперед, при чем капитал и организаторский персонал будет при влечен из центра этих империй. Громадный ввоз сырья и хлеба будет весьм нужен в целях доставления достаточной работы нашим фабрикам и удовле творения нашего населения дома. Это сырье не может быть куплено по пол ному эквиваленту на экспортные товары, так как при так называемом сво бодном товарообмене цены на сырье и продовольствие будут выше цен н экспортируемые фабричные изделия. Поэтому будет существовать сильней ший соблазн для синдикатов развивать и управлять источниками сырья, по ставить труд и прочие расходы производства на «дешевые» основания, т.-е применять принудительные и потогонные системы эксплоатации труда и поль зоваться правительственными субсидиями для получения концессий на земли и прочие угодья с небольшой затратой на них. В результате значительна часть тропических и заморских продуктов, которые попадут в страны За пада, будут лишь формой ренты монопольных владельцев или прибыли з счет низко оплачиваемых рабочих. Определенная часть этой сверхприбыли может быть использована для поддержания на относительно высоком уровн благосостояния рабочих Запада, которые будут добиваться более реальной высокой заработной платы, короткого рабочего дня, соответственного стра хования от безработицы, болезни, старости и несчастных случаев. Ра бочие получают свою долю частью в виде заработанных денег, частью в виде низких цен на ввозимые продукты, частью в виде общественных услуг госу-

дарства, извлекающего свои крупные доходы от сдачи в аренду «казенных» земель в колониях или полуколониях патентованным синдикатам, и от налогов на их высокую прибыль, получаемую благодаря этой эксплоатации. Капиталисты Запада имели бы возможность с помощью такой политики и экономики купить у себя дома мир в производстве. Мы сомневаемся, применимы ли другие формы уступок «требованиям труда» без того, чтобы не подвергать опасности государство самих капиталистов. Вот то великое искушение, перед которым очутился организованный пролетариат Запада; оно состоит в предложении вступить в ограниченный тесными рамками интернационал, в котором и труд и капитал олигархии великих наций будет «жить за счет обильных естественных богатств и подвластных народов отсталых и неразвитых стран». Олигархическая лига наций, осуществляющая свои права мандатов и протекторатов над большей частью более слабых народов, может провести широкое распространение капитализма под ширмой мирных соглашений опекунства «дряхлых держав» и организации скрытых недр в странах которые будут об'явлены неспособными управлять собой и вести сами свое хозяйство.

Группа западно-европейских капиталистических правительств, именующая себя Лигой Наций, великими державами или цивилизованным миром могла бы благодаря такой политике добиться нескольких ценных вещей. Они могли бы: 1) установить доходную монополию на сырье и хлеб, нужные для частной прибыли; 2) усилить свое влияние на правительство каждой страны привлекая их к участию в эксплоатировании подвластных районов и уменьшая тем бремя налогов, которое упало бы на их же плечи; 3) заменить дорогие и ненадежные армии белых рекрутов дешевыми и податливыми туземцами для сохранения порядка внутри и вне страны; 4) содержать своих рабочих в благополучии и довольствии, делая их мелкими держателями акций в этой эксплоатации своих более слабых братьев. Окажется ли у организованного пролетариата так называемых западных демократий достаточно человеколюбия справедливости, дальнозоркости и мужества, нужных для сопротивления подобному искушению, покажет на деле ближайшее будущее... Капитализм постепенно подтачивается в своем основании, но уступит ли он место естественному представительству, нами начертанному, или наступит период вмешательства пролетарской революции? Несомненно советский эксперимент в России нашел свой отклик в развитии революционных сил Запада. Марксистский детерминизм классовой борьбы между строго разграниченными силами капитала и труда, когда власть буружазного капитализма будет замещена властью пролетариата, имеет своих сторонников в каждой стране Большинство их доказывает, что это превращение будет результатом насилия рабочих, воодушевляемых и руководимых незначительным классово сознательным меньшинством, при чем насилие будет выражаться в форме стачек, саботажа и, если понадобится, то и вооруженной борьбы. Их философия истории учит их, что такое насилие есть единственное действительное оружие для ниспровержения существующего строя, и пролетариат готовится

применить его. После завоевания капитализма и капиталистического государства он учредит пацифистскую «эргатократию» на справедливой базе представительства, в котором территориальный принцип будет заменен функциональным.

Можем ли мы быть уверены, что главные силы организованного пролетариата Запада не окажутся настолько увлеченными этим учением и его практикой, что не втянут свои страны в советскую революцию? Время может показаться благоприятным. Ведь за 6 лет войны мир безмолвно отвергал всякий вес рассудка и справедливости и признал насилие, как решающий фактор в судьбах человечества. То же насилие, которое правило во время войны, царствует и теперь. Мир перестроился на почве насилия. Каждая страна переполнена вернувшимися участниками войны, характер которых «поддался» силе дисциплины, между тем, как гражданское общество утопало в жажде зрелищ насилия. Склонность применить путь насилия для улажения всякого спора проявлялась всюду. Как же может пролетариат добиться своих прав иначе, как путем классовой борьбы с тем же режимом насилия?

Ясно, что у нас, во Франции, особенно в Америке, сильно распространен страх перед классовой борьбой, и делаются смешные глупые попытки задержать ее предупредительными мерами насилия. Таким образом, как проповедует ученье Маркса, падающая сила капитализма встречает растущую силу пролетариата.

Согласно общепринятой теории, насилие все меньше играло роль в определении нашего поведения. Война придала этой теории особый престиж и всякое движение соответственно этому уподобилось взрывам. Вопрос же не только в вооруженном насилии. Речь идет и об экономическом насилии, речь идет о неограниченной воле правительства, о нелепом авторитете в вопросах образования, церкви и морали, о культе насилия в искусстве и литературе под эгидой натуральности и непосредственности. Приспособление науки к целям насилия страшно чувствительно подействовало на нервы людей, и неудивительно, что насилие оказалось в моде среди рабочих.

· Но если мы попытаемся трезво оценить опасность об'явленной красной революции, то она окажется низведенной до ничтожных размеров. Что представляет собой сила, с которой проникнутое классовым сознанием меньшинство сокрушит капитализм и уничтожит капиталистическое государство? Существует ли эта сила во Франции, у нас или в Америке? Да, рабочие составляют всюду большинство, их об'единенные выступления могли бы всюду иметь успех, но рабочие еще не весь пролетариат. Во Франции, Америке и даже Англии большую часть населения составляют фермеры или крестьяне с некоторой заинтересованностью в земле, умеренные и консервативные. Город и деревня изобилуют самостоятельными ремесленниками и другими мелкими производителями и торговцами. Революционная забастовка городских рабочих потерпела бы крушение вследствие голода, на который они были бы обречены, благодаря отказу деревни снабжать его хлебом. Это имеет место даже в России, где крестьяне были привлечены на сторону революции разде-

лом земли. Да и в рядах городских наемных рабочих нет полной солидарности. Пролетарии лавок, магазинов и контор, с их накрахмаленными воротничками, отличаются своим умонастроением от индустриального пролетариата и гораздо слабее организованы; не более трети наемных рабочих являются членами профсоюзов, и эта пропорция еще меньше в Америке и Франции. Цеховый дух еще господствует во многих отраслях промышленности, отделяя квалифицированных от простых рабочих, питая специальные интересы, вредящие единству выступления рабочих. В Англии возможной революционной силой является солидарность немногих могучих об'единений в главнейших отраслях промышленности, по всей вероятности в группе, известной под названием тройственного союза, с поддержкой союза машиностроительных рабочих. Эти союзы, как утверждают, держат в своих руках ключи экономической жизни каждой страны и могли бы, поэтому, диктовать свои условия народам и правительствам. Но каким образом? Прекращением снабжения товарами и выполнения услуг. Однако, благодаря этому прекращению они страдают наравне с остальным обществом, и недовольство общества направлено против них. Опыт показывает, что прямое действие, предпринятое всей группой или частью ее, возбуждает в действительности не симпатии, а противодействие массы рабочих в других даже организованных отраслях промышленности. Действительно, возможно, а, может быть, и вероятно, что общие симпатии рабочего класса будут таковы, что они поддержат обыкновенную забастовку тройственного союза, чтобы добиться определенных экономических результатов, но революционная забастовка для ниспровержения капитализма и его господства в государстве не смогла бы рассчитывать на чью-либо помощь извне. Напротив, как показали недавние пробные опыты, они не могли бы добиться общей поддержки рядовых членов тройственного союза, даже если бы более широкие революционные планы были бы прикрыты более узкими требованиями, направленными к тому, чтобы расстроить какие-нибудь отвратительные планы правительства. Ни в смысле численности, ни в смысле сплоченности нет нужной пролетарской силы в Англии, и еще слабее дело обстоит во Франции и Америке.

С другой стороны, силы, находящиеся в распоряжении капитала и капиталистического государства, очень сильно не дооцениваются. Солдатские массы, полиция, штрейкбрехеры, на которых капитализм рассчитывает, как на последнее средство для сокрушения пролетарской революции, сами, как говорят, являются пролетариями, которые будут дезертировать от своих хозяев. При известных обстоятельствах этот аргумент верен, испорченная, неспособная и явно крепостническая бюрократия, наподобие бывшей царской, лишилась верности своих наемников, но престиж западно-европейского псевдо-демократического государства еще мало запятнан в глазах большинства служащих и рабочих, и дисциплина строго сохраняется. Возможно представить себе положение, когда солдаты или полиция отказались бы защищать штрейкбрехеров на железной дороге или выполнять правила военного устава, но это положение ограничилось бы характером конкретной местной

стычки, в которой общественные страсти были бы возбуждены против данного проявления правительственного деспотизма. Но и тут случайная симпатия мало подвинула бы более широкое дело пролетарской революции.

Нет никаких признаков революционной склонности в массе организованных рабочих у нас или в Америке. Утверждение, что она де существует, обязано действию пропаганды, особенно запальчивого характера, проповеднической энергии небольшой революционной группы, с одной стороны, и влиянию запугивания капиталистической прессы, с другой. Эти два побудителя играют друг другу на руку, преувеличивая значение революционного движения и приписывая ему неприсущую силу. Современное научное использование сил уменьшило, по общему признанию, значение численности для революционных выступлений. Капиталистический строй удерживает на службе у себя громадное большинство людей опытных в научном применении сил: они к нему прикреплены узами сочувствия и выгоды, а большинство тех, которые могли бы быть завоеваны для пролетарской революции, принадлежат к пацифистскому крылу движения.

В интересах капитализма и капиталистического государства удержать классовую войну в плоскости физической и экономической силы. Это имеет для них две выгоды. Это доставляет им возможность собрать вокруг себя все консервативные элементы общества для поддержки милитаризма, дает им возможность сохранять порядок внутри страны и вести агрессивную и выгодную внешнюю политику. Но, что еще более важно, это лишает пролетариат возможности использовать свои национальные и интеллектуальные ресурсы, в которых заключается его действительная сила.

Только когда будет рассеяно иллюзорное представление о значении физической силы, как о факторе прогресса, станет возможной действительная демократия, ибо только тогда возможно будет полное и сознательное применение тех сил социального идеализма, который глубоко заложен в инстинкте человечества, в его упорном стремлении к сотрудничеству и солидарности.

---

# Борьба за нефть.

(Francis Delaisi—Le Petrole. Paris. Pagot—La politique et la production).

**М. Рубинштейн.**

Одной из любопытнейших новинок западно-европейской экономической литературы является яркий и талантливый очерк Делези о «нефти». Эта книга, что называется, «шумит».

Только появившись в конце 1921 года в Париже, она была немедленно переведана на английский язык [1]), вызвав оживленнейшие комментарии в английской и американской рабочей прессе. И, действительно, содержание этой книги представляет для рабочего движения захватывающий интерес, несмотря на крупные недостатки. Делези—экономист, сочувствующий реформистскому синдикализму, горячий французский патриот. В длинном предисловии он дает путанное и туманное изложение синдикалистских идей, обрушиваясь на партии и «политику». В его книжке не найти острого марксистского анализа, помогающего распутать сложнейшие узлы экономической действительности. Насквозь буржуазная психология автора едва прикрывается витиеватыми французскими фразами. И тем не менее трудно найти книгу, представляющую по своему фактическому содержанию больший интерес для рабочего класса. С небывалой яркостью встает перед нами картина борьбы за нефть, гигантской схватки 2-х трестов за обладание миром. Стандард Ойль и Шелл-Ройяль-Дотч—вот основные пружины современного сверх-капитализма, решающие «судьбы царств и участь королей». И одновременно с обнаженной откровенностью раскрываются перед читателем глубокие противоречия в стане победителей,—всемогущей Антанты, раздираемой на части и в агонии конечного кризиса готовящей человечеству новые войны.

Первые главы книги дают яркую картину технической революции, происходящей теперь на Западе. Пол века нефть была монополией Соед. Штатов. В дебрях Пенсильвании, Калифорнии и Оклагомы бродили «дикие кошки», как называли там охотников за нефтью, вмиг составлялись состояния из начинавших бить из земли фонтанов. Трудности были не столько в добыче нефти, как в ее транспорте, так как почти все местонахождения ее

---

[1]) Oil Its Influence on Politics. By F. Delaisi. Labour Publishing Co. London.

были в пустынных местах, вдали от центров потребления. Целый переворот произвела смелая идея Рокфеллера соорудить трубопроводы, по которым нефть перегонялась на сотни миль в гигантские резервуары и перегонные заводы, откуда ее развозили по всему миру поезда-цистерны и флоты наливных суден.

Рокфеллер нашел для этой системы огромные капиталы. Цена нефти на мировом рынке значительно понизилась. Впервые применившая трубопроводы компания Стандард-Ойль стала хозяином рынка. Субсидируя мелкие о-ва по добыче нефти, определяя цены и держа в своих руках транспорт и перегонку, Стандард-Ойль фактически монополизировала 95% добычи нефти в Соед. Штатах и распространила американскую нефть по всему миру.

Чтобы приспособиться к закону против трестов, Стандард-Ойль разбилась на 20 обществ—пустое изменение формы для одурачивания америк. демократических чувств. За стариком Рокфеллером в др. частях света последовали имитаторы. Ротшильд через посредство Нобеля теми же приемами эксплоатировал Баку, голландцы образовали компанию Роялъ-Дотч (по голландски Koninklijke Nederlandsche Maatschappii) для эксплоатации источников Суматры, Явы и Борнео. Затем английские, французские, германские и австрийские о-ва стали исследовать поля Галиции и Румынии, Турции и Персии.

Жадное к свету и теплу человечество всасывало всю нефть, поступавшую на рынок. Франция, Англия и Германия сами нефти не добывали, но из-за конкуренции разных компаний получали ее дешевле, чем страны с источниками, куда они, кроме того, вкладывали свои капиталы. 50 лет нефть была одной из наиболее мирных отраслей промышленности.

Керосин был лишь скромным средством освещения в лампах или в редких случаях применяется в домашних печурках. Из этих областей его изгоняет газ и электричество. Нефтевладельцы уже думали о сокращении производства. Но ряд технических открытий опрокидывает все это равновесие. Между 1900 и 1910 г.г. открывают и совершенствуют мотор внутреннего сгорания и начинается стремительное развитие автомобилизма. Это дает новый толчок поискам за нефтью, в полях Мексики, в Центральной Америке и Бирме. Но движущий автомобили бензин поглощает только 60—75% нефти. Часть остатка идет на смазочные масла и парафин, но большая часть остается в виде мазута, безусловно горючего, но неприменимого, вследствие высокой температуры, необходимой для зажигания.

И вот появляется великое изобретение Дизеля—двигатель, действующий на мазуте, сжимаемом в цилиндре и образующем взрывчатую массу, двигающую поршень без всяких магнетто. Пускание Дизеля в ход требует сильного вспомогательного двигателя, что делает невозможным применение мазута в автомобилизме. Но повсюду, где возможны тяжелые установки, в промышленности, ж.-д. и водном транспорте, мазут оказывается самым выгодным топливом. Преимущества его были огромны. Ненужность котла, большее количество калорий в том же об'еме и одновременно меньший об'ем при том же весе позволили дизель-моторам занимать гораздо меньшее место, чем той-же

мощности паровые машины. Это была целая революция. Дизель стал проникать повсюду, вытесняя паровики. И особенно ярко это вытеснение проявилось в навигации.

Сначала мелкие каботажные судна, затем все более крупные пароходы стали переходить на нефть. И в то время, как пароход на угле может быть в море без нагрузки топливом максимум 15 дней, нефтяной теплоход может взять с собой запас горючего на 57 дней. Нефть стала покорять моря. Очень большие пароходы не могли установить Дизелей. Тогда кто-то придумал просто сжигать мазут в топках из котлов, к которым необходимо для этого приспособить мощные инжектора, распыляющие мазут и смешивающие его с воздухом. И при таком способе употребления мазут дает на 70% больше тепла, чем уголь, дешевле его и занимает меньше об'ема, сам втекает в топку, позволяет развить огромные скорости, дает преимущества экономии персонала и легкости употребления. Район действия судна увеличивается на 50% при экономии топлива свыше 30%. Не трудно представить, какое значение эти преимущества имеют для крейсеров и дредноутов, позволяя им увеличивать вес брони и пушек. С введением нефтяного отопления американский военный, а затем и торговый флот совершенно переродились. Мазут сбросил уголь с трона.

Этот простой факт вызвал огромные последствия. Прогресс мазута во флоте стал грозить морскому могуществу Англии. Это могущество покоилось не столько на судах и воспитанном веками человеческом персонале, сколько на обладании топливом. Тысячи угольных станций Британской империи были рассеяны на всех морских путях вселенной. Ни одно судно не могло пересечь океан без разрешения «владычицы морей». Английской промышленности и транспорту топливо стоило дешевле, чем другим странам. На этом основывалось все коммерческое и промышленное преуспеяние страны. Мазут все это изменил. Англия не имеет своей нефти, тогда как Соед. Штаты дают 70% мирового производства. Сначала это не проявлялось, так как американский флот был невелик и Америка была вынуждена избытками своей нефти снабжать и английские пароходы. На нефтяное отопление переходят гигантские пароходные о-ва «Кунарда», Вайтстар и др.

Но за годы войны Америка сооружает торговый флот, равный британскому. Во всех морях она устраивает нефтяные станции, конкурирующие с английскими угольными. Англия уже не владычица морей. Америк. конгресс вотирует создание могучего военного флота с нефтяным отоплением, угрожающего и непосредственному военному могуществу Великобритании. Все силы Англия отдала на уничтожение морской мощи Германии—и только эта цель была достигнута, из пучины войны вырос новый грозный соперник, вдвойне опасный, так как он овладеет как флотом, так и источниками нефти.

Но старая Британия хранит еще достаточно сил, чтобы без борьбы уйти со сцены. Еще до войны, когда никто об этом и не думал, капиталистические круги Англии с тревогой следили за распространением мазута и предвидели все последствия этого, казалось бы, безобидного роста. Мощь Англии

основывалась на угле. Но когда пришел соперник с другим, более совершенным топливом, его надо было победить в этой же области. И не теряя ни минуты, капиталисты Англии начинают подготовлять в тиши овладение всеми нефтяными источниками мира.

Задача была не из легких. Природа, в изобилии снабдившая Англию углем, приблизившая все части страны к морю, отказала ей в нефти. К счастью, английские компании разрабатывали нефть в Румынии, английский капитал совместно с Ротшильдом был заинтересован в нефти Азербейджана. Английская металлургия снабжала промыслы трубами, цистернами, наливными пароходами. У Англии имелся подготовленный штат квалифицированного персонала и дальнозоркие финансисты с огромными капиталами. Не желая преждевременно привлекать внимание всемогущей Стандард-Ойль, англичане принимаются в тиши за работу над развитием о-ва «Шелл-транспорт», занимавшегося добычей перламутра (шелл-перламутр) и заинтересованного в египетской и малайской нефти.

Под руководством Маркуса Самуэля и с финансовой помощью Ротшильда, Шелл-транспорт начинает разработку нефти в Индии, Цейлоне, Малайских Штатах, Северном Китае, Сиаме. Затем следуют концессии в Голландской Индии, Кавказе и Румынии. Щупальцы «Шелл-транспорт» простираются по всему старому свету.

Но тут начинается яростная борьба за американскую нефть в связи с открытием Панамского канала. Через этот канал проходит почти ½ пароходов мира. Значительная их часть нуждается в нефти. И вот англ. компания Пирсона «Мексиканский орел» устраивается почти у самого входа в канал в Тампию. В Нью-Иорке забеспокоились. Там привыкли считать Мексику своей, так как диктатор Диац давно запродал концессии на нефть и жел. дороги страны трестам Гарримана и Рокфеллера. И вот в Мексике начинается инсценированная капиталом гражданская война. Банды получают от соперничающих трестов оружие, золото и военных руководителей.

Место не позволяет нам останавливаться на любопытнейших подробностях мексиканской междоусобицы, такой характерной для колониальной политики соврем. промышл. государств. Помимо Мексики, английская компания Пирсона стала разрабатывать нефтяные источники в Коста-Рике, Колумбии, Венецуэлле и Экуадоре. Это давало монополию снабжения судов, идущих через Панаму. Соед. Штатам грозила потеря контроля над каналом, стоившим им миллиарды. И вот они вновь провозглашают доктрину Монроэ («Америка для американцев»), о которой не вспоминали с 1823 г. Концессии Пирсона аннулируются.—Англичане начинают тогда действовать окольными путями. «Шелл-транспорт» обосновался сперва в английской колонии Тринидаде, затем снова в Венецуэлле и Колумбии, при чем для успокоения подозрений он связывается с американским капиталом, образуя новые подставные фирмы. Таким путем «Шелл-транспорт» смело забирается в самое сердце Соед. Штатов, скупая участки, эксплоатируя источники и проводя трубопроводы рядом с Стандард-Ойль. Чтобы заинтересовать американских капиталистов, он в

1919 г. размещает на Нью-Йоркской бирже 750.000 акций с высокими дивидендами.

Теми же путями идет и гигантский голландский трест Ройял-Дотч. Он скупает нефтяные участки в Техасе и Оклагоме, размещает акции на Нью-Йоркской бирже и добивается концессий в центр. Америке. Конкуренция 3-х обществ успокаивает общественное мнение, наивно считающее, что это межд. о-ва без всяких политических намерений.

Одновременно с проникновением в Америку идет завоевание азиатской нефти. Английское морское министерство само скупает источники нефти в Бурме, и подписывается на ½ акций Англо-Персидского нефтяного о-ва получившего в Персии концессии на 30 лет.

Между тем немцы открывают нефть в горах у Тигра, что дает лорду Керзону великолепный повод об'явить Месопотамию зоной английского влияния «как естественное дополнение Индии». Немцы с помощью Абдул-Гамида, а затем младотурок, получают концессии на Багдадскую дорогу, проходящую через нефтяные районы. Источники Моссула становятся новым об'ектом отчаянной борьбы нефтяных трестов.

Между тем война дала новый толчок бешеной погоне за нефтью. Разрушение французских ж. д. вызывает огромное развитие военного автомобилизма. Целые полки и дивизии перебрасываются на грузовиках с одного участка фронта на другой, окопы роются нефтяными тракторами, война становится невозможной без авиации и требующих нефти взрывчатых веществ. Шелл-транспорт, не имеющий во Франции ни источников, ни запасов, еле поспевает снабжать британские армии. Пришлось обратиться за помощью к Ройял-Дотч и даже к Стандард-Ойль. Американцы охотно пошли навстречу и благодаря им армия «на грузовиках» спасла Верден.

В декабре 1917 г., когда так наз. «картель 10-ти», снабжавший Францию нефтью, заявил, что он не в состоянии снабжать армию и его запасов хватит лишь до марта 1918 г., т.-е. как раз к началу решительных боев, Клемансо обратился к Вильсону с отчаянным письмом. Это характерное письмо, полностью приведенное Делези в приложении, говорит, что «прекращение снабжения нефтью вызовет немедленный паралич наших армий» и во имя «общего дела» взывает о помощи.

Вильсон откликнулся, и за дело принялась военная нефтяная комиссия Petroleum War Board из крупнейших представителей американской индустрии. Франции были предоставлены неисчерпаемые американские запасы нефти, с помощью которых маршал Фош молниеносными автомобильными перебросками отразил атаки немцев. Затем союзники образовали «межсоюзную нефтяную конференцию», взявшую на учет и распределявшую все нефтяные запасы. Это позволило держаться одновременно во Франции, Италии и Салониках.

Между тем продвижение армий на востоке лишило Германию румынской нефти, ослабило автотранспорт и как бы парализовало движения ее армии.

С полным правом Фош говорил, «что победа союзников над Германией, это победа грузовика над паровозом».

Перемирие 21-го ноября 1918 г. было первым делом отпраздновано торжественным обедом британского правительства делегатам межсоюзной нефтяной конференции. На нем Керзон произнес свою известную фразу: «союзников принесли к победе потоки нефти». Но после победы, ни англичане, ни Стандард-Ойль не намерены были уступать первенства. Нефтяное сотрудничество Англии и Америки исчезло вместе с войной и триумфальная песня межсоюзной нефтяной комиссии была ее похоронным гимном.

После перемирия Англия немедленно возобновляет свою кротовую работу, на этот раз протягивая руки к Ройял-Дотч. Благодаря богатейшим источникам на Зондских островах, блестящей финансовой организации и огромному наливному флоту она была сильнейшим трестом в Европе. Одно время его подозревали в симпатиях к Германии. Но Версальский мир, на 10-летия подорвавший германскую промышленность и флот, бросил Ройял-Дотч в об'ятия союзников. Еще в 1907 году были установлены довольно тесные связи Ройял-Дотч и Шелл-транспорт. Маленькая Голландия не могла достаточно защищать интересы мирового треста, и он обращается за покровительством к британскому правительству, предоставляя в обмен в его распоряжение о-во с добычей нефти в 10 миллионов тонн в год, наливной флот в 600.000 тонн, концессии в Зондских о-вах, Румынии, Соед. Штатах, Центр. Америке и систему филиалов с капиталом в 6 миллиардов франков.

У Шелл-транспорт к окончанию войны также имелся наливной флот в 54.400 тонн, производство в 2 миллиона барилей в Нидерландской Индии и 2.800.000 барилей в Америке, система филиалов во всех частях света с многими миллиардами капитала. Через несколько недель после перемирия произошло об'единение этих двух гигантов—первый существенный плод победы для Англии о-во «Мексиканский орел» также перешло под контроль Маркуса Самуэля. На-ряду с этим новым сверхдредноутом Англия обладала и двумя легкими разведочными суднами—англо-персидским нефтяным о-вом и о-вом Бурма-Ойль. Монополии Соед. Штатов стала грозить самая непосредственная опасность. Во всем мире нельзя теперь найти страны с нефтяными источниками, где не орудовала бы английская группа. Вот краткий перечень нефтеносных стран:

*Европа.*

| | |
|---|---|
| Румыния . . . | Шелл-Ройял-Дотч. |
| Россия . . . . | „ (?) |

*Азия.*

| | |
|---|---|
| Нидерл. Индия . . | Шелл-Ройял-Дотч. |
| Бирма. . . . . . | Бирма-Ойль |

*Америка.*

| | |
|---|---|
| Калифорния . . | Шелл-Ройял-Дотч. |
| Оклагома . . . | „ |
| Техас . . . . . | „ |
| Тринидад . . . | „ |
| Венецуэлла . . | „ |
| Мексика . . . | Мексиканский орел. |

*Африка.*

| | |
|---|---|
| Египет . . . . . . | Шелл-Ройял-Дотч. |

Настоящая «нефтяная империя». Теперь Англия может ко всем своим угольным станциям присоединить нефтяные. Она уже не зависит от американской монополии и для своего военного и торгового флота имеет в изобилии как твердое, так и жидкое топливо. Мало того,—на место монополии, от которой она только что освободилась, намеревается создать свою собственную.

Дело в том, что хотя американские источники и доставляют 70% мировой добычи нефти, но они быстро истощаются. Предполагаемый запас нефти в Америке составляет лишь 7 миллиардов барилей, тогда как в остальном мире имеются 53 миллиарда барилей, из них большая часть в распоряжении Англии. Настанет время, когда американский флот будет зависеть от английской нефти. Владычица угля и морей станет и владычицей нефти. Таковы плоды усилий группы дальнозорких английских капиталистов во главе с Маркусом Самуэлем—председателем Шелл-транспорта, его заместителем Керзоном—бывшим вице-королем Индии, председателем группы Пирсона—лордом Кордей и техническим советником Джоном Кэдменом—профессором Бирмингамского университета, фактически разработавшим весь грандиозный план завоевания нефти. Огромные капиталы соединились с цветом технической мысли, организаторскими талантами, ухищрениями дипломатии и силой оружия.

А Америка между тем отдыхала на лаврах. Ведь она добывает 70% мировой добычи нефти! Ведь американская нефть была одним из основных факторов победы союзников. Широкая публика верила, что американские источники неиссякаемы и лишь через ½ года после перемирия специалисты заметили, что их запасы ограничены. Спрос на нефть внутри страны необычайно увеличился. Дешевые автомобили Форда стали достоянием широких масс фермеров и даже высоко-квалифицированных рабочих. 8 миллионов автомобилей (в 1920 г.; теперь свыше 10 миллионов) как «дорожные вши» покрывали дороги Америки. Автомобили и тракторы поглощали 85% национальной добычи нефти. Только 15% оставалось на промышленность, флот и экспорт. Стандард-Ойль стала по всему свету искать новых источников, но повсюду наткнулась на препятствия и обнаружила, что лучшие «места под солнцем» заняты.

В 1919 г. один из агентов Стандард-Ойль, вероятно прочитавший в библии об источниках асфальта у Мертвого моря, прибыл в Иерусалим. Английский генерал-губернатор его немедленно арестовал и, несмотря на резкие протесты Вильсона, выслал. Министерство иностранных дел Англии официально заявило, что оно никому не позволит охотиться за нефтью в Палестине и Месопотамии. Американцы ответили репрессиями против нефтяных о-в, внешне носивших американский характер, но субсидировавшихся английским капиталом. Американская пресса подняла яростную кампанию против англичан, забаррикадировавших от Америки весь «нефтяной мир». Американцы хорошо восприняли урок. Для окончательного недопущения иностранцев к разработке нефтяных богатств. в апреле 1920 года сенатом принят закон, предо-

ставляющий правительству право об'явить резерв нефтяных источников, не могущих продаваться без санкции министерства.

В мае 1920 года геологическое бюро опубликовало доклад о нефтяных перспективах Америки. В то время, как остальные страны потребляют 200 миллионов барилей в год и их источников хватит при таком потреблении на 250 лет, Соед. Штаты потребляют 400 миллионов в год и их источников хватит лишь на 18 лет. Бюро делает очевидный вывод—нам остается или сократить потребление, или добиться источников нефти в других странах. Но в Америке никто не собирался ограничить потребление. Фермер слишком привык ездить в автомобиле и вследствие недостатка дешевой рабочей силы возделывать землю тракторами. Значит, надо устремиться за границу. Вильсон летом 1920 года сообщает сенату подробности английского плана, направленного к устранению американцев от источников нефти во всех 5-ти частях света, захвате голландских компаний, превращении всех нефтяных фирм в агентов английского правительства, а также об угрожающей интересам американского капитала национализации источников Мексики, Гватемалы и Экуадора. После неудачи лицемерной проповеди открытых дверей, не нашедшей никакого отклика, вопрос о нефти вступил в полосу опасных дипломатических переговоров 2-х империалистических гигантов, между которыми жмутся остальные страны. Эта полоса каждый день грозит новыми столкновениями.

Несколько глав Делези посвящает роли Франции в нефтяном конфликте. Французская нефть разрабатывается главным образом английскими компаниями в Алжире (вблизи Орана), Марокко, Мадагаскаре, Лаоне и Новой Каледонии. Наконец пробные буровые работы ведутся в самой Франции, на Изере. Но все это лишь «музыка будущего». Гораздо важнее громадные капиталы, вложенные французскими банками в иностранные предприятия. По старой традиции французского рантье он избегает всякого риска, не знает и боится производства. Но если иностранное общество уже работает и дает хорошие «дивиденды», французский банкир не прочь вложить в него капиталы, собранные от многочисленных мелких рантье. На парижской бирже когда-то гремели (и теперь еще слышны) Северо-Кавказские, Лианозовские, Манташевские, Грозный, Бориклав и т. д., не говоря уже об акциях крупных китов—Шелл-Дотч и «Мексиканский орел». В нефтяные предприятия вложено много французских миллиардов. В некоторых из них большинство акций и с ними контроль в руках французских банков. Война, разрушив часть нефтяных владений Франции, дала ей новые в зонах германского влияния—в Галиции, Румынии и германских колониях.

Таким образом, пристав к английской или американской группировке, Франция может сыграть большую роль. О самостоятельной производственной роли французские капиталисты и не мечтают, и патриотический экономист, не жалея выражений, громит финансовую плутократию Франции, «лишенную инициативы, идеи» и т. п. Монополия на продажу нефти внутри Франции находится в руках 10-ти компаний, образующих картель и не допускаю-

щих никаких конкурентов. От иностранной конкуренции с услужливой помощью парламента удалось отгородиться китайской стеной запретительных пошлин. Французскому «общественному мнению», приходящему в ужас от каждого иностранного карандаша, таможенный чиновник кажется орудием национальной защиты, более благородным, чем солдат. Протекционизм считается экономической стороной патриотизма. И кучка финансистов с виртуозностью играет на конституции, которая делается в кулуарах парламента. Кучка нефтяных торговцев, фактически ничего не делающая, даже не перегоняющая нефть, а только продающая ее с надбавкой, обеспечила себе 50 миллионов ежегодной сверх-прибыли—своего рода контрибуцию феодальному сеньору от имени народа. Но стране эта конституция обходится несравненно дороже. Производство совершенно не развивается. Революция мазута прошла мимо Франции, так как нефть была там слишком дорога. Когда в 1920 г. пошлина на мазут была понижена, было уже слишком поздно. Из-за сохранения 10 олигархам их 50-ти миллионной прибыли, Франция опоздала на много лет. Для разработки своей нефти у нее нет подготовленных техников, геологов, пароходов-цистерн, насосов, резервуаров и трубопроводов, и французская металлургия не приспособлена к их производству. А чтобы начать их производить, нужно дешевое топливо, которого нет. Получается заколдованный круг, выход из которого—отдать французские источники иностранцам и покупать у них нефть. Славная победительница становится колонией концесионеров. Патриотическому синдикалисту этот выход не нравится, и он тщетно предлагает другой: болтаться между конкурирующими гигантами—Стандард-Ойль и Шелл-Ройял-Дотч, используя их противоречия, при чем симпатии Делези явно на стороне Америки и против Англии.

Последние главы книги Делези рисуют постепенный захват Англией французских нефтяных источников путем образования смешанных обществ, где Франция доставляет капитал, а Англия оборудование.

Акции Шелл-Ройял-Дотч наводняют парижскую биржу, давая в 1919 г. 35% дивиденда. После падения франка, спекуляция на этих акциях принимает повальный характер. Акции с номинальной ценой в 1000 флоринов (тогда 2.100 фр.) продаются за 72.000 фр. Доллар и цена топлива растут с каждым днем на фоне безудержной спекуляции и падения производства.

Оставалось лишь завоевать правительство и парламент, чтобы дипломатическим соглашением закрепить новую «entente cordiale». Чтобы замаскировать английский характер предприятия, на сцену выступает Ройял-Дотч со своим неудобопроизносимым голландским названием. В 1919 г. он обращается к кабинету Клемансо с предложением взять на себя эксплоатацию нефтяных богатств Франции и колоний, уступая государству часть производства, необходимую для удовлетворения его промышленных, военных и морских потребностей.

Французский парламент колеблется. И тут происходит одна из любопытнейших историй, ярко иллюстрирующих распад пресловутой Лиги Наций. В Малой Азии Францию теснят со всех сторон. Мустафа Кемаль про-

двигается в Каликии, Эмир Фессул безостановочно теснит в Сирии сенегальские легионы генерала Гуро. Французский контроль над железной дорогой Бейрут-Дамаск-Алеппо грозит исчезнуть. Слава французского оружия меркнет перед лицом всего мира. Причина: Эмир Фессул получает в изобилии оружие, снаряжение и золото от верного союзника—Англии.

Наконец, лорд Керзон открыто заявляет французскому правительству: подпишите соглашение с Ройял-Дотч и вы будете в Сирии. Мильерану приходится согласиться. Фессул предоставляется самому себе, и Гуро с триумфом вступает в Дамаск—ценой французской нефти.

Такова пикантная история соглашения в Сан-Ремо, запродавшего англичанам французские нефтяные интересы в французских колониях, в Румынии, Месопотамии и даже в «бывшей Российской империи». Специальный пункт соглашения в Сан-Ремо, говорит, что «оба правительства координируют свои усилия и оказывают взаимное содействие для получения концессий и экспорта нефти из обл. бывш. Российской империи». Подписали Мильеран, Бертело, Ллойд-Джордж, Кэдмен.

Каковы были скрытые пружины договора в Сан-Ремо? Намерена ли Англия действительно развивать добычу французской нефти? Ничего подобного. Здесь применяется своеобразная политика «концессионного мальтузианства». Концессии берутся не для эксплоатации, а для сокращения добычи и искоренения возможного соперника. Вообще, политика Англии по отношению к Франции необычайно характерна для современного капитализма. Одной из важных целей войны было стремление Англии ликвидировать германскую металлургию, грозившую подорвать промышленность Бирмингама и Шеффильда. Эта задача удалась, ¾ германской руды перешли к Франции. Но неужели Англия убила германского конкурента лишь для того, чтобы на запад от Рейна вырос новый соперник? Англия выходит из затруднения, систематически лишая французскую металлургию угля и поставляя его по невероятно высоким ценам.

Французские заводы платят 200 фр. за тонну угля, которая англичанам обходится в 84 фр., а немцам в 72. Развитие французской промышленности становится совершенно невозможным. Делези предвидит, что то же будет с нефтью. И с гневом он твердит о распродаже Франции ценой 35% дивидендов легкого размещения бумаг, куртажей и т. п. Мелкие буржуа в восторге. Что за дело французским рантье до развития промышленности. У них царит дух купона и куртажа. Всякий риск, всякое усилие кажется страшным. Не имея немцев (Багдад), они продают промышленность англичанам. Делези хочется, чтобы от этой распродажи выиграли американцы. Что ж! Вольному воля.

Но американцы все еще отдыхают на лаврах. В сознании своего могущества 80% мировой нефти и т. п., они не реагируют, даже когда англичане конфискуют нефтяную флотилию герм.-америк. нефтяного о-ва, немецкого филиала Стандард-Ойль, которую Америка собиралась передать Франции. Стандард-Ойль предложил Франции соорудить в Гаврском порту гигантские нефтяные резервуары и прямой трубопровод в Париж. Единственная в мире

французская бюрократия, под влиянием англичан, замариновала этот проект в своих кабинетах, так же, как и организацию франко-американского филиала Стандард-Ойль. Все попытки американцев добиться соглашения, дипломатич. ноты с требованием равных прав для американских и английских фирм получали в ответ лишь отписки. Наконец 25 июля 1920 г. «Temps» опубликовал полный текст соглашения в Сан-Ремо. Он свалился на американцев как снег на голову. Дальнейшие перспективы Делези рисует в самом мрачном свете. Нефтяное производство Франции теряет всякую возможность развития, а с ней и металлургия и др. отрасли промышленности. Англо-голландский трест по дорогим ценам передает жидкое топливо картелю 10, распределяющему его внутри страны с огромной коммерческой прибылью. Французская промышленность теряет возможность конкуренции с Англией и Германией.

Кроме того, Делези предсказывает немедленную реакцию со стороны Америки—отказ в снабжении Франции пенсильванским углем, коммерческих кредитах на восстановление разрушенных областей (в счет германских платежей) и самое худшее—немедленное требование французских долгов, составляющих 13 миллиардов золотых франков, т.-е. 30 миллиардов нынешних. Последнее одним ударом сбросило бы французский франк до уровня марки и австрийской кроны. Французская дипломатия играет на сантиментальности, со слезами напоминает о 1½ миллионах убитых, о разрушенных областях и т. д. Но что значат чувства в политике современных Шейлоков? Дальнейшие опасности еще грознее. На очереди небывалая экономическая борьба Англии и Соедин. Штатов.

Если Франция склонится к Англии, не станет ли Америка искать поддержки Германии? Симптомы этого уже на-лицо. Стандард-Ойль уже возобновил связь со своим старым германским филиалом и с Гамбург-Америка линией. Точно так же началось вкладывание американских капиталов в рейнско-вестфальскую промышленность. Немцы всеми силами содействуют этому сближению. Перед Францией трудная дилемма. Жить в мире с Англией, значит ссориться с Америкой, сближение с Америкой вызовет ссору с Англией. Надо выбирать. Как мы уже говорили, симпатии Делези всецело на стороне Америки. Он наивно уверяет, что Америка заинтересована не в эксплоатации Франции, а в развитии ее производительных сил. Либеральная Стандард-Ойль не станет препятствовать развитию французской нефтяной промышленности и прекрасно заменит Шелл-Ройял-Дотч, если та откажется снабжать Францию. Английский уголь также можно прекрасно заменить американским. А скоро и американский флот превысит английский и будет по дешевым ценам поставлять Франции все что угодно. И Делези мечтает (мечты радикальствующего мелкого буржуа) о свободной конкуренции, «справедливом» разделении концессий составлением самых жирных кусков в руках отечественного капитала, французских нефтяных источниках, разрабатываемых французскими о-вами, с французскими материалами и французским персоналом. В момент окончания книги (конец 1920 г.) для французских нефтяных патриотов блеснул луч надежды. В Париже образовалось огромное нефтяное о-во—

франко-Американский стандард—во главе с председателем Жюлем Камбоном—французским послом в Америке и товарищем председателя Брэдфордом—главой Стандард-Ойль. Но, по мнению Делези, эта надежда призрачна. Для ее осуществления надо работать, двигаться, рисковать. А французская буржуазия на это неспособна. «Шефы нации не имеют ее духа». Делези развивает характерную философию. Кучка лиц, стоящих во главе промышленности и банков, одна только может обозревать всю сложность современной жизни. Она всемогуща и не может быть контролируема. Демократия, суверенность народа—это только религиозные фикции. Кучка буржуазии руководит экономической и политической машиной страны. Но французская буржуазия не то, что английская и американская. Французский капиталист, добившись успехов, чужд всякого честолюбия, полезного для производительных сил. Он стремится лишь устранить конкуренцию внутри страны, провести запретительный тариф и, устранив риск, устранить усилия. Меньше производить, чтобы дороже продавать—вот его девиз. Подкуп прессы и избирательных комитетов—вот вся его общественная роль. И вся слава французской культуры, успехи ученых и артистов кажутся Делези лишь сумерками экономического значения страны, медленным, но верным вырождением. Такими пессимистическими нотами заканчивает Делези свою книгу, к которой приложен ряд интереснейших документов—текст вышеупомянутой ноты Клемансо Вильсону с мольбой о нефтяной помощи, «необходимой для победы над общим врагом, больше чем кровь», стенограммой речи Керзона на банкете межсоюзной нефтяной комиссии, вскрывающей всю хитрую механику английского нефтяного империализма и полным текстом конвенции в Сан-Ремо.

Как мы видим, книга Делези, несмотря на свою синдикалистскую мантию, насквозь проникнута буржуазным духом. В ней нет и попытки разобраться в борьбе двух мировых трестов с точки зрения пролетариата, который оба эти треста эксплоатирует с равной жестокостью. Пролетарских масс в книге Делези вообще как бы не существует. Интересы страны у него всецело отождествляются с интересами ее национальной буржуазии.

И тем не менее, фактический материал этой книги дает сильнейшее оружие как раз в руки международного пролетариата. Этим оружием является уже сама обнаженная картина борьбы всемогущих трестов, как пешками помыкающим правительствами, парламентами и общественным мнением, наравне с министрами, подписывающих мирные договоры, под видом национальной защиты бросающих народы в пучину войны. Как на ладони раскрывается картина современного разлагающегося сверх-капитализма, ставшего препятствием к дальнейшему развитию производительных сил, сокращающих производство для увеличения прибылей кучки финансовой олигархии. И весь капиталистический энтузиазм французского поклонника Стандард-Ойль не может скрыть агитационного значения этой картины. И еще яснее становятся центробежные силы, раздирающие единство недавних победителей и грозящие человечеству новыми войнами. Что может быть характернее того факта, что наш французский идеолог американского капитализма и одновременно горя-

чий патриот говорит об Англии с еле прикрытой вежливыми французскими фразами бешеной ненавистью. Мировая борьба Англии и Соединенных Штатов, скрытая подоплека Вашингтонской конференции «по разоружению» разоблачается до конца, побуждая пролетариат к бдительной настороженности и новой борьбе. Для полноты картины, раскрытой Делези, недостает только одного из ярких эпизодов мировой борьбы за нефть, настойчивых попыток Англии завладеть нефтью Азербейджана, вскрывающей экономические пружины денежного потока союзников русской контр-революции, «северозападного» или как его открыто в Англии называли «нефтяного» правительства Лианозова и грузинской политики союзников, а с ними и их верных приспешников—рыцарей 2-го Интернационала. Этот момент был бы особенно важен в связи с Генуэзской конференцией, на которой представители нефтяных трестов будут несомненно играть крупнейшую закулисную роль. Недаром, по отрывочным сообщениям прессы, представители Стандард-Ойль заявились в Геную еще раньше официальных делегатов, заняли лучший отель и намерены «внимательно следить» за каждой русской концессией, «защищая свои права».

Бакинская нефть в руках Советской России, все еще являющейся 3-ей страной в мире по производству нефти, как видно, не дает им спокойно заснуть.

Для полноты картины экономического положения мира, набросанной Делези на примере важнейшей отрасли промышленности союзников, не хватает также описания экономики побежденной Германии, с ее небывалой концентрацией промышленности, с растущей империей Стиннеса, так же, как нефтяные гиганты союзников помыкающего правительством, партиями, прессой и в значительной степени и рабочим движением для выкачивания всех соков страны на службу своим миллиардам.

Но и раскрытого Делези уголка картины современного сверх-капитализма достаточно, чтобы дать новый толчок боевой энергии пролетариата, усилить стремление к созданию единого фронта рабочих всех стран для борьбы с «железной пятой» мировых трестов, держащих в своих руках человечество и. в случае продолжения своего господства, грозящих ему бедствиями перед которыми померкнут миллионы жертв европейской войны.

---

# Высшая школа и диктатура пролетариата.

**Александр Буцевич.**

Ни один класс не может стать организатором общества, творцом и созидателем новых форм жизни без обладания наукой и техникой. Об этом достаточно красноречиво свидетельствует вся история от «тайной» (для непосвященных представителей низших классов) науки древнего Египта до нашего времени. Диктатура пролетариата и прочность Советской власти также настоятельно требуют, чтобы рабочий класс, достигнув решающего политического и экономического положения в Советской России, не ограничивался этим и вплотную подошел к вопросу овладения наукой и современной техникой—этими главнейшими рычагами современной культуры, как для создания своих кадров «красной профессуры» и «красных техников», так и для того, чтобы быть в силах приступить к заложению фундамента науки будущего социалистического общества.

Если мы обратимся к прошлому, то увидим, что, так наз., эпоха «Возрождения» была одновременно эпохой выступления на историческую арену тогда еще совсем юного и нарождающегося класса буржуазии и вместе с тем послужила толчком к «возрождению наук и искусств». XVII и XVIII века— время наиболее успешной борьбы за власть уже находящейся в полном расцвете буржуазии англосаксонских и романских стран (Франции) со старым феодально-дворянским строем, также дает новый толчок к усиленному развитию научного знания. В это время наука достигает столь высокого развития, совершаются такие великие открытия, что современная наука эпохи наибольшего расцвета господства буржуазии и вместе с тем наибольшего расцвета техники, всецело опирается на наследие этих прошлых веков, поставивших изобретением математического анализа научное знание на новые рельсы «точных наук».

Не может быть и сомнения, что и эпоха штурма пролетариатом твердынь капитализма послужит могучим толчком дальнейшему развитию знания. Подобно тому, однако, как растущая буржуазия в свое время заимствует от оставленного ей наследия феодальных веков лишь немногие здоровые крупицы истины и, откидывая все остальное, как ненужную «схоластику», строит

на этом, а также на наследии от античной цивилизации, как на фундаменте, свою собственную науку, точно так же нарождающееся социалистическое общество в лице рабочего класса, поступит и с наследием буржуазного мира: все ненужное, наносное, проводимое и проповедуемое в интересах правящей клики, оно отметет как ветошь, заменит своим... Конечно, полученное нами теперь наследие будет бесконечно бо́льшим, чем то, какое нарождающийся класс буржуазии взял от средних веков (и даже от эллинской культуры), но это не меняет сути дела. В первую очередь, несомненно, изменятся и методы научного исследования.

Во время политического господства дворян, наука в западной и средней Европе была предметом роскоши феодального общества, требовала или большого богатства или покровительства меценатов, тщеславию которых служила, и вместе с тем была небезопасным делом подчас для ее адептов (костры инквизиции). В развившемся буржуазном обществе мы видим уже совершенно иное: ученый здесь занимает почетное положение в обществе, но наука по-прежнему остается замкнутой для непосвященных, служение ей нередко, в качестве ремесла, передается от отца к сыну, методы исследования остаются строго индивидуальными и в конечном результате образуется своеобразная замкнутая в себе научная каста с корпоративной солидарностью. В результате этой системы много самобытных талантов из народа не могут пробиться, заклевываются, а ученые кафедры занимаются нередко трудолюбивыми посредственностями. Это, конечно, принижает полет науки, но является неизбежным в качестве необходимого условия классового господства буржуазии и потому всемерно поддерживается ею. В этом смысле вся современная наука до математики и естествознания включительно, имеет выдержанно-буржуазный, классовый характер.

Правда, либеральничающая часть буржуазии (к крайним разветвлениям которой нельзя не причислить и социал-оппортунистов, сторонников всяческих «легальных возможностей»), непрочь поиграть в «народные дома», «народные университеты», популяризацию науки, но именно поиграть, так как там преподается в сущности суррогат научных знаний и никогда не учат методам самостоятельной творческой научной работы, не приближают науку к народным массам, рвущимся к овладению знаний, а лишь «популяризуют» ее.

Здесь, следовательно, мы видим не уступку, а лишь умный и тактичный шаг более дальновидной части «передовой» буржуазии, которая хорошо понимает, что грубое сопротивление стремлению овладеть знанием должно уступить место более тонким приемам умелого обхода сути дела, заменой знания суррогатом. Но если в тактике по этому вопросу у отдельных групп буржуазии и случается расхождение, то в основном у них расхождения быть не может и никогда добровольно буржуазия не сдаст этих позиций, не даст нарождающемуся социалистическому обществу, в лице борющегося за власть с буржуазией пролетариата, овладеть наукой и вполне понятно почему: ведь это ключ к господству и этот ключ в интересах буржуа-

зии должен остаться за семью замками для пролетариата. Вся эта греческая и латинская премудрость; на первый взгляд такая бессмысленная, глупая, «схоластическая», мертвящая душу ребенка постановка средней школы; сухой и малопонятный слог научных сочинений—все это имеет свой глубокий классовый смысл.

Всем, вероятно, памятны знаменитые слова царского министра народного просвещения Дмитрия Толстого о «кухаркиных сынках». У страха глаза велики и черносотенный граф, очевидно, спутал стремление одиночек из низших сословий пробраться вверх по общественной лестнице с стремлением осознавшего себя труда овладеть наукой. Первое нисколько не опасно господствующим классам, наоборот, полезно, так как усиливает их за счет пролетариата энергичными и полезными молодыми силами и вместе с тем лишает трудящихся опасных для буржуазных господ положения вожаков, так как «приручает» последних, делая на худой конец из них социал-оппортунистов, парламентских говорунов из 2 и 2½ Интернационалов, с титулом «доктора прав», последнее же, т.-е. стремление организованно овладеть наукой, научными методами, наоборот, крайне опасно для господствующих классов и в этом направлении буржуазия, конечно, не сдаст добровольно ни одной позиции.

Западная Европа не так откровенна и не так глупа, как черносотенный аристократ-министр, она не говорит громких слов и вместе с тем, конечно, не боится выскочек, но латинский и даже греческий языки цветут там вовсю (не встречая оппозиции ни в какой группе классов, в общем более выдержанной, чем наша былая русская буржуазия), с определенной целью. Радикально преградить дорогу к науке рабочему классу в целом, оставив лишь лазейки для ограниченного числа наиболее честолюбивых одиночек из народных низов и вместе с тем служить надежным средством «воспитания» будущих примерных чиновников, образцов «умеренности и аккуратности», подавлять слишком уже яркую (и потому опасную) индивидуальность, сводить все по возможности к среднему уровню посредственности (как известно, большинство умных людей в буржуазном обществе и выдающихся ученых отнюдь не из «лучших» учеников буржуазных гимназий с их культом памяти и подавлением всякой оригинальности в мышлении).

Университеты по сравнению с гимназиями, конечно, в бóльшей степени являются очагами знания, но и здесь стремятся в первую голову дать диплом, да некоторое количество заученных положений, а в некоторых странах (напр., Франция) студентов сплошь и рядом дрессируют как школьников. Поэтому хотя здесь и дается бóльшая возможность проявить научную оригинальность, тем не менее де-факто для огромного большинства кончающих это лишь патентованная «фабрика дипломов» и ничего более и притом еще тщательнее охраняемая от всяких покушений низов, чем средняя школа...

Несомненно, будущее общество пойдет по иному пути. Преодоление этих научных барьеров должно стать одним из существенных заданий стремя-

щегося к созданию социалистической культуры пролетариата. Реформ общего образования, которая позволит лучше определить наклонности детей замена «народных» университетов для широких масс, скажем «пролетар скими», где не ограничивались бы лишь шаблонной популяризацией кро знания со стола науки богатых, но приблизили бы к слушателям (пусть очень узкой области, быть может, по одному предмету или их группе) эт самую науку с ее методами вплотную и далее уничтожение, нако нец, в более далеком будущем теперешних буржуазных «фабрик дипломов» таким образом, чтобы «диплом был ничто, а знание—все», широкая доступ ность этого знания—все это звенья того далекого и нелегкого пути, по ко торому нам предстоит сделать лишь первые робкие шаги.

В процессе этой работы будет, очевидно, основательно пересмотрено наследие прошлого с тем, чтобы отделить плевелы от зерна. Драгоценным критерием в данном случае является материалистическое пони мание всех экономических, социальных и жизненных явлений в форме диалектического материализма, как оно вылилось в трудах основоположни ков социалистической доктрины в половине прошлого столетия. Оно, несо мненно, послужит рабочему классу путеводной звездой в лабиринте насле дия буржуазной культуры и вместе с тем прочным фундаментом для науки будущего.

Об организации науки будущего пока можно только гадать, так как хотя пути в общем и давно уже намечены, но в загоне в капиталистических странах, как вредные интересам правящих классов. Несомненно, однако одно—приблизившись к народным массам и найдя себе сотни тысяч и миллионы сотрудников во всех областях знания и во всех уголках земного шара, посвящающих ей не профессионально, а из глубокого интереса к знанию часть своего досуга,—наука сможет выйти из душных городов и университетских аудиторий и заменить свои теперешние методы—ржавое наследие насквозь индивидуалистического буржуазного мира—новыми коллективистическими; массовые исследования, коллективное творчество станут при этом важнейшей ее двигательной силой.

Слабые зачатки этого будущего живут и теперь среди нас: «союзы любителей» различных знаний с доступом туда и внекастовым ученым и просто любителям развиты в Германии и других странах; у нас в России некоторые ученые имеют подчас своих сотрудников «корреспондентов» в провинции, обращаются к ним за сведениями и делают соответствующие «сводки» (напр., проф. Кайгородов в «Петроградской Правде» о природе); существуют далее научные общества, как, напр., географические, астрономические, археологические и т. д., относительно более доступные и не—профессионалам ученым; наконец, у нас в Сов. России имеется и более революционная организация этого рода «ассоциация натуралистов». Все это, однако, только еще слабые начатки, скорее предчувствие будущего. В современном капиталистическом обществе им не суждено развиться, а или совершенно заглохнуть, или сойти на роль блестящей игрушки.

Радикальная перестройка науки социалистическим обществом хотя и н. очереди, но, однако, еще не близка. Все это дело более далекого будущего требующее для своего развития не одного десятилетия. Перед нами же стои сейчас более скромная по об'ему, но серьезная задача овладения со временной буржуазной наукой и культурой, создани своих кадров ученых и техников, иными словами приспособление науки для нужд и целей пролетарского государства. Эта задача с одной стороны является необходимой предпосылкой для первой более длительной и широкой, а с другой стороны она вызывается конкретными и насущными потребностями текущего момента нашей молодой Советской Республики, необходимостью овладеть производством путем создания кадра специалистов и техников из среды самих трудящихся, вышедших из недр рабочего класса и тесно спаянных с ним. Здесь, не посягая почти совсем на сущность и форму современной науки, рабочий класс стремится поучиться, «идет на выучку» в университетские аудитории и технические школы. Что важность завоевания науки всегда сознавалась рабочим классом, видно хотя бы из того, что одним из первых шагов Сов. власти было широко раскрыть двери высшей школы для всех желающих. Но мы уже видели, что главным оружием защиты буржуазной науки является ее трудная доступность, требующая большой предварительной подготовки, поэтому соответствующая декларация Наркомпроса оказалась, в сущности говоря, «покушением с негодными средствами», и мы и далее имели в высшей школе «белоподкладочное» студенчество, чуждое революции. Отсюда естественным выходом было создать при высших учебных заведениях подготовительные группы, где рабочий элемент смог бы получить необходимые предварительные знания, которые открыли бы ему доступ в высшую школу. Так родились рабфаки, вливающие особенно с 1921 г. мощные струи пролетарской молодежи в высшую школу. Затем следующим этапом был классовый прием студентов. Когда вторая ступень дала известные кадры молодежи с законченным образованием, естественно было использовать их, чтобы через профсоюзы и партию заполнить первые курсы высшей школы выходцами из трудовых слоев населения в особенности, конечно, из рабочего класса. Чрезвычайно важным является также упрощение преподавания, сокращение излишних предметов и курсов, большая доступность и наглядность изложения, преобладание практики и соответствующее сокращение курса высшей школы. Это выразилось в так называемой «трехлетней» реформе высшей школы, в создании нового устава высшей школы, который вводит предметные комиссии с голосом в них преподавателей и слушателей и тем самым низводит профессора с роли непогрешимого авгура к более демократическому (в отношении слушателей), и вместе с тем коллективному решению академических вопросов, и вместе с тем с сохранением права назначения «деловых» правлений обеспечивает проведение в жизнь этих начинаний. Для осуществления всех этих начинаний, наконец, Советская власть пошла по пути концентрации всего технического и вообще высшего образования в одном органе—Главпрофобре.

Как реагировала профессура на это?

Уже вопрос о сокращении курса до трех лет вызвал самое ожесточенное сопротивление, и, не преувеличивая, можно сказать, что эта совершенн необходимая реформа не проведена под разными предлогами даже там, где е осуществление вполне обеспечено, путем сокращения безнадежно разбухши энциклопедических программ. А ведь, это тенденция к большей специализаци, к большему практицизму программ вовсе не выдумка коммунистов, опирается на опыт западной Европы и для Сов. России крайне необходимо начинание ввиду острого недостатка в специалистах. И тем не менее почт всюду мы видим стремление свести на-нет эту реформу, дать в три года лиш незаконченное образование, а двухлетнюю надстройку научно-исследователь ских курсов обратить в естественное продолжение трехлетнего курса. На ряду с этим дружным сопротивлением в таком казалось бы невинном вопросе мы видим и иные тенденции: не только приблизить курс к пониманию новой аудитории, а наоборот. Так, напр., в ряде с.-хоз. высших учебных заведени курс «высшей математики», бывший необязательным, даже, напр., старом Ново-Александрийском институте, теперь именно является обязательным (и это когда подготовка нового слушателя, в особенности в области математики, так слаба!). Трудно не видеть тут основательных рогаток сознательно вводимых для пролетарской части аудитории... А рабфаки и и взаимоотношение с высшей школой? Не буду касаться истории их происхождения. Отмечу только, что в настоящее время они насчитывают до 40 тыся студентов и принцип разверстки приема в них между профсоюзами и партией и требование в числе условий приема годичного стажа у станка— достаточно гарантирует классовый состав этого авангарда пролетарского студенчества, идущего на завоевание знания. Все это, конечно, не слишком нравилось части профессуры—в результате трения правлений рабфаков с превлениями соответствующих ВТУЗ'ов, бойкот рабфаков частью профессуры и т. д. Например, в сельскохозяйственной «Петровке» в 1920 году, часть белоподкладочного студенчества, не без поддержки отдельных профессоров, оказывала даже попытку противиться открытию рабфака (а перенесение его в Москву и отрыв, следовательно, от «Петровки»—мечта очень многих). Но положение особенно обострилось примерно с осени прошлого года, когда для «делающей политику» в высшей школе части профессуры стало ясным, что Сов. власть справилась с заданием, и они получат тысячи студентов из пролетарских слоев, уже на основном курсе. В результате мы видим всюду глухую борьбу против студентов-рабфаковцев вплоть до уверения, что это «не настоящие студенты», а большевистские соглядатаи. В настоящее время враждебной рабфакам части профессуры даже удалось добиться комиссии по «согласованию» рабфаков с высшей школой, но... и только, так как ни на какие существенные уступки в этом вопросе Сов. власть, конечно, итти не может. А классовый принцип приема на основной курс высшей школы? Мне припоминается, как публично реагировал на слух о классовом приеме на заседании Совета по высшей с.-х. школе один из вид-

ных и вместе с тем сравнительно «лойяльных» (вернее, умеющих сдерживать себя и приспособляться) профессоров, предупредивший, что если прием передадут «нам» (т.-е. профессуре), то они будут резать на испытаниях всех, командируемых партией и профсоюзами... Комментарии, я думаю, излишни. Другие были, правда, не так откровенны и именно поэтому порою, особенно в провинции, сумели извратить принципы приема до того, что в высшее с.-х. учебное заведение на Дону принято, напр., лишь... 6% командированных (это-то при классовых принципах приема!), из них что-то... 2% членов Р. К. П. То же самое имело место в ветеринарном институте в далеком Омске. Борьба и здесь шла упорная, как видно, и надо сознаться, что не везде и всюду мы, т.-е. представители интересов пролетариата, оказались победителями...

В результате целого ряда отдельных выступлений политиканствующей части профессуры (особенно пресловутого Высшего Технического училища) движение это вылилось в так наз. «забастовку профессуры». Политический характер последней не подлежит никакому сомнению, особенно теперь, когда инициаторы, скромно выступавшие ранее с «экономическими» требованиями (умело используя наши промахи), теперь открыто говорят об академических «свободах» и о пересмотре устава высшей школы и пытаются провести нужное им в виде неподчиненных правлению «советов» и «президиумов» из профессуры на тех деловых совещаниях, которые Сов. власть в интересах улучшения дела в высшей школе так охотно созывает. Но может быть эти «свободы» и есть то необходимое, без чего высшая школа действительно не может обойтись, не может нормально существовать? Чтобы разобраться так ли это, необходимо ознакомиться ближе с историей вопроса. Борьба за «свободу» высшей школы (читай—ее профессуры) возникла, как противодействие вмешательству помещичьей касты в лице царского самодержавия в нормальное развитие нужной буржуазии высшей школе и здесь в качестве борьбы нарождающегося буржуазного класса с помещичье-феодальными пережитками—было несомненно прогрессивным явлением, так как профессура и идущее за ней студенчество выступали с л е в а (правда, в очень узкой сфере) против диктатуры помещичьего самодержавия в стране. Совсем иное мы имеем теперь, когда та же кадетствующая часть профессуры выступает в интересах нарождающейся нэповской буржуазии с п р а в а против диктатуры пролетариата. Здесь мы имеем дело очевидно с определенным р е а к ц и о н н ы м движением, откровенной попыткой наступления на завоевания революции в области овладения научным знанием. Поэтому если те или иные изменения (напр., выборность ректоров) в уставе и возможны, то в о с н о в н о м, конечно, он должен остаться без изменения, и попытки замены правлений «советами» и «президиумами» одностороннего состава, наступления на предметные комиссии и рабфаки должны быть конечно отбиты, как диктуемые не столько действительными нуждами высшей школы, сколько соображениями совершенно иного порядка наших политических противников. Другое дело те необходимые поправки и изменения к уставу и его приспособление к тем или иным типам высших учебных заведений, что должно деловым образом

улучшить положение высшей школы. (Эта-то последняя работа, однако. как раз гораздо меньше интересует профессуру!)

Посмотрим теперь в самом деле так ли уже была стеснена инициатива профессуры до настоящего времени, существовала ли действительно такая непреодолимая инерция у соответствующих органов Советской власти, которая сводила на-нет все творческие усилия отдельных групп профессуры и тем вызвала теперь стремление к автономии? Легко убедиться в том, что в действительности ничего подобного не было уже хотя бы по тому необычайному росту высшей школы в провинции, шедшему помимо центра (и большею частью вопреки его желаниям), а также бесконечного числа кафедр, факультетов и т. п. Присматриваясь к плодам этой пресловутой «факультетомании», приходится говорить скорее о другом: о слабом и недостаточном контроле центра и вообще государственного аппарата над этой свободной инициативой отдельных профессоров и их групп. Умело лавируя между советскими органами, профессура в конечном результате пользовалась величайшей автономией, так как, в самом деле, где в мире возможно было бы, кроме Советской России, создание явочным порядком новых кафедр, факультетов и даже целых высших учебных заведений, коренное изменение программ этих учебных заведений и т. д. Итак, реально эта автономия была и притом достаточно широкая, и она конкретно показала неуменье профессуры без сдерживающего начала государственных органов организовать должным образом (хотя бы с буржуазной точки зрения!) высшую школу. Дутые университеты в десятках центров, факультеты без оборудования и научных сил, параллелизм кафедр факультетов (и программ этих последних) при числе слушателей, порою достигающем цифры... двух студентов! (напр., в лесном факультете Стебутовской с.-х. академии в Петрограде бок-о-бок с Лесным институтом, по поводу чего известный специалист, отнюдь не коммунист, Крюков летом прошлого года не без иронии писал, что каждый студент обойдется Республике в миллиард, т.-е. примерно этак тысяч в 50 золотом на теперешний курс, и что такой курьез «едва ли возможен где-либо еще в мире, кроме как... в Сов. России»), увеличение штатов высших школ на 300—700%%, крайний энциклопедизм преподавания и т. д., и т. д.,—вот печальное постепенно ликвидируемое вмешательством уже государственной власти наследие этой явочной автономии. Итак, разумная политика в высшей школе—это упорядочение последней путем твердого управления высшей школой в деловом сотрудничестве со всеми составными элементами последней, в первую очередь с профессурой, на почве принципов, заложенных в уставе высшей школы. Не нужно забывать и о том, что далеко не вся профессура склонна к саботажу. Наоборот, многие как раз видные ученые и значительная часть особенно молодых сил склонна далеко итти навстречу Советской власти на почве деловой работы в высшей школе без камня за пазухой. Наша очередная задача поэтому суметь завоевать в большей мере, чем до сих пор доверие более передовой части научных работни-

ков высшей школы, непосредственно сблизившись с ней и защитить должным образом ее интересы. Для этого в первую голову надо покончить с таким явлением, как, напр., использование реакционной части профессуры в качестве орудия против инакомыслящих научных работников, сокращения штатов (удаление под этим благовидным предлогом сочувствующих Сов. власти, что, увы, имело место) или аппарата КУБУ (такие скандальные истории, как зачисление по оплате А. К. Тимирязева в «начинающие» ученые, попытка не регистрировать одного видного ученого, за то, что он принял, видите ли, видный «советский пост» и т. д.). Наконец, должна быть начата решительная борьба с, увы, все еще достаточно распространенным явлением выдвигания научных ничтожеств на солидные кафедры исключительно по соображениям реакционно-политического характера. Для достижения серьезных результатов в этой нелегкой борьбе в первую очередь необходимо сплотиться коммунистической части профессуры и научных работников, так как только при их дружной и планомерной работе возможно будет создать среди ближе стоящих к советской платформе, а затем и колеблющихся и даже пассивных научных работников и настроение противоположное тому, которое создается в ученой среде враждебными нам классово-политическими группировками. Только тогда при все более и более пролетаризующейся (благодаря рабфакам) аудитории высшей школы и умело проведенному перелому в настроениях самой профессуры, можно будет считать теперешний антагонизм высшей школы и пролетарской диктатуры изжитым окончательно и без остатка в желательном для интересов рабочего класса смысле.

# Об основных проблемах экономической теории социализма.

В. Мотылев.

Развертывающаяся социальная революция придала характер актуальности и злободневности проблемам экономической теории социализма. Начавшаяся уже марксистская разработка этих проблем постепенно развертывается в ширь и в глубь. Проблемы эти приобретают, однако, одновременно, актуальный и злободневный характер и для идеологов капитализма. Переход к практическому строительству социализма должен неминуемо усилить и ободрить теоретическую борьбу буржуазной научной мысли с ненавистными социалистическими учениями и положениями. Естественно поэтому, что хозяйственные неудачи периода военного коммунизма и частичный возврат к капиталистическим формам хозяйства должны были ободрить критическую мысль буржуазных ученых и вызвать с их стороны ряд новых попыток теоретического «низвержения» социализма. Одной из таких попыток являются статьи г. Бруцкуса [1]), посвященные критике,—в свете опыта российской революции,—социализма, как социально-экономической системы, и марксизма, как теории научного социализма. Статьи эти не блещут оригинальностью,—носят поверхностный и фельетонный характер и в другое время вряд ли заслуживали бы внимания. Но в современных условиях они приобретают интерес, ибо характеризуют выпукло и четко идеологические и теоретические позиции научных апологетов капитализма. С другой стороны, они могут и должны быть использованы в качестве оселка для положительного освещения некоторых проблем. Мы остановимся, поэтому, лишь на тех частях статей, которые заслуживают внимания с этой точки зрения.

## I.

Г. Бруцкус констатирует факт, что марксизм не разработал теории социалистического строя и конкретного плана строительства социализма. Этот факт г. Бруцкус об'ясняет отчасти тем обстоятельством, что марксизм был

[1]) Бруцкус, „Проблемы народного хозяйства при социалистическом строе" Статьи в журнале „Экономист" №№ 1, 2, 3. Петроград 1922 г.

поглощен критикой капиталистического строя и анализом тенденций его развития,—что для организации единого интернационального рабочего движения и для борьбы за социальную революцию—углубленная разработка теории социалистического хозяйства не была безусловно необходимой. Однако такое об'яснение кажется нашему критику недостаточным. Ведь социальная революция все время приближалась, и вопрос о творчестве нового строя становился все более актуальным! Глубокие причины неразработанности социализма как положительного учения г. Бруцкус усматривает в том, что категории марксизма несостоятельны и оказываются неприменимыми при попытке разработки теории социализма,—в том, что само социалистическое хозяйство в том виде, как оно понимается марксистами, неосуществимо.

Какова, однако, действительная причина «поразительного факта» неразработанности социализма как положительного учения?—Г. Бруцкус не уяснил себе основного различия между марксистами и социалистами-утопистами! Марксизм с достаточной полнотой определил,—как это вынужден признать и критик,—основные принципы социалистического хозяйства и основные пути строительства в переходную эпоху. Марксизму совершенно чуждо было, однако, стремление утопистов тоеретически конструировать заблаговременно отвлеченным умозрительным путем подробное строение, социалистического хозяйства и конкретный план переходных мероприятий. С точки зрения марксизма вполне очевидно, что все это будет определяться в каждый данный момент и в каждой данной стране—уровнем развития производительных сил, социальной структурой общества, особенностями развития других стран,—что конкретный план этот будет твориться и совершенствоваться в длительную переходную эпоху. Г. Бруцкус имеет, однако, против такой точки зрения серьезное возражение:

«От разработки такой теории марксизм не имел достаточных оснований отказываться. Поставив во главу угла принцип эволюции, Маркс тем не менее не перестал быть революционером. В известном споре между К. Каутским и В. И. Лениным о том, предусматривает ли Маркс превращение капиталистического общества в социалистическое в форме медленного процесса, складывающегося из ряда частичных реформ, как полагает первый, или в форме единовременного переворота, как полагает второй, мы решительно должны стать на точку зрения В. И. Ленина» (№ 1, стр. 49).

Действительно ли, однако, Маркс предусматривает превращение капиталистического общества в социалистическое в форме «единовременного переворота»? В том-то и дело, что спор между Лениным и Каутским шел не по вопросу возможно ли «единовременное» превращение капит. общества в социалистическое, или неизбежна более или менее длительная переходная эпоха! Спор шел о том, каким путем, при какой тактике пролетариата вообще возможен переход к социализму: путем ли революционных действий гражданской войны, диктатуры пролетариата, или путем соглаша-

тельства и реформизма. Под «единовременным переворотом» понимает лишь установление диктатуры пролетариата и ее укрепление!

«Мы говорим рабочим: вам придется пережить 15, 20, 50 лет гражда ских войн и битв народов не только, чтоб изменить общественный строй, і чтоб изменить и самих себя и сделаться способными к политическому госпо ству» (Маркс, «Кельнский процесс коммунистов»).

Очевидно, и по Марксу дело не так просто! Очевидно, капиталистич ское хозяйство не превращается «единовременно в социалистическое, отделяет их друг от друга более или менее продолжительная эпоха.

Стремление г. Бруцкуса изобразить переход к социализму как «един временный переворот», конечно, не случайно и имеет «глубокие» причины Нашему критику такая постановка вопроса потому так нравится,—чт облегчает критику ненавистного социализма! Это проявляется особен ярко в его отношении к периоду военного коммунизма в России. Г. Бруцк силится представить дело таким образом, будто период военного коммуниз представляет собою осуществление того развернутого социалистическо строя, к которому стремились марксисты. Неосуществимость социализма с доказывает фактами затруднений, болезненных искажений и разрухи п риода военного коммунизма. Эти явления, по его мнению, характерны всег и вообще для всяких попыток строительства социализма,—имманентны с циализму, как таковому.—Г. Бруцкусу будто бы непонятно, что перис военного коммунизма с его крайностями и губительным влиянием на с стояние народного хозяйства России был обусловлен напряженной борьбо на фронтах и в тылу с классом, к которому он принадлежит и идеологи которого он формулирует, а также разрухой, которую оставили его един мышленники в наследство восставшему пролетариату!..—Г. Бруцкусу будт бы неизвестно, что развернутый социализм может появиться лишь в резуль тате переходной эпохи как ее продукт,—что план и методы строительств социализма будут совершенствоваться, а предпосылки социализма—созда ваться целую длительную переходную эпоху,—что факторы и регулирующи формы капиталистического хозяйства будут лишь постепенно заменяться со циалистическими по мере совершенствования последних!.. Г. Бруцкусу будт бы непонятно, что в России, как в стране отсталой, изолированно поднявшеі знамя революции,—творчество социализма должно было искажаться и за держиваться рядом неустранимых препятствий и что, поэтому, опыт Росси в области хозяйственного социалистического строительства не всегда може служить основанием для суждений о социализме, как таковом!..

## II.

Основной проблемой строительства социалистического хозяйства г. Бруцкус справедливо считает проблему «ценностного» учета. Всякая хозяйственная деятельность, как общее правило, должна быть подчинена принципу соответствия между затратами и результатами. Но установление

такого соответствия возможно лишь при наличии единицы «ценностного» соизмерения затрат и результатов. При капитализме задача установления ценности выполняется стихийным процессом при посредстве денег. Возможна ли, однако, система безденежного «ценностного» учета? Г. Бруцкус полагает, что—нет. Разберемся.

Как известно, одна из первых в России попыток разработки системы безденежного учета,—однако, не «ценностного», а натурального,—принадлежит А. В. Чаянову [1]).

Так как предложенная им система, встретившая возражения со стороны марксистов, считается и г. Бруцкусом ошибочной, то на ней мы останавливаться не будем.

Все марксисты, занимавшиеся разработкой этой проблемы в России в период военного коммунизма, когда она временно приобрела большую остроту,—сходятся в том, что в основу построения системы безденежного «ценностного» учета при социализме следует положить трудовую единицу измерения и соизмерения производимых благ [2]). Таким образом, при практическом подходе к проблеме выявилась правильность указаний Маркса и Энгельса, что при социализме производимые блага будут измеряться непосредственно рабочим временем.

«Коль скоро общество вступает во владение средствами производства и применяет их в непосредственно общественном производстве,—труд каждого лица становится сам по себе непосредственно общественным трудом. Для того, чтоб определить в таком случае количество заключающегося в продукте общественного труда, не надо теперь прибегать к косвенному пути; ежедневный опыт непосредственно указывает, какое количество его необходимо в среднем. Общество может просто учесть, сколько часов труда воплощено в паровой машине, в гектолитре пшеницы последнего урожая, в ста кв. метрах сукна известного качества» (Энгельс, «Анти-Дюринг»).

Итак, если при капитализме трудовая стоимость определяла цены как общественное отношение, складывающееся и развивающееся в стихийном процессе за спиною производителей, то при социализме определение трудовой «стоимости» должно производиться рациональным, сознательным путем. Проблемы, возникающие отсюда, настолько очевидны, что г. Бруцкусу не составило труда их перечислить и формулировать в качестве возражений.

---

[1]) А. Чаянов „Методы безденежного учета хозяйственных предприятий", 1921 г. Сокращенное изложение этой книжки Чаянов дает в „Эконом. Жизни" за 1920 г. №№ 225, 231, 247. Марксистскую критику Чаянова смотр. в статьях Струмилина, там же №№ 237, 284, 290 и в статье Е. Варги, там же № 259.

[2]) Слова „ценность" и „стоимость" и их производные употребляются нами в применении к социализму в ином, конечно, смысле, чем в применении к капитализму. Ниже мы на этом вопросе кратко остановимся. Проблема трудового учета с марксистской точки зрения освещена в след. статьях: 1) Струмилина — в „Эконом. Жизни" 1920 г. №№ 237, 284, 290; 2) Е. Варги, там же № 259; 3) В. Сарабьянова — в „Народном Хозяйстве" 1921 г. № 4.

Остановимся, прежде всего, на проблеме редукции—сведения сложно труда к простому. При капитализме «различные пропорции, в котор различные виды труда сводятся к простому труду, как к единице их измер ния, устанавливаются общественным процессом за спиной производителей (Маркс). Как произвести это сведение рациональным путем? Г. Бруцкус сп шит превратить этот вопрос в возражение! Он недоуменно спрашивае как определить коэффициенты перевода сложного труда в простой.

Относительно способов определения коэффициентов перевода — марксистской политической экономии существует, однако, в настоящее врем ясная и определенная точка зрения, хотя в деталях еще имеются расхожде ния. Труд квалифицированный, как источник стоимости, тем отличается о труда неквалифицированного, что он есть труд обученного рабочего, в кс тором овеществлены трудовые издержки его производства, как квалифици рованной рабочей силы, т.-е. рабочее время, потраченное как им, так и ег учителями на обучение его квалификации плюс трудовая стоимость средст существования, потребленных им за период обучения. Естественно, что о за равный промежуток времени производит большую стоимость, чем неква лифицированный рабочий, ибо в производимых им предметах воплощаетс не только рабочее время, непосредственно затраченное им на их производ ство, но и некоторая часть трудовых издержек его производства как квали фицированного рабочего. Все количество рабочего времени, затраченного им лично и его учителями на обучение его квалификации, а также вопло щенное в потребленных им за период обучения средствах существования,— переносится по частям в течение периода его работы как квалифицирован ного рабочего на производимые им предметы.—При уточнении вычисления «издержек обучения» следует в них включать кроме трех вышеуказанных также и прочие, более мелкие,—стоимость орудий и материалов обучения и т. п. С другой стороны,—и это очень важно,—если в период обучения обучающийся используется как простая рабочая сила или создает отчасти вещи, то соответственное количество рабочего времени надо вычесть из общей суммы трудовых издержек его обучения, ибо тем самым он в соответственной части уменьшает общую затрату рабочего времени на его обучение [1]). Таким образом, путь рационального сведения сложного труда к про-

---

[1]) О. Бауэр в своей обстоятельной статье, посвященной проблеме редукции, — „Квалифицированный труд и капитализм", не учитывает этого последнего обстоятельства. Между тем при капитализме является почти правилом, что подростки используются на заводах в процессе обучения как простая рабочая сила и по мере обучения специальности—во все увеличивающемся размере принимают участие в создании товаров, воплощая в них свой труд. — Любопытно, что вполне по-марксистски трактует проблему редукции при социализме г. Туган-Барановский, развивая точку зрения, аналогичную Бауэру (Туг.-Бар., „Социализм, как положит. учение", стр. 102).—Перевод статьи Бауэра напечатан в недавно вышедшем под ред. т.т. Дволайцкого и Рубина сборнике „Основные проблемы полит. экономии", — Е. Варга в упом. статье предлагает при сведении считаться лишь с рабочим временем, потраченным самим обучающимся. Мы считаем, однако, что из современной теоретической постановки проблемы вытекает след. формула

стому ясен. Необходимо вычислить по каждой профессии в среднем чистые трудовые издержки обучения и на основании этого вычислить коэффициенты перевода различных видов сложного труда к простому.

Г. Бруцкус указывает, что такие коэффициенты будут весьма условны, и притом принципиально неприменимы, если высшая квалификация обусловлена природными дарованиями. Но что касается нормальных средних различий в природных дарованиях, то, как мы увидим ниже, их роль учитывается при учете разницы в ловкости и интенсивности труда. Указание на неизбежную условность коэффициентов явно несерьезно: ведь при капитализме в любом крупном предприятии производятся с большой точностью гораздо более сложные наблюдения и вычисления.

Но допустим даже, что при исчислении коэффициентов могут быть первое время допущены ошибки. Имеют ли они существенное значение? Прав т. Варга, указывающий, что «ошибочная оценка различных видов труда может служить лишь незначительным источником ошибки, так как она распространяет свое действие только до пределов степени различия отношения между необученными, обученными рабочими и рабочими специалистами».

Не менее важно отметить, что существенная разница между квалифицированным и неквалифицированным трудом может иметь место лишь на первых ступенях социалистического строя. При развернутом социализме разница эта почти исчезнет, ибо всесторонняя механизация производства устранит необходимость в простой рабочей силе в ее современном понимании. С другой стороны, специальное обучение и общее обучение сольются в единую синтетическую систему трудовой школы;—все будут проходить курс обучения равной продолжительности. Все это означает, что необходимость редукции—временное явление. При развернутом социализме разница между рабочими по «издержкам обучения» исчезнет, а значит исчезнет и необходимость редукции.

Не более сложна и проблема различий в производительности труда, обусловленных различиями в интенсивности и ловкости. Тов. Варга формулирует ясно простое правило учета таких различий:

«Для всякого рода работ установлена норма, при чем эта система норм постоянно совершенствуется. Тот рабочий час, который дает нормальную выработку, считается простым часом. Если рабочий вырабатывает двойную норму, то его рабочий час считается за два рабочих часа. Число часов умножается на коэффициент производительности» (Варга. Упом. статья).

Очевидно, что тем самым решается и вопрос об учете нормальных различий в природных дарованиях, поскольку они проявляются в большей производительности вследствие большей интенсивности или ловкости. Это не относится, конечно, к выдающимся талантам.

---

сведения: рабочее время, потраченное обучающимся, плюс раб. время, потрач. учителями, плюс трудовая стоимость средств существования обучающегося, плюс стоимость материалов обучения, минус рабочее время, которое обучающийся использовывался во время обучения, как рабочая сила.

Чувствуя, что принципиальная осуществимость трудового учета очевидна, г. Бруцкус пробует запутать неизбежностью многочисленных «условностей» и сложностью задачи,—необходимостью одновременного производства учета на всем протяжении народного хозяйства, так как каждое производство пользуется материалами и орудиями, полученными извне. Но ведь каждое предприятие, производя трудовой учет своего продукта, тем самым облегчает такой учет тем предприятиям, для которых этот продукт служит средством производства или сырым материалом, топливом. Особенно легок будет трудовой учет «стоимости» производства в предприятиях, добывающих сырье и топливо и применяющих наименьшее число элементов производства. Зная же «стоимость» сырья и топлива, нетрудно вычислить стоимость производимых орудий производства. Следует отметить, что всю эту предварительную работу можно и должно осуществить в первые же периоды переходной эпохи, когда еще действует денежный ценностный учет.

## III.

Трудовой учет при его осуществлении дал бы определение трудовых затрат производства каждого блага. Он не разрешил бы, однако, ряда других проблем. Какая часть производительных сил должна быть уделена на производство предметов потребления? Какая на производство орудий производства, сырья, топлива? Какая подлежит накоплению? Какие конкретные потребительные ценности и в каком количественном отношении производить?

Все эти основные вопросы могут найти свое разрешение лишь при систематическом текущем учете потребностей в потребительных и производительных благах и осуществлении единого хозяйственного плана на основе соразмерения трудовых затрат и полезности. Путем изучения потребностей определяется степень напряженности каждой потребности по отношению к различным количествам соответственных благ и степень настоятельности потребностей в сравнении друг с другом. Задача построения единого хозяйственного плана заключается в таком распределении производительных сил между различными отраслями народного хозяйства, чтобы трудовые затраты соответствовали степени полезности, вернее—необходимости производимых благ. Единый хозяйственный план в его общей формулировке дает лишь общие директивы отдельным отраслям производства, которые на основе более тщательного учета конкретных потребностей в соответственных продуктах—определяют свою конкретную производственную программу [1]).

Г. Бруцкус приятно поражен тем обстоятельством, что марксисты при попытке определить принципы хозяйственного строительства при социализме заговорили об учете степени полезности благ и о соразмерении трудовых

---

[1]) Об едином хозяйств. плане смотр. след. статьи: 1) С. Струмилина—в „Эконом. Жизни", 1920 г. № 284; 2) Е. Варги, так же № 293; 3) В. Милютина—в „Народном Хозяйстве", 1920 г. № 4.

затрат со степенью полезности. Не дав себе труда вникнуть в сущность этих формулировок,—г. Бруцкус радостно констатирует, что марксисты вынуждены были признать верность теории ценности Австрийской школы и синтетической формулы Туган-Барановского для социалистического строя.—что марксист Струмилин вынужден был «ввести понятие полезности хозяйственных благ».

Г. профессор в своем критическом усердии договорился здесь до явной чепухи! Понятие полезности, потребительной стоимости является основным понятием теории стоимости Маркса. Полезность предметов является условием и предпосылкой их стоимости. Больше того,—по Марксу товары могут реализовать свою стоимость полностью, если их количество соответствует общественной потребности, т.-е. если общественный труд распределен между различными сферами производства пропорционально, соответственно с общественными, количественно определенными потребностями. (Но ведь для установления именно такого соответствия и необходимо при социализме соразмерение трудовых затрат и полезности!) Положение это четко формулировано Марксом и в I т. «Капитала» (стр. 76 и 77, изд. 1920 г.), и в III т. «Капитала» (стр. 172 и 173, изд. 1908 г.), и в «Теориях прибавочной стоимости». Больше того,—Маркс и Энгельс сами четко формулировали способы применения этого положения при построении социалистического хозяйства:

«В будущем обществе, где исчезнет антагонизм классов, где не будет и самих классов, не потребление будет зависеть от минимума времени, необходимого на производство, а, наоборот, количество времени, которое будут посвящать на производство того или другого предмета, будет определяться степенью его полезности» (Маркс, «Нищета философии»).

«Оно (соц. общество. В. М.) должно будет выработать план производства, сообразуясь со средствами производства, к которым в частности принадлежат также и рабочие силы. Степень полезности различных предметов потребления, приравненных друг к другу, согласно необходимым для их воспроизведения количествам труда, определит окончательно этот план» (Энгельс, «Анти-Дюринг»).

Тождественны ли, однако, эти положения по существу с положениями Австрийской школы и Туган-Барановского? Разберемся.

Взаимное сходство этих принципов г. Бруцкус усматривает в учете степени полезности, в построении скалы потребностей и в соразмерении полезности и трудовых затрат. Но, во-первых, у австрийцев это—процесс психических суб'ективных оценок индивидуумов, из столкновения которых на рынке рождается цена. В нашей же формулировке это—об'ективно-статистический анализ потребностей членов общества, а значит и полезности и необходимости различных предметов, производимый хозяйственными органами на основе данных различных наук и обследований. Во-вторых, у австрийцев эти положения играют роль первичного исходного звена их построений. У нас же—все построения австрийцев были бы неприменимы даже при тождестве исходных положений (чего в действительности нет!), ввиду отсут-

ствия рынка, цен и даже категории ценности-стоимости в ее капиталистическом смысле. Таким образом, учет полезности в формулировке Энгельса не имеет по существу никаких элементов сходства с теорией предельной полезности. То же, да не то же! Сходство чисто словесное, формальное! Все это относится и к «синтетической» формуле Туган-Барановского, пытающегося установить пропорциональность между суб'ективной и индивидуалистической категорий предельной полезности и об'ективным явлением—уровнем трудовой стоимости. Такого соответствия между категорией индивидуального хозяйства и категорией социального хозяйства не может быть при капитализме; ничего подобного нет и при социализме, ибо полезность понимается не в смысле суб'ективной предельной полезности! Что же касается психического явления суб'ективной ценности, то следует отметить, что она и при социализме,—вплоть до его высшей ступени—коммунизма,—будет определяться об'ективным фактом, уровнем трудовой затраты, ибо доход членов общества будет фиксирован и реализовываться он будет в общественных магазинах путем покупки предметов по их об'ективным трудовым «стоимостям»!..

Г. Бруцкус пытается доказать, далее, что априорный учет потребностей неосуществим. Потребности людей чрезвычайно индивидуальны и изменчивы. В области питания наука до сих пор не в силах дать точное определение состава элементов, необходимого различным лицам в зависимости от их профессии, возраста, психических и физических особенностей и т. д. Еще более изменчивы и индивидуальны потребности в одежде. Не легче и учет иных потребностей.

Дело, однако, в том, что г. Бруцкус путает, прежде всего, нормирование р а з м е р а потребления с нормированием самих элементов и предметов потребления. В период военного коммунизма мы вынуждены были временно ввести нормирование элементов и предметов потребления (пайка!). Г. Бруцкус притворяется непонимающим, что при социализме нормировываться будут лишь размеры потребления, а не его предметы.

Каждому лицу будет открыт в идеальных деньгах счет определенного размера в общественных магазинах, в пределах которого оно сможет свободно выбирать предметы потребления. Таким образом, при социализме априорный учет потребностей будет корректироваться движением спроса, быстро учитываемого усовершенствованными статистическими методами. С другой стороны, научные исследования уже недалеки от точного и исчерпывающего определения потребностей людей в элементах пищи. Наконец, и это не менее важно,—при социализме все производство потребительных благ будет подчинено указаниям науки и искусства и, таким образом, производство будет итти впереди потребностей и их развивать и совершенствовать. Определяемость потребностей и потребления развитием производства, формулированная Марксом в «Введении к критике политической экономии»,—является бесспорным законом и для эпохи социализма. Динамика потребно

стей будет и при социализме определяться, как это имеет место при капитализме,—динамикой производства!..

Обратимся теперь к невыясненным еще нами проблемам трудового учета, прежде всего к различиям в степени механизации производства и в общественно-необходимом рабочем времени. Г. Бруцкус полагает, что когда имеется на-лицо разница в этих условиях, то трудовой учет теряет какое бы то ни было значение, ибо не может служить основанием для суждений о выгодности предприятий. Как поступит, спрашивает он, социалистическое общество, находящееся в блокаде и испытывающее голод и холод, с кружевными фабриками, если затрата труда на них значительно ниже общественно-необходимой? Как поступит оно с малопродуктивными фабриками кос, работающих с затратой труда, превышающей общественно-среднюю? Что будет оно развивать,—канатные фабрики или канатные кустарные мастерские, работающие с затратой, превышающей общественно-необходимое рабочее время? Трудовой учет сам по себе на эти вопросы ответить бессилен и г. Бруцкус усматривает в этом его несостоятельность.

Ошибочность этих примеров критика заключается, однако, в том, что он требует от трудового учета таких указаний, которые должен дать не он, а учет потребностей, учет элементов производства, построение хозяйственного плана. Поддерживать ли кружевные фабрики, малопродуктивные фабрики кос, кустарные канатные мастерские,—все это вопросы, которые легко будет решить путем учета наличия необходимых элементов производства, с одной стороны,—учета насущных потребностей, с другой стороны,—и пропорционального распределения производительных сил между отраслями производства. Роль трудового учета заключается, таким образом, в том, чтобы выявить трудовую затрату производства. Сопоставление же этой трудовой затраты с другими условиями даст возможность решить любой конкретный хозяйственный вопрос. Разница же в общественно-необходимом рабочем времени выявляется трудовым учетом [1]).

Чтобы покончить с возражениями г. Бруцкуса по вопросам трудового учета, нам надо остановиться еще на роли издержек транспорта и различий в естественных условиях производства. После всего вышесказанного ответить на эти вопросы нетрудно. Что касается транспортных издержек, то при определении трудовой «стоимости» продукта необходимо будет начислять трудовую стоимость его перевозки [2]). Таким образом, при сравнении трудовых затрат двух продуктов издержки перевозки будут учитываться. Что же касается различий в естественных условиях (плодородие, рудоносность и т. п.),

---

[1]) Разница в степени механизации предприятий дала повод М. Смит и С. Клепикову предложить „энергетическую“ единицу измерения. См. их статьи в „Народном Хозяйстве“ за 1920 г. № 3. Обстоятельную марксистскую критику их предложений см. там же в № 4, в статье т. В. Сарабьянова.

[2]) О приемах исчисления в трудовых единицах транспортных издержек см. статью В. Толстопятова: „О новом ценностном измерителе для учета ж.-д. хоз.“, „Эконом. Жизнь“, 1920 г. № 276.

то, очевидно, нужно будет разделить все участки по их естественным свойствам на разные группы с разными минимальными нормами производительности. Последняя задача несомненно трудна и сложна, но принципиально вполне разрешима.

## IV.

Следуя примеру «австрийцев»—Бем-Баверка, Визера и др., г. Бруцкус пытается доказать, что явления и процессы, соответствующие категориям капитала, ренты, прибыли, процента на капитал и т. п.—сохранятся и при социализме,—а значит, категории эти не исторические, как утверждают марксисты,—а логические. Г. Бруцкусу нужно стереть грань между капитализмом и социализмом, «опорочить» тем самым социализм и поднять идейный престиж капитализма! При социализме, утверждает г. Бруцкус, рабочие тоже не будут получать полный продукт своего труда, хотя социалисты и марксисты это обещают (!). За равный промежуток времени одни группы рабочих, работающие в более механизированных предприятиях или на более плодородных или рудоносных участках земли, произведут больше продукта, чем такой же численности группы рабочих, работающих на слабо механизированных предприятиях, на малоплодородных и менее рудоносных участках. Если первые группы рабочих не получат соответственно большую заработную плату, то, таким образом, общество получит с предприятий прибыль, а с участков—ренту,—рабочие же не получат продукта своего труда. Разберемся!

Прежде всего, неверно, будто марксисты стремятся каждому обеспечить полный продукт его л и ч н о г о труда.

Г-н Бруцкус, оказывается, не знает, что марксисты считают эту идею мелко-буржуазной и категорически ее отвергают. Социалистическое общество, требуя от каждого трудящегося выработки определенной нормы в соответствии с естественными условиями и степенью механизации его производства, обеспечивает каждому своему члену доход, соответствующий степени богатства общества в целом. Все отдельные виды труда представляют собою органические части совокупного общественного труда, и задача заключается в том, чтобы так распределить этот труд между сферами производства, чтобы непрерывно шел процесс производства, воспроизводства и потребления. Все, что производится совокупным общественным трудом, за вычетом части, идущей на расширение производства и на восстановление средств производства,—идет в фонд потребления, распределяемый между всеми членами общества. Социалистическое общество уже потому хотя бы не получает «ренты» и «прибыли», что весь производимый общественный продукт образует единый фонд, распределяемый и используемый указанным выше образом. Не менее важна и другая сторона вопроса. Представим себе даже на минуту, что общество действительно получает ту прибыль и ренту, которые указаны в примерах критика. Кто получает эту «прибыль» и «ренту»? Единое общество, все его члены в лице хозяйственных органов общества. Как будет

использована эта «прибыль» и «рента»? Очевидно для удовлетворения пс требностей общества. Кто получает ренту и прибыль при капитализме? Осс бые классы, нетрудовые группы, в результате присвоения неоплаченного труд рабочих. Как используется ими эта рента и прибыль? Для удовлетворени личных потребностей и для накопления капитала. Разница, как видит чи татель, настолько существенная и глубокая, что об'единить обе группы явле ний под одной категорией «ренты» и «прибыли» и об'явить их на этом осно вании логическими категориями можно, лишь совершенно потеряв способ ность разбираться в социально-экономических явлениях! Между тем г. Бруц кус заявляет, что такое отвлечение от классовых отношений безусловно не обходимо, так как они своим влиянием на эмоциональную сторону обычно затемняют вопрос. Близорукость и ограниченность нашего критика порази тельны! Он отвлекается от того, что составляет сущность капитализма и его категорий и затем с триумфом устанавливает логический характер этих категорий! Своеобразный научный метод! Таким путем г. Бруцкусу нетрудно было доказать логический характер категорий ценности (стоимости) [1], капитала, процента на капитал...

Остановимся в заключение бегло на некоторых других рассуждениях критика.

Преимущество капитализма над социализмом г. Бруцкус усматривает в хозяйственной свободе и свободной конкуренции. Но ведь это не характерно для развитого капитализма: капитализм трестов и синдикатов уничтожает свободу конкуренции и стесняет свободу хозяйственной инициативы и тем не менее развивается. Очевидно, эти «свободы» на определенной ступени социального развития оказываются ненужными! На таком же забвении истинного положения вещей при капитализме основано утверждение критика, что при капитализме предприятиями управляют предприниматели-капиталисты, лично заинтересованные в результатах производства,—при социализме же будут управлять чиновники-бюрократы, не заинтересованные лично в ходе производства. Ведь общеизвестно, что в эпохи финансового капитала не только государственными и коммунальными, но и частными предприятиями управляют те же директора-чиновники и управляют хорошо. Почему же это даст плохой результат при социализме? Ведь основные сти-

---

[1]) Взглядом на категорию ценности-стоимости, как на логическую категорию, грешат в упом. статьях т.т. Струмилин, Сарабьянов, а также А. Богданов. Но ведь из того факта, что трудовая затрата является логической категорией, не следует, что таковой категорией является ценность-стоимость. Ценностью-стоимостью мы называем специфические формы действия, проявления и обнаружения, которые трудовая затрата принимает при капитализме, скрываясь за ценой, ценой производства, рыночной стоимостью и т. п. и регулируя распределение труда стихийным путем, а цену товаров—косвенным модифицированным образом. При социализме эти специфические формы отпадут, а значит—отпадет и эта категория. Из того, что слова „ценность" и „стоимость" могут остаться в разговорной речи, нельзя делать вывода, что категория „ценность-стоимость" сохранится. См. Энгельс, „Анти-Дюринг", IV главу III-го отдела.

мулы, побуждающие чиновников-директоров проявлять инициативу и предусмотрительность,—можно будет в переходную эпоху сохранить, а при социализме—утончить и усложнить соответственно новой психологии людей!

Свободу труда г. Бруцкус считает несовместимой с социализмом,—исходя из опыта периода военного коммунизма и учитывая необходимость распределения труда людей соответственно хозяйственному плану. Наш критик будто бы не понимает, что принудительная организация труда в период военного коммунизма обусловлена была военной обстановкой и голодом, а не принципами социалистического хозяйства! Чрезмерное же применение принудительных методов организации труда и чрезмерное увлечение ими в идеологии являлось временной ошибкой, навеянной военным строем и военными условиями борющегося пролетарского государства. При социализме обстановка труда будет такова, что люди сами будут направлять свой труд соответственно велениям хозяйственного плана, без суб'ективного ощущения вынужденности. В тех же случаях, когда какие-либо работы все же будут испытывать недостаток рабочей силы,—общество найдет способы привлечения как материального свойства, так и морального.

Поучительную бедность мыслей и ограниченность понимания проявил г. Бруцкус,—специалист по аграрному вопросу,—в рассуждениях о сельском хозяйстве и социализме. В его представлении марксисты-коммунисты хотят приблизить сельское хозяйство к социализму лишь путем кооперации и принудительного превращения крестьян в батраков (!). Г-ну Бруцкусу неизвестно, что первому способу марксисты придают лишь частичное значение, а второй категорически отвергают. О главном же г. Бруцкус даже не упоминает: марксисты всегда говорили и говорят ныне, что лишь механизация и электрификация сельского хозяйства создадут предпосылки коллективизма в деревне, что задача приближения сельского хозяйства к социализму лежит на промышленности!

Г-н Бруцкус предусматривает возможность перерождения социализма в классовое общество путем захвата управляющими хозяйством верхами производительных сил!.. Он никак не может понять, что социализм приходит на смену капитализму лишь потому, что мощный уровень развития производительных сил, коллективизм производства взрывает душащие его и несоответствующие ему капиталистические производственные отношения. Как же может быть, чтоб еще более мощный уровень развития производительных сил, характерный для социализма, мог привести к возрождению архаических капиталистических отношений собственности?!

Наконец,—и это особенно любопытно, г. Бруцкус приписывает марксистам-коммунистам мещанскую оценку социализма и коммунизма, как совершенного строя, блаженного состояния, где личности уж нечего больше творить. Воистину чудовищная нелепость! Такой взгляд он приписывает диалектическим материалистам!.. Марксисты-коммунисты прекрасно понимают, что социализм и коммунизм не являются конечным и совершенным обществом.

Наоборот, они открывают безграничный простор совершенствованию общества и личности. Развитие техники, меняя производственные отношения, будет вести общество к новым высшим формам социальной жизни! Росту техники будет соответствовать и рост подчинения природы человеку, рост мощи и совершенства личности!..

# Попытка уяснения процесса творчества с точки зрения рефлекторного акта [1].

В. В. Савич.

Н. В. Веселкину посвящает автор.

Прослушав как-то доклад о творческой фантазии, я остался совершенно неудовлетворенным при обычном трактовании предмета с суб'ективной точки зрения; получалось впечатление какой-то шаткости и расплывчатости. Еще хуже было во время прений: положительно каждый влагал свое собственное содержание в понятие фантазии, и порой оно так расширялось, что чувствовалась ясная потребность уже в новом слове—интуиции. И в то же время мне казалось чрезвычайно просто трактовать весь этот предмет с точки зрения физиологии; чем больше я думал об этом предмете, тем яснее и яснее становилась для меня возможность подобного толкования, исходя из тезиса Сеченова: «мысль о машинности мозга при каких бы то ни было условиях для всякого натуралиста клад». Рассмотрев таким образом творчество наиболее

---

[1]) Из нашей статьи в № 4 „Красной Нови" („Впечатления о работах в петроградских лабораториях") читатель мог познакомиться вкратце с замечательными работами академика И. П. Павлова и его многочисленных учеников, создавшими своим учением об условных рефлексах совершенно новую главу в области изучения нервно-психических явлений. В настоящее время учение об условных рефлексах, родившееся на почве изучения нервно-физиологических явлений у фистульных собак, с полным правом считает себя достаточно сильным, чтобы осуществить тем же методом условных рефлексов анализ сложных нервно-психических явлений в мозгу человека. Одною из первых среди таких смелых попыток является предлагаемая статья. Она принадлежит перу одного из крупнейших учеников и сотрудников проф. Павлова и была первоначально напечатана в специальном научном журнале („Известия Института имени Лесгафта", т. IV, 1921 год). Но по своему содержанию и значимости она, конечно, заслуживает гораздо более широкого распространения и представит интерес не только для специалиста, но и для всякого мыслящего человека, ищущего объективных методов для исследования сложных явлений человеческой психики.

Вот почему я был искренне обрадован, получив от проф. Савича разрешение использовать эту статью для более широкой аудитории. Настоящая статья передана мною в редакцию „Красной Нови" с теми небольшими изменениями, которые сделаны в ней для этой перепечатки самим автором.

*Б. Завадовский.*

характерных для XIX в. умов Дарвина и Пастера, я убедился в полной возможности и эту область включить в сферу действия условных рефлексов. Кроме того, меня здесь привлекала относительная легкость исследования: в автобиографии Дарвина можно найти прекрасный материал, значительно помогающий при анализе; последовательность в работах Пастера давно обращала на себя внимание. Вот подобную попытку я и осмелюсь предложить вниманию читателя.

Прежде всего, что такое рефлекторный акт? Это есть роковой ответ организма на достаточно сильное раздражение, падающее на ту или другую воспринимающую поверхность, чрез посредство центральной нервной системы. Сложность этих актов различна: для некоторых достаточно только части спинного мозга, для других нужна целость продолговатого мозга и т. д. В мозгу пути рефлексов переплетаются и перекрещиваются, при чем с различной сложностью происходит передача раздражения с воспринимающего органа на рабочий—будь то мышцы или железы. В простом случае проводящие импульсы сразу передаются на отводящие пути. Однако нельзя забывать, что каждый приводящий нерв соединен с массою отводящих, кои и могут вовлекаться все больше и больше в процесс возбуждения (напр. при усилении раздражения). При слабом раздражении только строго локальная реакция, при усилении раздражения все более и более вовлекаются новые группы мышц, двигаются не только задние лапки лягушки, но и передние! Теперь раздражение уже переходит со строго ограниченного пути, оно как бы разливается—иррадиирует, захватывая все новые и новые центры. Как яркий пример иррадиации можно привести животное, отравленное стрихнином, когда минимальные раздражения вызывают общие судороги. Итак, способность к иррадиации есть основное свойство мозга. В мозгу происходят не только явления возбуждения, но и торможения. Раз достаточно сильный раздражитель пущен в ход во время действия другого рефлекторного акта, то этот последний задерживается часто до полного исчезновения. Возьмем для примера Quackversuch Гольца: при раздражении спинки лягушка квакает, положим зажим на лапку—кваканье пропало, снова снимем зажим, и лягушка опять заквакала! Пока мы говорили лишь о простых рефлексах, врожденных, для их действия не требуется целости коры головного мозга. Без нее они даже проявляются легче: обычно от коры идут тормозные импульсы, угнетающие простые рефлексы. Кроме этой группы есть и другая. Рефлексы этой второй группы возникают во время жизни животного путем опыта, они не врожденные, а приобретенные, индивидуальные и называются условными, замыкательными, сочетательными. Последнее название указывает на способ их образования. Вольем собаке кислоту в рот, тотчас же потечет слюна; сколько бы раз ни вливали кислоту, всякий раз ответом будет слюнотечение. Это простой, безусловный рефлекс. Теперь перед вливанием кислоты произведем определенный звук и только после этого сделаем вливание, и скоро получается новое замыкание, образовалась новая, ранее не бывшая связь между звуком и слюнной железой. Теперь по звуку будет отделяться слюна. Стоит

удалить звуковую область в коре, и этот условный рефлекс пропадет—это корковый рефлекс, воистину рефлекс головного мозга Сеченова! При удалении звуковой области могут еще образоваться другие замыкательные рефлексы. Раз удалена вся кора—этот вид рефлексов пропадает окончательно, животное остается только с безусловными врожденными рефлексами. Жизнь такого животного возможна только при тщательном уходе. Ведь с помощью этих замыкательных рефлексов организм и входит в тесную связь со своей сложностью внешнего мира. Раз образован прочный условный рефлекс, с его помощью можно образовать другой без помощи безусловного. Относительно собаки это бесспорный факт. Явление иррадиации и возбуждения так же характерно для коры полушарий, как вообще для мозга. Оттого при выработке условного рефлекса на тон в 1.000 колебаний также действуют тона в 1.500 к. и 500 к., хотя они никогда не сочетались с безусловными рефлексами. Дело в том, что возбуждения, падающие на центр, соответственной 1000 к. разливаются дальше, иррадиируют, захватывая близ лежащие центры, и эти центры входят в связь со слюнной железой. Дабы избежать путаницы, организм пускает в ход тормозной процесс, который и угнетает эти прибавочные рефлексы. Итак, в коре мозга мы имеем те же два основных процесса, возбуждение со своей иррадиацией и торможение со своей. Тормозной процесс, пожалуй, для коры более первичный. Ориентировочная реакция при каком-нибудь звуке уменьшается при повторении у нормального животного и, наконец, совершенно исчезает. Не то у собаки без полушарий: несмотря на тысячу повторений у ней всегда сохранялась ориентировочная реакция, торможения не было вовсе (Зеленый). Итак, простые рефлексы могут благодаря коре тормозиться. Поэтому становятся понятными опыты Демидова: у его собаки при разрушении мозга условный рефлекс на звук не мог образоваться, а тормоз на звук мог. Более примитивные функции остаются дольше, более диференцированные пропадают раньше. Итак, дольше всего держится корковое торможение безусловных рефлексов, потом образование условных рефлексов, всех скорее пропадает торможение условных рефлексов при поражении мозга.

Все эти факты получены при изучении животных, у человека процесс совершенно подобный. Лучше всего проследить это по «Дон-Кихоту», где процесс возникновения новых рефлексов прослежен шаг за шагом. Образование новой связи изображено во введении II части, где говорится о сумасшедшем, бросавшем камни с головы на собак. Как-то он даже убил собаку. Хозяин за это жестоко бил его, приговаривая «Разве ты не видел, что убил ищейку». Поправившись от побоев, сумасшедший опять взяв камень на голову, подходил к собакам и, проговорив под нос: «Смотри, ведь это ищейка», уходил прочь. Механизм образования условных связей у человека и животного один и тот же.

Для совершения рефлекторного акта непременно требуется раздражение, но не всякое раздражение вызывает видимую реакцию, порой ее не получается от одновременного тормозного процесса.

Как и почему начинает разыгрываться фантазия, столь прихотливая и своенравная, что, казалось, ее никакими законами не подчинишь, ни в какие рамки не вложишь? Но для изучения этого вопроса обратимся опять к Дон-Кихоту. Там так поразительно ясно и ярко проводится идея машинности мозга, что становится совершенно понятной гениальная догадка Декарта о механизме работы мозга. Примитивность рассказа Сервантеса касается таких подробностей и деталей, кои нам теперь уже утомительны. Мы слишком привыкли понимать с полунамека. Зато эти подробности дают весьма богатый материал, точно протоколы опыта, и мы можем следить за всем процессом шаг за шагом: сперва Дон Кихот зачитывался страстно «рыцарскими романами», т.-е. он образовывал с помощью одних только условных рефлексов целые цепи новых условных связей. Когда этих «рыцарских» связей стало достаточно и они достаточно притом окрепли, они и стали определять все поведение Дон-Кихота. Дабы он увидал великанов, ему все-таки нужен был какой-нибудь внешний раздражитель, который возбудил бы ранее образованную группу рефлексов. И вот мельницы своей величиной и дают ему нужное замыкание, и затем Дон-Кихот всецело во власти раньше образованных связей. Верный Санчо ясно видит безумие своего господина, тщетно умоляет его бросить мельницы: этот тормоз оказывается слишком слабым! И вот Дон-Кихот действует, как какой-то автомат: от постоянного чтения рыцарских книг у него оказалась масса условных связей, образованных не опытами жизни, т.-е. не при помощи безусловных, а только книгой, т.-е. при помощи одних условных возбудителей. Безусловные рефлексы стоят всегда в деловом отношении к внешнему миру: без их помощи организм не может находиться в состоянии равновесия с окружающей средой. Даже условные рефлексы, образованные сочетанием с безусловным, отличаются несколько от правильных соотношений; так вязкость слюны от условного пищевого рефлекса меньше вязкости на еду, наоборот вязкость от отвергаемых веществ больше при условном, чем при безусловном (Зеленый). Таким образом при условных рефлексах нет уже той разницы, коя наблюдается при безусловных рефлексах на пищевые и отвергаемые вещества. Можно себе легко представить, что условный рефлекс II порядка, образованный только с помощью условных, еще более отойдет по вязкости от безусловного. В конце концов дело может дойти до того, что полученную слюну уже нельзя будет характеризовать ни как пищевую, ни как отвергаемую. Вот та почва, где родится иронический вопрос Пилата, что есть истина. Вот где подчеркивается необходимость сочетаний с безусловными рефлексами: это одно только и предохраняет от путаницы! Вот отчего опыт—это подкрепление безусловным рефлексом связей, образованных при помощи одних условных рефлексов—и есть краеугольный камень верного отношения к действительности. Отсюда же делается совершенно понятным, почему Дон-Кихоты разных калибров являются у всех народов, во все времена и во всех областях. Ведь не все ли равно, с помощью каких средств будут образовываться новые условные связи без всякого содействия безусловных? Всегда и везде будет фатально один и тот же результат.

хаотичность всегда будет аналогична Дон-Кихотовой, какие бы источники н были взяты для образования новых условных связей, будь то рыцарски книги, или богословские, экономические, медицинские. Относительно послеі них можно привести хотя бы только воображаемые болезни студентов I курса при чтении в первый раз курса частной патологии.

Обратимся снова к Дон-Кихоту. При его сильной возбужденности доста точно только одного признака величины предмета, дабы дать идею о велика нах, а там все пойдет по протореной старой дорожке. И вот ветряная мель ница пустила в ход своей величиной, маханием крыльев целый ряд раньш образованных рефлексов. То же самое при встрече двух стад овец. Итак, дл начала работы фантазии Дон Кихота, как для всякого рефлекса, требуется ка кое-нибудь внешнее раздражение. Оно-то и действует как необходимый воз будитель целой цепи рефлексов. Само собой понятно, что для получения боль шой иррадиации возбуждения необходима повышенная возбудимость нервноі системы. Только при этом условии раздражения, слабые сами по себе, еще і состоянии вызывать все новые и новые рефлексы, аналогично дуновению производящему у стрихнинизированного животного общие судороги. С удивительной реальностью описывает Сервантес последние минуты Дон-Кихота Умирая, он бросил свой бред о рыцарских подвигах: во время болезни возбудимость его нервной системы так пала, что теперь все эти мельницы уже не в состоянии вызвать возбуждение, достаточно сильное, хотя Санчо теперь и старается вызывать старые рефлексы рыцарского цикла. И вот Дон-Кихот Ламанчский исчез, а остался умирать Алонзо Кихано Добрый среди плача и общего сожаления домашних и близких. И разве это судьба одного только рыцаря печального образа понять истину, великую реальность жизни, только во время своей агонии?!

Как прямую антитезу Дон-Кихоту можно привести «человека в футляре» Чехова. Здесь явное преобладание торможения. Рефлексы образуются только тормозного характера. А в результате получается то же существо с совершенно извращенной реакцией на внешний мир. «Как бы чего не вышло»—вот главный мотив, руководящий принцип. Как настроения Дон Кихота заражают других, так и настроения человека в футляре передаются окружающим, словно центры возбуждения и торможения с их иррадиациями. Различие в том, что насколько настроения, внушенные Дон Кихотом, приятны, настолько тягостны от человека в футляре. Отсюда рождаются разного рода репрессии, исключение из гимназии и все это только благодаря фантастичному отношению к реальной жизни. Как ни различно поведение Дон Кихота и человека в футляре, нелепость отношения к внешнему миру их совершенно одинакова. Причина одна и та же: и у человека в футляре образуются целые цепи рефлексов с ярко выраженной тормозной иррадиацией, и все это происходит только путем образования новых связей, только при помощи одних условных возбудителей. Итак, возбуждение со своей иррадиацией и торможение со своей одинаково приводят к хаотическому отношению к внешнему миру. Лишь благодаря торможению иррадиация возбуждения

держится в должных границах и оттого и делается полезной организму: дается возможность образования новых связей, а все ненужное, не отвечающее правде жизни, отметается прочь. Но и торможение сперва действует через край: оно не только подавляет побочные замыкания, но порой тормозит и основные. Только постоянным подкреплением последних безусловными раздражителями и угашениям всех побочных в конце концов и вырабатывается вполне точное, действительно отвечающее внешним условиям отношение организма к окружающей среде. Теперь на-лицо полная специализация реакции животного. Итак, мы видим три стадии—возбуждение, торможение; специализация; психологи давно подметили их—теза, антитеза, синтез.

По отношению к научному творчеству дело обстоит совершенно так же. Проф. Кольцов указывает в предисловии к переводу Фишера на условия большого прогресса науки: «Причиной переворота является применение нового научного метода, и этот метод заимствуется из соседней научной дисциплины. Период блестящих открытий совпадает обыкновенно с периодом об'единения двух научных областей, развивающихся до того времени вполне независимо. Ученые, обладающие знакомством с обеими сложными областями, оказываются в особенно выгодном положении. «Это хорошо оправдывается и на Дарвине». А в то же время хорошо укладывается в схему образования условных рефлексов. Когда есть 2 достаточно возбужденных центра, между ними очень легко устанавливается новое замыкание. Как только замыкание совершилось, пускается процесс торможения—происходит проверка, дифференцировка. Все то, что не подкрепляется безусловным рефлексом, что не подтверждается опытом, угашается, отбрасывается. Только достаточная доза торможения и предохраняет от бреда. В законченном творении всегда найдем следы огромного тормозного процесса. Почти всегда исправляют, переделывают, пробуют вариации на разные лады! В научном творчестве эквивалентом подобной работы является опытная проверка, собирание фактического материала для подкрепления образованных новых связей, новых замыканий.

После этих общих соображений попробуем перейти к рассмотрению творчества Дарвина с точки зрения рефлекса. Благодаря автобиографии Д. мы имеем превосходный материал для нашего анализа. Превосходный наблюдатель сказался в каждом замечании. Интересно заметить, Д. был не в ладах с официальной наукой во время своего студенчества до такой степени, что дал зарок «никогда не брать книгу по геологии». И у нас редко получался такой результат! В первый период своей жизни Д. ничем не выделялся. Для него спорт был превыше всего; научные интересы его занимали, это правда, но охотничий спорт явно преобладал. Вот его собственные слова об эпохе перед отправкой в путешествие, определившее его судьбу: «Я счел бы себя сумасшедшим, если бы упустил первые дни сезона охоты ради какой-то геологии или другой науки». Но не только одна охота привлекала Д., целая масса разнообразных интересов мешала научным занятиям. «Моя страсть к стрельбе, охоте, а за отсутствием ее к прогулкам верхом по окрестностям

сблизили меня с кружком любителей спорта, между которыми были молодые люди прямо распутные и не высокой нравствености. Мы часто собирались обедать, конечно, на этих обедах были люди посерьезнее, но частенько мы пили не в меру, а затем следовали веселые песни и карты. Я знаю, что нужно бы стыдиться проведенных таким образом дней и вечеров, но некоторые из моих друзей были такие милые малые, и всем нам было так весело, что я и теперь не могу вспоминать это время без удовольствия»—так характеризует свое житие сам Д. Конечно, на-ряду с этим он не терял интереса к научным занятиям. Но это было одно из многих развлечений. Во всяком случае науке предпочтения не было, даже перед охотой. О собирании жуков—наиболее сильном научном интересе—Д. говорит, что «это была простая страсть к составлению коллекций, так как я не исследовал и даже не сверял с каким-нибудь печатным описанием и кое-как узнавал их названия». В жизни каждого человека бывает своего рода революционный период, эпоха исканий, мечтаний, проб, пока не попадешь в свою колею. Раз это случилось, то чем дальше, тем больше срастаешься со своей колеей. Вырабатывается целый ряд условных рефлексов, они в конце концов делаются настолько прочными, что подавляют все то, что не входит в их группировку. Как забавный образчик такого метода проб, можно указать на Клод Бернара: он сперва выступал актером, потом отправился в Париж с написанной трагедией и только здесь он находит свое амплуа. Раз Д. одинаково интересовался и спортом и наукой, ясно показывает, что период его проб далеко не закончился. Итак, перед отплытием на Бигле Д. весь отдавался «волнам пустой и милой суеты», не подозревая, куда заведет его судьба. А она толкнула такого молодого человека в научное путешествие на Бигле, да еще на целых 5 лет! Сперва Д. согласился принять участие в нем, однако отказался только после слов отца: «Я соглашусь, если хоть один здравомыслящий человек посоветует тебе ехать». После отказа Д. с полным душевным спокойствием отправился на охоту. И только неожиданное вмешательство дяди решило окончательно эту поездку, а вместе с тем и судьбу Д. Какой процесс произошел с ним? Сразу и бесповоротно были разорваны целые ряды рефлексов, кои устанавливали отношения Д. к той среде, где он вращался до тех пор. О их характере можно судить отчасти по словам Д. (выше). За то он попал в совершенно новую обстановку и заново должен был вырабатывать новые условные связи. Подводя итоги путешествия, Д. между прочим говорит, что «путешественник подвергается многим лишениям, как лишение общества ближайших друзей и тех мест, с коими связаны наши лучшие воспоминания». Другие лишения «становятся со временем крайне тяжелы: таковы недостаток просторного жилища, покоя, невозможность уединения, постоянная утомительная необходимость спешности, отсутствие мелких удобств жизни, домашнего общества, даже музыки и других наслаждений, питающих воображение». Вот перечень уничтоженных связей! За то Д. попал в совершенно другой мир, где все ведет фатально к сосредоточению только на одних научных интересах. Малый круг лиц быстро приедается, жизнь страшно моно-

тонна, и только вопросы научного характера скрашивают эту жизнь и дают отдых душе. Одним словом, все цепи рефлексов, благодаря коим были установлены отношения Д. на родине, были радикально уничтожены; стали вырабатываться мало-по-малу совершенно новые связи, и эти связи, так или иначе, роковым образом входят в круг научных интересов. Образуются, так сказать, лишь «научные рефлексы». Чем дальше в лес, тем больше дров: чем дальше длится путешествие, тем крепче и прочнее становятся эти научны рефлексы. Суть в том, что, пока эти связи еще рыхлы, пути их плохо проторены, нет сильных раздражителей, кои могли бы с ними конкурировать и тормозить их, хотя бы вроде охоты, ради нее Д. на родине легко забрасывал все науки. Здесь же следы старых и прочных рефлексов входили в новые комбинации, составляли звенья в новых цепях рефлексов и тем самым значительно усиливали их. Поясним примером; на родине охотничьи рефлексы были сильны у Д. и являлись антагонистами научных, а во время путешествия они входят в состав научных: Д. приходилось стрелять разных животных не только охоты ради, но и для коллекции. Здесь у Д. происходит совершенно тот же процесс, как и у той собаки д-ра Ерофеевой, у коей сильный фарадический ток делался условным возбудителем пищевой реакции. Пока связи еще не образовались или они были еще плохо проторены, ток сильно тормозил пищевую реакцию. По мере того, как связи устанавливались, пищевая реакция усиливалась и в конце концов достигла большей силы, чем при других условных раздражителях. Итак, те раздражители, кои дома являлись сильной помехой, здесь на Бигле, входя в звенья цепей научных рефлексов, значительно усиливали их, возбуждая и поддерживая общий тонус, пока научные рефлексы были еще слабы. А окрепнув, как следует, они приобретут такую силу, что подавят все другие. Наше толкование базируется на физиологии условных рефлексов и в то же время хорошо гармонирует с самоанализом Д. «Оглядываясь на свое прошлое, я замечаю, как любовь к науке мало-по-малу вытеснила во мне все остальные вкусы. В течение 2 первых лет моя страсть к охоте сохранилась во всей своей силе, я сам перестрелял всех птиц и животных для своих коллекций, но мало-по-малу я стал все чаще и чаще передавать ружье своему слуге, так как стрельба мешала моим другим занятиям, особенно геологическим экскурсиям. Я незаметно для самого себя и почти безотчетно сделал открытие, что удовольствие, доставляемое наблюдением и рассуждением, гораздо выше того, которое доставляется спортом». В этих словах Д. прекрасно изложена суть дела, выраженная в психологических понятиях. Поэтому и нужно относиться к такому анализу с величайшей осторожностью, даже когда дело идет о Д., не говоря уже о простом смертном, не привыкшем ни к наблюдениям, ни к точности выражений. Ведь совершенно ясно, что страсть к охоте мешала геологическим экскурсиям с самого начала, интерес охоты мог стоять даже на первом плане—хоть взять описание охоты в начале путешествия в Бразилии, где ни о каком научном интересе не говорится. А нужно помнить, что книга писалась уже в период полной победы научных рефлексов—лучшее доказатель-

ство силы охотничьих рефлексов! Но сам Д. мог это заметить только тогд когда научные рефлексы стали приобретать бесспорную гегемонию. Меха низм этого явления—это обычное действие сильных рефлексов один на дру гого до полного подавления одного другим.

Вот тот основной процесс, который, действуя постоянно и продолжи тельно, превратил Д.—да простят мне выражение—из дилетанта, всем по немногу интересующегося, на все живо реагирующего, в узкого фанатик науки. Одним словом на место разносторонности молодых годов у Д. полу чилась самая крайняя специализация, основанная на подавлении всего того что не успело войти в главную группировку научных рефлексов. Нужн иметь в виду, что такая крайняя специализация оплачена Д. очень дорого почти полной его инвалидностью во всем том, что выходило из круга научны интересов. С 33-х лет Д. не может уже совершать экскурсии. Даже больш того: «в первые годы нашей жизни в Дауне, мы посещали общество и прини мали небольшое число друзей у себя. Но мое здоровье почти всегда страдал от возбуждения, которое я испытывал в обществе, и последствием этого был припадки сильной дрожи и рвоты. Вследствие этого я долгое время не мо обедать в гостях, и это было для меня действительно лишением, так ка обеды в интересном обществе меня приводили всегда в отличное настроени По той же причине я только изредка мог приглашать сюда своих учены друзей». Итак, жизнь Д. могла поддерживаться самоотверженным уходо его семьи: сам по себе он вполне инвалид. Невольно приходят на ум собаки частичным разрушением мозга. Жизнь их может поддерживаться только тща тельным лабораторным уходом, они могут сдохнуть от голода среди изоби лия еды. И в то же время уцелевшая часть мозга работает вполне правильно

Желая показать, какие стимулы направляли всю деятельность, Д. гово рит: «На сколько я могу быть судьей сам в этом деле, мне кажется, что напрягал все свои силы во время этого путешествия исключительно потому что я находил наслаждение в этих исследованиях и страстно желал прибавит к громадному запасу естественно-исторических сведений еще несколько но вых». Сразу бросается шаткость суб'ективных толкований. В самом деле ведь перед отправкой Д. с легким сердцем бросал все науки ради зайцев. Есл потом изменилось это, то только потому, что образовались новые рефлексы кои и подавили старые охотничьи. Поэтому сперва Д. сам стрелял живот ных, пока охотничьи рефлексы еще действовали: научные рефлексы ещ были недостаточно прочны, мало еще проторены, чтобы затормозить охот ничьи, и поэтому эти последние могли давать Д. подобное наслаждение, как потом научные. Как только эти последние окрепли и смогли задавить охот ничьи, то и наслаждение могли давать лишь те рефлексы, что были на-лицо И подобное толкование хорошо гармонирует с фактическими данными, при веденными Д.

«Путешествие на Бигле было, конечно, самым важным событием моей жизни, определившим всю мою последующую деятельность. И однако, он зависело от такого ничтожного обстоятельства, как предложение моего дяд

прокатить меня за 30 миль в Шрюсбери—чего другой дядя, конечно, не сделал бы, и от такого пустяка, как форма [1]) моего носа. Я был вынужден внимательно сосредоточиться на нескольких отраслях естественной истории, благодаря чему изощрились мои способности к наблюдению, хотя они были хорошо развиты и раньше». С точки зрения машинности мозга процесс кажется простым и ясным: окончательный разрыв со старыми связями, радикальная перемена внешней среды, наконец, молодые годы Д. и оттого отсутствие еще прочных цепей рефлексов—все это чрезвычайно существенные условия для возникновения новых связей. А по характеру условий быта Д. могли с успехом вырабатываться лишь рефлексы научные: они сперва вовлекали в свой круг остатки старых, от этого приобретали еще новую прочность и силу, а потом могли подавить и вытеснить их окончательно. Продолжаясь целые годы, эти научные рефлексы крепли и крепли, и они-то определяли в конце концов отношение Д. к внешнему миру. А в результате получилось вот что: «Ум мой превратился в какой-то механизм, перемалывающий большие коллекции фактов в общие законы». И этот механизм, так удивительно несущий свою службу, уже совсем потерял всякую возможность реагировать на что-нибудь другое—в прямую противоположность молодым годам! Страшная специализация принесла прекрасные плоды, но ценою полной инвалидности Д., жизнь коего могла поддерживаться только уходом семьи. Очень любопытно отношение Д. к Шекспиру. В молодости Д. любил Шекспира, а потом этот автор производил угнетение до тошноты!..

Круг научных рефлексов стал так прочен, что через него не мог пройти никакой, достаточно сильный возбудитель; он непременно тормозился, а этим еще уменьшал и без того невысокую возбудимость мозга. И это суб'ективно воспринимается, как нечто отталкивающее, неприятное. Насколько это стереотипная реакция, видно из того, что у Толстого тот же самый процесс. Пожалуй, различие лишь в энергии выражения, хотя они и у Д. достаточно энергичны. «До 30 лет и немного дальше я находил большое удовольствие в чтении поэтов, даже еще школьником я с великим наслаждением зачитывался Шекспиром, особенно историческими драмами. Я тоже упомянул уже, что в былое время живопись доставляла мне значительное, а музыка высокое наслаждение. Но вот несколько лет, как я не могу выносить ни одной строки поэзии, пробовал читать недавно Шекспира, но он мне показался скучным до тошноты. Я почти потерял и прежний вкус к живописи и музыке. Музыка, вместо того, чтобы доставлять удовольствие, обыкновенно заставляет меня еще усиленнее думать о том, чем я занимался... С другой стороны романы, также продукты воображения, хотя не очень высокого качества, в последние годы доставляли мне удовольствие удивительное и успокоение, и я частенько благословлял всех романистов без разбора. Мне прочли бесчисленное множество романов, и все они мне нравились, если только каче-

[1]) Капитан Бигля не хотел сперва брать Д. в путешествие из-за носа, считая его по носу неспособным к тяготам путешествия.

ствс их не ниже посредственности, особенно если они оканчиваются счастливо. Я вообще издал бы закон против романов с несчастливым окончанием». Эти слова дают ключ к пониманию процесса. При чтении романов—при слабом раздражении—торможения нет, напротив подобные раздражения повышают возбудимость совершенно аналогично тому факту, что при перерезке задних корешков уменьшается возбудимость передних: как бы ни были слабы импульсы, идущие через задние корешки, они повышают возбудимость передних, напротив, сильное раздражение задних уже угнетает. Оттого и важен счастливый исход романа: трагическая развязка уже чересчур сильный раздражитель, который уже оказывает торможение, а это воспринимается, как неприятное. В случае музыки этот процесс так ясен, что отлично подмечен самим Д. И здесь главная суть одна и та же: все, что тормозит, воспринимается, как неприятное, все, что способствует основной цепи рефлексов, как приятное.

И у Д. научные рефлексы в центре всего и везде!

Переходя теперь к деталям, мы можем легко проследить и развитие основной идеи Д.—теорию происхождения видов путем отбора. Зарождение этой идеи не есть что-то случайное, волшебное, напротив, это совершенно закономерное явление при данных обстоятельствах. Отправляясь на Бигль, Д. захватил с собою первый том Основ Геологии Лайэля, где так талантливо развита теория постепенных и незначительных изменений вместо теорий катастроф. Внимательное изучение книги, такой увлекательной и такой необычной, на корабле, где вообще нет книг, оставило гораздо бо́льший след, чем если бы это чтение происходило на родине. Здесь была бы сильная конкуренция других раздражителей, под час очень сильных. Таким образом образовались новые связи в очень выгодных условиях—появилась идея постепенных геологических изменений. Пока рефлексы были образованы только посредством одних условных. Столкнувшись с реальной обстановкой, Д. сразу убедился в правоте Лайэля, т.-е. раньше образованные, с помощью одних условных раздражителей, связи получили подкрепление безусловным и оттого приобрели большую прочность и определенность. «Я с гордостью припоминаю,—говорит Д.,—что первая же моя геологическая экскурсия в архипелаге Зеленого Мыса убедила меня в бесконечном превосходстве взглядов Лайэля над всем тем, что я встречал в каком бы то ни было другом геологическом сочинении». При каждой подобной экскурсии этот рефлекс «постепенности изменения» укреплялся и от постоянного возбуждения стал иррадиировать, захватывая соседние центры: очень легко перебрасывается связь идеи постепенности изменения на животный мир; даже охотничьи рефлексы подымали интерес к животному миру, а тут еще были кое-какие связи и от чтения книг (Ламарк, напр.). Раз 2 центра возбуждаются, между ними легко образуется связь. Прекрасное подтверждение слов Кольцова! Сам Д. указывает на эту связь: «Путешествуя на Бигле в качестве натуралиста, я был поражен некоторыми фактами, касающимися распределения органических существ в Южной Америке и геологическими отношениями между прежними и

современными обитателями этого континента». Итак, связь образована именно через геологию.

Теория борьбы зародилась у Д. при встрече с австралийскими туземцами. Связь образовалась самым действительным образом. Столкнувшись с австралийцами, Д. говорит, между прочим: «смерть как-будто преследует местных жителей всюду, куда только ни проникли европейцы. Куда ни взглянем на громадных пространствах обеих Америк, в Полинезии, на мысе Доброй Надежды и в Австралии, везде мы встретим те же самые результаты. Разновидности человеческой расы, повидимому, действуют друг на друга, как и разные виды животных, т.-е. сильнейший всегда вытесняет слабейшего!» Итак, мы видим образование еще на Бигле двух сильных очагов возбуждения—постепенность изменений и вытеснение слабых сильными. Д. пишет: «в июле 1837 г. я начал первую из своих записных книжек, в которую я заносил факты касательно происхождения видов. Уже и раньше я думал много об этом предмете. Но с тех пор я не переставал над ним работать в продолжение 20 лет». Так было положено систематическое основание новой цепи рефлексов. От постоянной работы в одном направлении эти цепи постоянно укреплялись, их центры были всегда возбуждены и оттого легко входили в новые замыкания. Можно привести аналогию с обезглавленной лягушкой, на лапку которой положена бумажка со слабой кислотой. Сперва полный покой, потом слабое сокращение, наконец, возбуждение даже от слабого, но постоянного раздражения достигает силы достаточной для большой иррадиации, в конечном итоге получается освобождение от раздражающей бумажки; иррадиация возбуждения приводит в конце концов к нужной реакции. Постоянно думать о предмете — это верное средство получить нужное для новых замыканий возбуждение даже и от слабого раздражителя! И действительно, такое замыкание происходит: Д. продолжает так: «в октябре 1838 г. прочел ради развлечения Мальтуса о народонаселении. Будучи подготовлен продолжительными наблюдениями над образом жизни растений и животных, я сразу оценил все значение повсеместно совершающейся борьбы за существование и был поражен мыслью, что, при таких условиях, полезные изменения должны сохраняться, а бесполезные уничтожаться. Наконец-то я обладал теорией, руководствуясь которой я мог продолжать свой труд, но я так боялся подчиниться предубеждению, что сперва в течение некоторого времени не делал даже краткого наброска своих мыслей». Нужно иметь в виду, что и на Уолесса чтение Мальтуса подействовало одинаково, он тоже пришел к естественному отбору. Лучшее доказательство машинности мозга—эти два молодые англичанина, оба натуралисты, много путешествовавшие, кои оба пришли к почти одинаковым выводам. Итак, шаг за шагом развивалась эволюционная теория, и все эти этапы хорошо гармонируют с учением о замыкательных рефлексах.

Д. был одарен щедро «творческой фантазией», т.-е. способностью быстро образовывать новые связи. Уже в детстве это качество сказалось в обманах и разных выдумках. Резче всего сказалась эта способность в его об'яснении

происхождения коралловых островов. Лично Д. еще не видал даже ни одного такого острова, когда впервые у него появилась теория. С первого взгляда— неожиданная, необ'яснимая интуиция. Но сам Д. раскрывает скобки: «ни один из моих трудов не был предпринят в таком, по преимуществу, дедуктивном направлении, так как вся теория была продумана еще на западном берегу Америки, когда я еще не видал ни одного настоящего кораллового рифа. Н должен заметить, что в течение 2 предшествовавших годов я непрерывно наблюдал на берегах Южной Америки влияние повышения материка в связи с обнажением и образованием осадочных отложений. Это, конечно, заставляло меня много размышлять о последствиях понижения, и немного нужно было воображения, чтоб заметить непрерывное отложение осадков ростом кораллов. А в этом и заключается вся теория образования коралловых барьеров и атолл». Превосходный наблюдатель сам указывает пути этих новых замыканий, снимая этим таинственность! Если у Д. была сильно выражена иррадиация возбуждения, то и тормозной процесс у него не менее силен— ведь это и есть необходимое условие для плодотворной работы. Уже отказ от поездки, после возражения отца указывает на сильную тормозимость. А дальнейшая работа постоянно указывает на огромную роль тормозного процесса. Внешним проявлением служит тщательное собирание фактического материала. И здесь процесс совершенно аналогичен выработке дифференцировки, различения, скажем, между тоном в 1000 колеб. и всяким другим. Это различение поддерживается, с одной стороны, подкреплением безусловным рефлексом основного тона, с другой—угашением прибавочных, не имеющих никакого отношения к рабочему органу. Итак, чтобы образованная связь была точна и строго соответствовала реальным условиям, необходимо подкрепление безусловным рефлексом вновь полученного замыкания: дабы вновь возникшая идея укрепилась, необходимо подкрепить ее фактами, опытом; с другой все, что не подкрепляется безусловными рефлексами, рано или поздно угашается: идея, не нашедшая опоры в фактах и опытах, отбрасывается. Чем этот процесс дальше идет, тем лучше и прочнее получается дифференцировка, основанная на торможении. Раз этот процесс силен, то и последовательное торможение накладывает на всю работу мозга свой отпечаток. Вот этот процесс у Д. был выражен чрезвычайно сильно, и лучшее доказательство—история появления его основной книги: «Происхождение видов». Материалы Д. стал собирать с 1837 года. Только в июне 1842 г. он «доставил себе удовольствие набросать самый краткий очерк своей теории на 35 стр.; в течение лета он разросся до 230 стр.». «С 1854 года я посвящал уже все свое время приведению в порядок чудовищной кучи накопившихся у меня заметок, новым опытам, наблюдениям по вопросу о превращении видов». «В начале 1856 г. Лайэль посоветовал мне изложить мои взгляды со всей подробностью, и я тотчас принялся за исполнение этого плана. Размер сочинения должен был превысить раза в 3 или 4 позднее появившееся издание происхождения видов. Тем не менее, это было только извлечение из собранного материала». Итак, Д. собирал материалы в течение 20 лет и во все это время находился

постоянно в процессе дифференцировки, проверке, т.-е. подкреплении одних замыканий, угашении других. Этот длительный процесс торможения оказал свое влияние на все. Оттого-то у Д. новые идеи зарождались преимущественно на Бигле, дома же выступал на первый план тормозной процесс, который уже не давал таких благоприятных условий для иррадиации возбуждения, мешал полетам фантазии. Оттого Д. с 1849 г. по 1856 г. не писал книги вовсе,—действие последовательного торможения. Только внешнее раздражение и слабое—советы Лайэля—опять побудили Д. продолжать книгу. И опять об'яснение простое, это обычное растормаживание (Завадский). Если во время одного рефлекторного акта действует другое достаточно сильное раздражение, оно тормозит его; если же рефлекс тормозного характера, напр., остановка сердца от поколачивания живота лягушки, наше раздражение угнетает торможение—растормаживает, и биение сердца будет продолжаться. Этот процесс растормаживания играет огромную роль именно в сфере действия замыкательных рефлексов. Таков был процесс и у Д. Советы Лайэля, как слабые раздражители, только несколько растормозили и сбавили тонус торможения у Д., и он мог приступить, наконец, к писанию книги. Через 2½ года он довел лишь до половины, и неожиданно получается записка Уолесса на ту же тему. Это было уже очень сильное раздражение, не чета совету друга. И эффект тоже другой: через 3 мес. Д. уже подал свою записку вместе с трактатом Уолесса в Линнеевское общество. А приблизительно через год появилась книга. Какая разница с прежним поведением! Суть, конечно, та, что внезапный и сильный возбудитель вполне растормозил, явления угнетения как бы не бывало вовсе, и вот появилась записка, написанная без тормозного процесса, наспех, как говорится; она несет, конечно, печать этого. Сам Д. характеризует ее так: «ни извлечения из моей рукописи, ни письмо к Грею не предназначались для печати и были дурно изложены, «наоборот, очерк Уолесса был превосходно изложен и отличался замечательной ясностью». Другого и быть не могло: записка Уолесса появилась только после тщательной критики, после сильного торможения. В основной книге Д. уже не замечается хаотичности. Все раздражители, производящие растормаживание, сразу действуют очень сильно, с течением времени их действие уменьшается, пока не исчезнет вовсе. В период полного растормаживания появилась записка Д., и в период уменьшенного действия, когда тормозящие влияния еще не достигли своей прежней величины, но все-таки заметно ослабли, и появилась знаменитая книга. Сам Д. об'ясняет успех ее так: «другим условием успеха был уменьшенный об'ем книги, этим я обязан появлению очерка Уолесса. Если бы я издал ее в задуманном первоначальном размере, она превзошла бы раза в 4—5 об'ем «Происхождения видов», и тогда мало кто имел бы терпение прочесть. Итак, сам Д. признает роль очерка Уолесса в деле появления «Происхождения видов» на свет Божий! Только гадательно мог он говорить о размере и сроке появления задуманной ранее книги. Если за 2½ года он мог написать только половину, то другую мог писать еще дольше, а тут набрался бы материал для первой половины, это опять бы задержало

Словом, окончательное появление книги отодвинулось бы в туманную даль. Может быть, понадобилось бы еще 20 лет. Оттого растормаживание, произведенное очерком Уолесса, вне всякого сомнения, и оно-то, сбавив изрядную долю торможения, как раз и дало нужное правильное соотношение между возбуждением и торможением. Вот и причина законченности этой удивительной книги.

Итак, мы могли рассмотреть разные фазы творчества Д., и все они прекрасно укладываются в схему рефлекторного акта. Оттого нам и кажется, что рефлекс есть воистину альфа и омега нашего отношения к внешнему миру и что здесь никакого другого механизма и быть не может. И психологи рано или поздно должны будут встать на эту точку зрения, тогда все вопросы представятся в несколько ином освещении. Задачей явится определить состояние сознания при данном рефлекторном акте при разных условиях. В этом смысле можно и теперь наметить кое-какие соображения. Возьмем Дон-Кихота—этого рыцаря возбуждения: его смерть вызывает общую печаль. Совсем другое при смерти человека в футляре: там смерть вызвала общее ликование! Итак, возбуждение окрашивается в приятный цвет, а торможение наоборот!

Как любопытный пример этого позволю себе привести одну собаку (д-ра Безбокой). Работе с ней очень мешала сильная агрессивная реакция. Пищевой рефлекс тормозил ее вполне, даже во время действия условных раздражителей собака оставалась покойной. Совсем другое поведение животного во время действия условного тормоза: собака ворчит, лает, даже бросается на прибор, производящий сигнал к условному торможению. Трудно не сказать, что де собака сердится и бранится. Конечно, в этих словах большого прока нет: они ничего не об'ясняют, повторяя только самый факт словами суб'ективной терминологии. А между тем дело просто: заторможенная пищевым условным раздражением агрессивная реакция растормаживается при торможении этой пищевой реакции! Мы готовы посмеяться с сознанием своего превосходства над глупым поведением собаки, но разве наше собственное поведение отличается существенно от него? Не так ли обычно мы ведем себя в спорах? Как подобный пример, приведу воспоминание Давыдова о Толстом: «Самарин радикально расходился с Л. Н. Толстым во взглядах почти по всем вопросам, при чем Самарин, обладая тонким умом и большей начитанностью, не уступал в споре с Л. Н. и очень остроумно разбивал его доводы. Это раздражало Л. Н., он начинал горячиться, а за ним и Самарин; наконец, оба переходили, продолжая спорить, на французский язык, говоря друг другу неприятности». Вот и здесь спор, противодействие обычной последовательности цепи рефлексов, действовал, как тормоз, который как бы угнетал сдерживающие импульсы и этим проявлял агрессивные настроения на все время действия экстра-раздражителя. А они всегда действуют быстро и кратковременно, и вот мы видим, что на другой день Л. Н. обмениваются с С. самыми дружескими письмами и уже на русском языке! Базируясь на учении о замыкательных рефлексах, можно удовлетворительно об'яснить психологический

закон: «средство с течением времени становится целью само по себе». Этот закон имеет огромное приложение и значение. Им направляется масса поступков добрых и злых. Сперва работа есть наказание Божие, работа и раб имеют один корень; работа есть рабское состояние. Оттого в представлении о райском житии у всех народов нет места работе, там dolce far niente. Увы, голод заставляет взяться крестьянина за плуг и обработать свой клочек земли; чем тщательнее он ухаживает за землей, тем щедрее дает ему она; и вот он уже обеспечен от голода, он мог бы кончить работать, но теперь стимулом работы является жадность, как можно больше добыть продуктов. Если этот труд свободный, без внешнего принуждения, какое накладывает свой отпечаток неприятного на все, с чем соприкасается, если можно вносить в труд хотя бы и тяжелый, свое творчество, то труд мало-по-малу делается благом сам по себе без всякой зависимости от прибыльности. И вот снимается проклятие с труда!

Теперь работа производится уже без всякой идеи полезности, только вследствие образованных раньше цепей рефлексов. Так возникает спорт: огромная трата энергии производится без всякой личной выгоды, работа стала целью сама по себе! Это совсем дико мусульманскому востоку с его подневольным трудом, ведь он при этом является сигналом неволи, крепостного состояния, своего рода торможения, а потому становится крайне отвратительным. И эти дети востока с недоумением наивно спрашивают при виде англичан, азартно играющих в теннис, почему-де не наймут за себя бегать такие богатые люди! Таково же происхождение флирта на место ухаживания влюбленных. Могущество традиции основано на том же самом. Как схему их разберем возникновение охотничьего спорта.

Сперва голод заставлял итти на охоту, и только добыча и мирила человека с понесенными трудами. Продолжаясь из поколения в поколение, охотничьи рефлексы крепли и крепли и в конечном результате получили такую силу, что могли уже определить поведение охотника вне всякой зависимости от добычи: «охота пуще неволи»—говорит пословица, подчеркивая силу привычки, определявшей поведение человека в большей степени, чем воля владыки по отношению раба. Теперь все сводится к повторению цепи охотничьих рефлексов. И вот появляются охоты лордов, где добыча, дичь наперед искусственно разводится, конечный результат уже мало интересует, ведь заранее предрешено! Происходит в сущности соревнование в стрельбе и ловкости, удачный выстрел по старой традиции есть символ чего-то приятного. Отсюда идет дальнейшая эволюция—спорт стрельбы. Появляются голубиные садки, где все сводится к ловкости стрелка. Теперь несчастного голубя, раньше пойманного, выпускают на волю из клетки. Какая поразительная разница с первоначальными побуждениями! Насколько это общий закон, лучше всего видно из того, что и охотничьи собаки пережили совершенно одинаковую эволюцию. Сперва собака останавливалась, вся в сильном напряжении, дабы лучше прыгнуть на дичь и поймать ее на лежке. Из этого выработалась стойка—особая остановка, по которой охотник узнавал о присутствии дичи, а самая

ловля ее собакой—уже тормозилась. И теперь хорошая собака никогда н бросится, никогда не схватит даже убитую дичь! Первоначальной реакции н осталось и следа—собака только ищет и делает стойку, т.-е. проделывае целый ряд рефлексов, кои раньше служили лишь средством поймать добычу А между тем собака очень настойчиво стремится проделывать вновь эти дви жения, говоря обычным языком, собака любит, и сильно, охоту! Итак. и у собаки процесс совершенно одинаковый: все те движения, кои были сперва средством, стали целью. Бросается в глаза тождество реакции у животного и человека: механизм совершенно однородный. Цепи рефлексов, раз возник нув и окрепнув, действуют роковым образом. Полный автоматизм!

Для психологов можно сказать в утешение, что эта теория автоматизма впервые предложена не физиологами, а философами. Декарт первый дал схему деятельности нашей нервной системы, и мы еще не дошли до конца ее! Одно лишь верно: никак нельзя упрекать физиологов в чрезвычайной поспешности. С большим основанием можно было бы обвинять их в излишней косности.

---

## ИСТОЧНИКИ.


*Дарвин*. «Путешествие на корабле Бигль».

*Его-же*. «Автобиография».

*Сервантес*. «Бесподобный рыцарь Дон-Кихот Ламанчский».

*Давыдов*. «Из прошлого».

*Зеленый*. Материалы к вопросу о реакции собаки на звуковые раздражения. СПБ. Дисс. 1907.

*Завадский*. «Материалы к вопросу о торможении и растормаживании условных рефлексов». СПБ. Дисс. 1908.

*Демидов*. Условные слюнные рефлексы у собаки без передних половин обоих полушарий. СПБ. Дисс. 1909.

*Беляков*. Материалы к физиологии дифференцирования внешних раздражений. СПБ. Дисс. 1911.

*Ерофеева*. Электрическое раздражение кожи, как условный возбудитель условных слюнных желез. СПБ. Дисс. 1912.

*Зеленый*. Собака без полушарий большого мозга. Труды Общ. Русск. врачей. 1912.

*Безбокая*. Материалы к физиологии условных рефлексов. СПБ. Дисс. 1913.

*Фишер*. «Отек». М. 1913.


---

# Отповедь старого дарвиниста.

Н. С. Понятский.

Передо мной № 3—5 журнала «Естествознание в школе», под редакцией проф. Б. Райкова. Журнал украшен эпиграфом из Писарева:

«Естественные науки сообщают такую трезвость и неподкупность мышления, такую требовательность по отношению к своим и чужим идеям, такую силу критики, которая сопровождает человека за пределы избранных им наук и кладет свою печать на все его рассуждения и поступки».

Перелистывая журнал, приходишь к заключению, что либо Писарев глубоко неправ и что на деле естествознание влияет так далеко не на всякого, либо редактор, подвизаясь доселе в составлении своих бесчисленных школьно-методических руководств, не успел еще углубиться в научное естествознание, да кстати совсем не интересовался и науками общественными: таким кошмаром веет со страниц журнала, особенно от статеек самого редактора, который ухитрился уцелеть и по сию пору в стадии общественно-политического младенца.

Ну что ж?—скажут бывалые люди. Ведь журналы бывают разные, как бывают разные и профессора. Иного профессора зоологи считают за ботаника, а ботаники наоборот—за зоолога. Да и редактор, по условиям быта, не всегда-то в состоянии внимательно пересмотреть весь печатный материал. Шутка сказать: ведь номер тройной, целых 64 страницы! Ну, а эпиграф— это ведь только недосягаемый идеал, часто лишь прикрывающий собою действительное направление редакции, не больше. Кто ж этого не знает? Разве лишь очень наивный читатель!

Все это, конечно, так. Не стоило бы и поднимать завесу у этого современного бытового явления, если бы в чахлом журнале на фоне общего обскурантизма и на-ряду с бесконечной литературной дребеденью не было вкраплено двух совершенно недопустимых поползновений: во-первых—деградировать мирового ученого и великого гражданина, дав диагноз dementiae senilis (старческое слабоумие) его позднейшей научной и общественной деятельности, и—во-вторых—тенденциозной рецензией помешать широкому распространению седьмого издания его великолепной книги, надобность в которой в наше время прямо ненасытима.

Более важно парализовать вторую попытку, так как появление нового издания Тимирязевского «Дарвина» имеет громадное общественное значение, особенно теперь, когда реакционная мысль снова ударилась в поиски сущностей и всяких метафизических и даже фетишистических исканий, вплоть до искания Бога в природе, и, как следствие, вновь поднимают голову погрузившиеся во мрак тени неоламаркизма, вейсманизма, менделянства (не менделизма) и проч. Выходка же новоявленного ученого мужа, задавшегося целью выставить автора этой книги выжившим из ума ramolli, «старческая дряхлость коего сказалась и на его писаниях», так что «тяжело читать такие строки, начертанные рукою 76-летнего старца», который кстати «давно уже отошел от науки» и «об одном мы жалеем, что не нашлось около старца человека, который заботливой и дружеской рукой вычеркнул бы из его поздних писаний то, что не прибавит лавров к его сединам»—выходка эта, конечно, не стоит того, чтобы на нее отвечать.

На это дала ответ европейская наука, которая в лице своих университетов и ученых коллегий наперерыв награждала «старца» докторскими шапками и дипломами почетного члена. Достаточно сказать, что уже на исходе своей жизни «дряхлый старец» становится доктором Кэмбриджского, Глазговского и Женевского университетов и членом Лондонского Королевского Общества, Эдинбургского ботанического, Манчестерского ботанического и проч., а несколько ранее получает приглашение прочитать в Лондоне знаменитую «Круннианскую» лекцию, слушателями которой среди других ученых были Френсис Дарвин, Листер, Гукер, Крукс, Рамзей, Гольтон, Кельвин (Томсон).

Смешно было бы защищать «старца» Тимирязева от выпада неведомого ученому миру научного прозелита, выходка которого просто останется памятником его темперамента и его литературных приемов. Последние ему, очевидно, нравятся и особенно его возрастная классификация, подчиняясь которой, пока он сам еще не сделался «старцем», я и называю его «ученым мужем», хотя и не знаю, какие собственные научные исследования мог бы он противопоставить хотя бы только последним «писаниям» Тимирязева, и кстати—кто уполномочил его быть в роли арбитра между наукой и одним из ее славных творцов? Может быть, профессор Райков поможет раз'яснить все это на страницах редактируемого им журнала. А пока он этого не сделает—мы остаемся при убеждении, что эта выходка, следуя его же выражению, «не увенчает первыми лаврами его цветущую шевелюру».

Но если излишне защищать от кого бы то ни было Тимирязева, как мирового ученого, блестяще разрешившего основной вопрос энергетики живых существ, завещанный обоими творцами закона сохранения энергии (Робертом Майерем и Гельмгольцем), то, наоборот, нельзя отнестись без негодования к попытке проф. Райкова запятнать личность Тимирязева, как человека и гражданина. И автор этих строк, ученик Тимирязева, не может быть спокойным, пока над памятью учителя тяготеет клевета, доступная чтению молодого школьного поколения, незнакомого со светлой личностью

и высокими гражданскими качествами моего старого учителя-друга, и. вернее общего учителя всего взрослого поколения современной русской интеллигенции.

В своем разборе проф. Райков пишет: «К сожалению, эти добавки не только не украшают работу Тимирязева, но вносят в нее ненужный чуждый элемент. Они заключают в себе чрезвычайно резкие, но мало обоснованные выходки чисто личного характера против тех или иных научных противников автора. Так умершего уже академика Коржинского, европейски известного ученого, Тимирязев упрекает, будто последний получил 25.000 руб. якобы за перемену своих научных взглядов и отречение от дарвинизма. Далее Тимирязев пишет какой-то фантастический рассказ про своего же коллегу по Московскому университету проф. А. Ф. Котса, создавшего прекрасный эволюционный музей, уверяя, будто последний окрестил его именем Дарвина только из страха перед правительством и т. д. Тяжело читать такие строки 76-летнего старца, в особенности по отношению к лицам, которые этого не могут опровергнуть».

Здесь все или передержка, или старозаветный цеховой сентиментализм или подлинная клевета, рассчитанная на тех, кто не будет справляться с текстом, или мало знаком с наукой и совсем незнаком с ее горькими судьбами особенно в царской России. Разберем все поподробнее.

В своих статьях Тимирязев отводит много места описанию того негодования и озлобления, с которыми был встречен дарвинизм в сферах клерикальных, правительственных, особенно в России спекулятивно-философских а равно и у отдельных натуралистов с метафизическим складом мышления Тимирязев описывает все это со ссылками и цитатами, с хронологией, а ранее и с ярким критическим разбором всех возражений антидарвинистов, что позволяет составить верное представление об истории распространения дарвинизма в Европе.

Но может быть этого вовсе не нужно было бы делать, по мнению проф. Райкова? Нет, повидимому, нужно, потому что этот ученый муж делает то же и сам в своей рецензии. Но только как он это делает? Читаешь и не веришь своим глазам! Великий русский школьный методист, имеющий тенденцию классифицировать ученых по возрасту, здесь вводит еще более забавную классификацию, уже по национальности: «В отличие от других стран, идеи Дарвина были с самого начала приняты у нас восторженно Англичане и немцы отнеслись к ним осторожно, французы—отрицательно и только русские, переживавшие тогда медовый месяц своей общественности, встретили их с распростертыми об'ятиями».

Так! Понятно и питомцу «единой трудовой I ступени». Вот что значит методика! Ну, а евреи как встретили? Или, наприм., американцы (из коих Аза Грей сочувственно, а Агассис—отрицательно)? Жаль, что не указано ученым мужем! Правда, зато в этой огульно-бессмысленной фразе нет никаких «выходок личного характера», ибо в ней вовсе и нет никаких лично-

стей, а только одни великие державы. Это, как говорят немцы, aber das ist kolossal! Как уместно было бы эту благонамеренную фразу поставить вместо писаревского эпиграфа на обложке литературного выкидыша проф. Райкова. Но может быть проф. Райков позволит все же напомнить, что, наприм., хотя бы Эрнст Геккель был немец, А. Декандоль—француз по происхождению, Аза Грей—американец, а Гексли, Ляйель, Гукер, Уоллес и Уотсон—англичане, и все они, вопреки мнению ученого мужа, отнеслись к дарвинизму как раз б е з в с я к о й о с т о р о ж н о с т и. Последний из них, напр., еще в 1859 г., т.-е. в самый год опубликования великой теории, писал о Дарвине: «Вы величайший революционер в естествознании нашего века или, вернее, всех веков». Как жаль, что проф. Райков не прочитал этого на стр. 183 той самой книги Тимирязева, которую он так легкомысленно и беззаботно критикует!

Но это еще только цветочки в первых лаврах ученого мужа, вся рецензия кое-то пропитана острым привкусом филистерской добродетели и буржуазных добрых нравов на общем фоне развязного фельетона. Ему, наприм., не нравится, что Тимирязев поднял свое перо против академика Коржинского, «европейски известного ученого». Но почему бы Тимирязеву бояться делать это с европейскими знаменитостями, когда неведомый ученому миру проф. Райков не боится сам делать того же с мировым ученым? Когда проф. Райков будет сочинять свою новую рецензию на 2 том «Дарвина» моего учителя, он найдет там на ст. 254, что, при появлении дарвинской гипотезы пангенезиса, Тимирязев «высказался о ней, что она н е н а у ч н а в о с н о в е и бесплодна в последствиях». Гораздо позднее «сам Дарвин отнесся к ней безжалостно строго, назвав ее в з д о р н о й с п е к у л я ц и е й. Но это не помешало ей приобрести горячих сторонников в Вейсмане, Де Фризе и др.», а почти через полвека отвергнутая гипотеза подхвачена Бэтсоном, который «развивает до конца то, что Дарвин признал за вздорную спекуляцию». Как видно Тимирязев не боялся поднять свое перо против европейских знаменитостей, и не только канонизированных проф. Райковым, вроде академика Коржинского, а даже против Дарвина.

Кстати, каким непониманием отзываются слова проф. Райкова: «оставаясь на почве ортодоксального дарвинизма, Тимирязев, как истинный апостол этого учения, никому не захотел уступить ни одной пяди позиции. Отсюда его полемические стрелы против ламаркистов, против Коржинского и Де Фриза, против менделиянцев и т. д.». Может быть теперь проф. Райков наконец сообразит, что все это очень не вяжется с его дальнейшей характеристикой Тимирязева, которому «известная идейная нетерпимость всегда была свойственна, но в п о с л е д н и е г о д ы она приняла какую-то б о л е з н е н н у ю ф о р м у». Преклоняющийся перед европейскими знаменитостями проф. Райков увидит, что еще более острую форму эта его «нетерпимость» имела и у Дарвина, и притом по отношению к собственной гипотезе, только Тимирязев проявил ее раньше, чем сам автор пангенезиса и, значит, далеко не «в последние свои годы». Только никто, кроме проф. Райкова, не назы-

вает это нетерпимостью, а лишь строгостью логического мышления, при чем людям вроде Дарвина и Тимирязева совершенно безразлично—кто именно грешит против строгой логики. Когда ваши, проф. Райков, питомцы в простоте души считали кита за рыбу или паука за насекомое, ведь вы всякий раз, конечно, их останавливали и, я думаю, переубеждали. Что же это—проявление «присущей вам нетерпимости»? По вашему—именно так.

Не нравится проф. Райкову также и отсутствие чувства товарищества у Тимирязева, который способен выносить сор из избы; как, наприм., можно понять мелодраматический пафос проф. Райкова: «Тимирязев пишет про своего же коллегу по Московскому университету, проф. А. Ф. Котса». Про «своих», значит, писать нехорошо? Как я должен быть счастлив, что не профессорствую в том же учреждении, где подвизается проф. Райков, а то и мне неудобно было бы позабавить читателя цитатой про его англичан, немцев и французов! Впрочем, можно успокоить на этот раз возмущение проф. Райкова: Тимирязев ушел из рядов профессуры раньше, чем туда вошел А. Ф. Котс. Хотя, зная своего учителя, я уверенно могу сказать, что и получение кафедры до ухода из университета Тимирязева все же не спасло бы проф. Котса от разоблачения. Ведь коллегами Тимирязева фактически могли бы быть и Статкевичи, и Венгловские и другие люди того же направления. И неужели же проф. Райков может думать, что это обстоятельство механически заставило бы Тимирязева рассматривать эту компанию, как своих дорогих товарищей? Нет, проф. Тимирязев не был заражен такими филистерскими добродетелями эпохи Фамусова, где про «своих» все шито-крыто.

Такого же характера и укоризны проф. Райкова Тимирязеву за его нападки «личного характера», «в особенности по отношению к лицам, которые этого не могут опровергнуть». Во-первых, одно из двух упоминаемых лиц здравствует и поныне (проф. Котс) и, вероятно, если бы только пожелало, могло бы с большим успехом само реабилитировать себя, чем это делает проф. Райков. Академик Коржинский, правда, умер и, конечно, ветхозаветная мораль нашего ученого мужа стремится навязать опошлевшее правило приличия—de mortuis aut bene, aut nihil, вместо единственно справедливого и действительно человечного: de omnibus—veritas (обо всех, даже и о мертвых, одну лишь правду).

Я хотел бы спросить проф. Райкова: что же академик Коржинский—ученый или канонизированный святой? Если первое—то вся его деятельность есть достояние истории и, следовательно, подлежит критической оценке со всех сторон, а не благоговейному культу слепого почитания, как хотелось бы проф. Райкову. Если же личность Коржинского свята в глазах проф. Райкова, то я напомню ему, что даже про святого Петра и то рассказывают детям, как он трижды отрекся, и не от Дарвина, а от Христа, и тоже из соображений непохвального сорта.

Но умерший «не может опровергнуть нападки». Но ведь и Тимирязев умер слишком за год до появления «первых лавров» проф. Райкова. По-

чему же проф. Райков, сочиняя свой пасквиль, не подумал об этом? На смех что ли он выбрал эпиграф, где говорится про «трезвость и неподкупность мышления» и про требовательность по отношению не только «к чужим», но и к «своим идеям»? Может быть проф. Райков и это сможет раз'яснить недоумевающим читателям его журнала?

Кроме того любопытно спросить ученого мужа: точно ли умерший так беззащитен от нападок? Какой умерший? Иван Грозный, папа Иоанн XII, Азеф, Распутин, Николай II? Они беззащитны потому, что никто не станет их защищать. Но ученый—беззащитен ли он? Ученый—это творец идей, которые становятся достоянием человечества, и благодарные представители последнего, конечно, позаботятся восстановить искаженные мысли и факты в их подлинном виде. Недалеко ходить за примером: мы оба с проф. Райковым как раз этим и занялись!

Не всегда это возможно: мысли неверные, ложные, никак не защитишь, равно как никоим образом не устранишь фактических данных, как бы они ни были неприятны единомышленникам и почитателям. Последнее и случилось с проф. Райковым при попытке реабилитировать академ. Коржинского и проф. Котса: в их защиту он мог только заверить своих читателей, что первый был «европейски известным ученым», а второй «создал прекрасный музей». Больше ничего не нашелся сказать проф. Райков и потому занялся передержками. Вот одна из них: Тимирязев «уверял, будто проф. Котс окрестил свой музей именем Дарвина только и з с т р а х а п е р е д п р а в и т е л ь с т в о м (?) и т. д.». Редко встретишь такую развязную клевету в печати. Посмотрим же, что пишет в д е й с т в и т е л ь н о с т и Тимирязев в указанных проф. Райковым страницах своей книги. Буквально противоположное!

Тимирязев повествует, как проф. Котс выражал свое неодобрение тому, что знаменитый Кенсингтонский музей в Лондоне свою главную залу посвятил дарвинизму и даже украсил статуей Дарвина, считая ошибкой, что в этой «Дарвиновой зале» отведено место искусственному отбору, защитной окраске и миметизму, а не тому, в чем некоторые видят опровержение дарвинизма (мутации, менделизм и пр.). В своем введении проф. Котс намекает, что главное значение музея—показать Бога в природе. «Но вот царский режим сменился советским и наш ученый (А. Ф. Котс) спешит весь свой музей окрестить Дарвиновским. Это поспешное и в п о л н е с в о б о д н о е перекрашивание антидарвиниста в дарвиниста, представляющее антитезу обратного перекрашивания Коржинского (при царях), тем более знаменательно, что советское правительство не прибегало ни к Николаевскому меценатству, не имело в своем распоряжении и попечителей, насаждающих науку, согласную с «идейными требованиями времени».

Не правда ли, ловко передергивает наш премудрый школьный методист и умеет обморочить головы своим юным читателям самой беззастенчивой клеветой! Вот для того, чтобы открыть глаза юному поколению на истинный моральный облик их учителя и предохранить их от чтения «на веру»

писаний нашего ученого мужа, который, кстати, сам так любит морализировать, и приходится писать эти строки. Старшее же поколение не удастся обмануть проф. Райкову, несмотря на все его неслыханные ухищрения: русское общество слишком хорошо знает—кем всегда был и остался Тимирязев. Пусть оно, согласно писаревскому эпиграфу, узнает также и моральный облик другого «ученого мужа».

Разберем теперь историю с Коржинским, которого проф. Райков считает «европейским известным ученым» и кстати посмотрим, что про это думают не школьные методисты, а настоящие европейские ученые. Вот что, например, пишет один из них, проф. Плате, о котором даже «проф. Котс вынужден отозваться с уважением» в своей брошюре: «Коржинский полагает, что изменчивость организмов есть «их основное и независимое от внешних условий свойство». Для того, чтобы об'яснить образование высших форм из низших, необходимо допустить в организмах существование особой тенденции к усовершенствованию» (стремление к усовершенствованию Нэгели). «Я считаю все подобные воззрения ненаучными, так как они основываются на мистическом принципе, который нельзя себе представить, оставаясь на почве законов естествознания и потому не подлежащими дальнейшему обсуждению». (Л. Плате «Принцип отбора и задачи происхождения видов». Руководство по дарвинизму, стр. 502; L. Plate, Selektionsprincip und Probleme der Artbildung Ein Handbuch des Darvinismus. Berlin 1913).

Так вот, проф. Райков, вы считаете Коржинского «европейски известным ученым», а понимающие науку европейские биологи считают воззрения Коржинского «совершенно ненаучными, мистическими, несовместимыми с законами мышления, так что о них не стоит поэтому дальше и распространяться». Вы, самозванный арбитр между наукой и ее славным творцом, может быть, захотите и это противоречие раз'яснить читателям вашего журнала? Это вам было бы много сподручнее!

Всю эту оценку вашей «европейской» знаменитости со стороны европейских ученых вы могли бы прочитать в русском переводе (сокращенном) на указанной вами странице 174 книги Тимирязева. Вы предпочли ваше преклонение выдать за мнение ученой Европы, и это вам опять не удалось.

Не согласитесь ли вы сделать отсюда соответствующий вывод, что покойные ученые вовсе не беззащитны от клеветников и литературных «фокусников» и что поэтому покойный профессор Тимирязев лучше сможет защитить себя от клеветы, чем здравствующий проф. Райков сможет ускользнуть от разоблачения своего подлинного морального, научного и общественного облика.

Что касается инкриминируемой Тимирязеву его выдумки, «будто Коржинский получил 25.000 руб.» (от Николая II) «якобы за перемену своих научных взглядов и отречение от дарвинизма», то тут никакой выдумки и нет, ибо Коржинский не «будто бы», а на самом деле получил именно эту сумму от его величества, так же как и вы, проф. Райков, получаете свое вознагра-

ждение от советского правительства—наличными и без всякого «будто бы». Про это вознаграждение Тимирязев говорит в двух разных местах; оба они указаны проф. Райковым и, по его обыкновению, конечно, с передержками. Поэтому восстановим их полностью в настоящем виде.

На стр. XXI Тимирязев пишет, что «отношение царского правительства к антидарвинисту—раскаявшемуся дарвинисту—читатели найдут на стр. 174, где рассказано, как после своего превращения в антидарвиниста, академик Коржинский получил приличное денежное вознаграждение из собственной Его Величества канцелярии для продолжения своих полезных научных трудов». Все! Как видят читатели, тут никакой обиды Коржинскому пока и нет, так как здесь выясняется единственно лишь отношение Николая II к антидарвинисту.

Переменить свои убеждения может всякий. Коржинский, сделавшись академиком, их и переменил. «Просвещенному» царю Николаю II, который, очевидно, был тайным сторонником придуманных Коржинским теорий «гетерогенезиса» и «тенденции прогресса в организмах», эта перемена показалась приятной и полезной для блага науки, в ознаменование чего его величество и соизволил расщедриться.

Перейдем теперь к стр. 174. Там Тимирязев пишет: «Заключает свою академическую статью Коржинский обычным приемом всех антидарвинистов, которые, сознавая слабость своих научных доводов, взывают к чувствам читателей. Коржинский высказывает благородное негодование по поводу бесчеловечности приложения учения о борьбе за существование к человеческой деятельности,—приложения, в котором, как всякому известно, ни Дарвин, ни последовательные дарвинисты не повинны. В негодующей тираде Коржинского можно согласиться только со словами: «люди, хорошо умеющие приспособляться к окружающим условиям и потому благоденствующие, далеко не всегда представляют нам более совершенных в идейном отношении личностей». «Только эти слова как-то странно звучат в устах у б е ж д е н н о г о д а р в и н и с т а, с перемещением в академическое кресло, так быстро превратившегося в в о и н с т в у ю щ е г о а н т и д а р в и н и с т а, так легко обратившегося из Павла в Савла и за это получившего 25.000 руб. от императора Николая II для продолжения своих научных трудов».

Как видят читатели, здесь повторено то, о чем я уже говорил, нет решительно чего-либо нового и нет никакой выдумки: что Коржинский был убежденным дарвинистом—факт, что, получивши кресло академика, он перелицевался,—тоже факт, хотя и неприятный проф. Райкову, и, наконец, что его величество отличил эту перемену своей непривычной и для величайших ученых милостью—опять-таки факт. Благоволение монарха к перелицевавшемуся дарвинисту выразилось соизволением на сумму денег, указанную совершенно точно, и потому для негодования проф. Райкова нет никакого повода. Скорее проф. Райкову следовало бы негодовать на Коржинского, который пишет, что «люди, хорошо умеющие приспособляться к окружающим

условиям и потому благоденствующие, далеко не всегда представляют нам более совершенных личностей», потому что эти слова Коржинского, с которым на этот раз не спорит и Тимирязев, направлены как раз против проф. Райкова!

Почему? Это мы легко узнаем из того же № журнала «Естествознание в школе», стоит только раскрыть книгу страницей раньше той, где помещена кошмарная рецензия (стр. 41). Здесь приведена, в виде рецензии, выписка из предисловия к учебнику самого проф. Райкова «Человек и животные». Из этой выписки изумленные читатели узнают факт совершенно невероятный не только для такого щепетильного к другим моралиста, но и вообще для всякой уважающей себя личности.

Там говорится, что «в третьем издании учебник подвергся существенной переработке, в предыдущих изданиях материал был изложен в нисходящем порядке, хотя проф. Райков не сторонник этого порядка и хотя первоначально учебник был написан в иной последовательности, а именно в смешанном порядке. Проф. Райков считает его наилучшим разрешением вопроса о том, как совместить дидактическое требование с эволюционной последовательностью изложения. В первых двух изданиях, вследствие обязательных указаний Ученого Комитета Министерства Народн. Просвещ., пришлось волей-неволей отступить от этого плана. В настоящем издании автор восстановил свою работу в ее первоначальном виде».

Пусть читатели сами судят,—может ли вообще дальше заходить человеческая «приспособляемость», чем у проф. Райкова, что так осуждает защищаемый им «европейски известный» Коржинский, к которому на этот раз присоединяется и Тимирязев, да, конечно, присоединится и всякий человек с нормальной моралью?

Ведь из приведенной цитаты видно, что 1) проф. Райков первоначально написал свой учебник в смешанном порядке, который по его убеждениям является наилучшим; 2) что, несмотря на свои убеждения, проф. Райков напечатал свою книгу не в наилучшем, а в совершенно ином, сознательно для него худшем порядке и притом настолько худшем, что теперь пришлось все существенно переработать; 3) этой ухудшенной учебой он морил русских детей так долго, что для этой цели пришлось выпустить целых два издания; 4) делал же он такое отвратительное дело вовсе не потому, что он хотел загубить юную надежду России, а просто идя навстречу «указаниям» Министерства Просвещения; 5) указания эти были им с покорностью приемлемы, как бесспорные или обязательные («волей-неволей»); 6) так длилась его славная педагогическая и авторская деятельность, пока у власти не оказались советы; 7) после этого исторического события он опять стал действовать согласно со своими убеждениями и потому с помощью Государств. Издательства (советского!) восстановил свою книгу в первоначальном виде, т.-е. как он ее написал, а не как напечатал (при Николае II), и конечно вместе с тем перестал забивать головы детей негодной системой преподавания.

Хотя Коржинский подобное «слишком обязательное» отношение к «обязательным указаниям свыше» и высмеивает, тем не менее все же хочется воскликнуть: да здравствует отныне многострадальный проф. Райков! Как он обязан Советской власти, благодаря коей ему, без каких бы то ни было «обязательных указаний» Наркомпроса, блеснула впервые возможность жить согласно с его убеждениями, так как вместе со всеми министерствами сгинул во мраке истории и царский Ученый Комитет, из-за которого нашему методисту приходилось так долго калечить детей!

Правда, для человека более далекого от тайников министерских сфер, здесь не все понятно. Я, наприм., боюсь, не перепутал ли проф. Райков Ученый Комитет с Цензурным Комитетом? Последний в доброе старое время действительно баловался своими «обязательными указаниями» и автору предлагалось на выбор либо, подобно проф. Райкову, переменить свои убеждения, либо не увидеть своего произведения в печати. Это бывало.

Но ведь Ученый Комитет ровно ничего не запрещал печатать; он только рассматривал учебник и либо его одобрял, либо нет. В первом случае книжка рекомендовалась как пособие для института благородных девиц, женских гимназий, учительских семинарий, реальных училищ и проч., и, конечно, такая рекомендация реализовалась большой прибылью как издателю, так и счастливому автору, сумевшему проникнуться «указаниями» Ученого Комитета, вовсе не «обязательными» для напечатания, а лишь сильно отражавшимися на тираже такой печатной макулатуры.

Авторы же менее покладистые и не желающие менять своих убеждений соответственно веяниям и указаниям из Ученого Комитета, все же могли свободно печатать свои учебники, но их, конечно, не рекомендовали для школ, и они могли рассчитывать лишь на покупку требовательными и серьезными читателями, для которых именно и ценна твердость убеждений автора. Конечно, в этом случае барыши автора были много поменьше, что и заставляло тех, кто был подогадливей, считать «указания» министерства «для себя» обязательными.

Вообще в журнале проф. Райкова такая масса непонятного, что просто приходишь в изумление. Наприм., на стр. 49 говорится: «В наше время, когда так часто наука ободрана, в лоскутах обшита, особенно полезно вспомнить о мировом культурном значении чистого научного знания, стоящего превыше партийных программ и классовых оценок». Как мог напечатать такие слова редактор, сам на своей персоне испытавший при старом режиме всю бездну нравственного унижения, доходящего до тех пределов, что ему «пришлось волей-неволей отступиться» от своих убеждений, чтобы вернуться к ним лишь благодаря новому строю, давшему ему полную возможность печатать то, что он думает (как бы нелепо это ни было!), излагать науку так, как он ее понимает, а не так, как ему раньше предписывали «программы и оценки господствовавших тогда классов»!

Как ни ломай голову, а все-таки выходит, что «ободранной»-то наука была именно в любезное (не одному только проф. Райкову) доброе старое

время, а в «наше время», наоборот, наука освободилась от своего унижения. Но как и в случае с Коржинским, которого проф. Райков берет под защиту вместо того, чтобы негодовать за осуждение приспособляемости, так и здесь он, вероятно по недоразумению, стремится лобызать лозу, которая его высекла!

Весь журнал, кроме того, переполнен сетованиями как разных авторов, так в особенности самого редактора, на забитое состояние науки в России. Чего только тут не говорится! Так, рецензируя книгу Чутунова, проф. Райков выразился: «Перейду теперь к тем главам, в которых автор, платя дань веку, говорит о животном происхождении человека». Может быть читатель подумает, что рассматривается священная история ветхого завета, в коей вместо сотворения Адама либеральный богослов пустил ересь? Ничуть! Книжка озаглавлена: «Человек, его происхождение, строение его тела, его будущее». Никому, кроме проф. Райкова, не понять, почему это говорить о животном происхождении человека можно лишь «платя дань веку». Разве в прошлом веке об этом еще не говорилось? Смотря—где и смотря—кем! В школах Райковыми—ни под каким видом. Теперь же, в эпоху всяких утеснений науки «партийными программами» Райковы могут «не платя никому никакой дани» и не унижая науки и самих себя отказом от своих убеждений, свободно проповедывать эту истину, где им будет угодно.

Особенно много желчи изливает наш моралист на Государств. Издательство. Восторгаясь прекрасной внешностью книги проф. Боча в издании Гржебина, он прибавляет: «Ничего общего с теми безобразными грязно-желтыми пухлыми книжками, со слепой и какой-то рыжей печатью, которыми чаще всего дарит нас наша российская действительность». И далее задает глубокомысленный вопрос: «Как пойдет дальше это предприятие при наличии Госуд. Издательства и при трудности наших сношений с западом—сказать мудрено».

Всего любопытней во 1) то, что в этой же самой статейке, между двумя приведенными цитатами, проф. Райков описывает ту головокружительную быстроту, с коей рукопись книги проф. Боча вернулась из Стокгольма: всего лишь через два месяца! И прибавляет тут же, что «десятки рукописей русских писателей, ученых, педагогов, врачей перекочевали через границу и вернулись в виде целого транспорта отпечатанных книг. В числе их был и учебник Боча, отпечатанный с небольшим в два месяца». Оказывается—трудности сношений никакой нет, совсем наоборот, и даже «наличие Государств. Издат.» ровно ничему не мешает! Наприм., на стр. 51 читаем, что Госуд. Издательством в Москве напечатана книга проф. Вульфа, причем «издана книга хорошо, рисунки изящны». Никому не понять—на что же брюзжит проф. Райков? Но зато всякому очевидно, что он просто не понимает того, о чем сам же пишет. Как хотелось бы, чтобы он поскорее раз'яснил все это на страницах своего апокалипсического журнала!

Таких апокалипсических бессмыслиц в журнале проф. Райкова такое изобилие, что я бы предложил назвать его журнал «Апокалипсис в школе».

Вот хотя бы еще пример (стр. 42): «Как литературный первенец книга Тимирязева («Дарвин») несомненно имела влияние и на дальнейшую судьбу своего автора. Молоденький студент впоследствии сделался наиболее видным, талантливым, горячим и непримиримым защитником дарвинизма в России». Во-первых, «Дарвин» вовсе не был литературным первенцем Тимирязева. Во-вторых, все кроме проф. Райкова думают, что не качества книги влияют на автора, а совершенно обратно. В-третьих, восемью строками раньше проф. Райков упоминает о Писареве, который напечатал в том же самом году, что и Тимирязев, столь же блестящее изложение дарвинизма, а однако это не повлияло, как все знают, на судьбу Писарева, подобно тому, как на Тимирязева. Вот книжки дарвиниста Коржинского, как мы знаем, повлияли на автора совершенно обратно, так что он сделался анти-дарвинистом и еще раз доказал проф. Райкову, что автор влияет на свою книгу, а не книга на своего автора. Очевидно, проф. Райков привык всех мерять на свой аршин: его собственная книга, верхним чутьем улавливающая всяческие «указания разных высокопревосходительств», действительно повлияла на все дальнейшее творчество автора, и таким образом отразилась «на его дальнейшей судьбе».

В журнале есть и такие, например, утверждения (стр. 13): «Мы должны признаться, что точных примеров, не менделирующих, т.-е. не расщепляющихся, помесей мы до сих пор не знаем». А не мешало бы знать! Хотя бы данные у Дарвина, проф. Томсона, Тревора Кларка, Уоллеса и др. А еще лучше вспомнить про человека, который при скрещивании белой расы с черной не дает расщеплений, а производит мулатов, квартеронов и проч.

Каким общественно-политическим младенцем остался проф. Райков, не взирая на свою чуткость ко всяким «указаниям» из царских высоких сфер, видно хотя бы из той же его рецензии на книгу Чугунова, про которого проф. Райков пишет (стр. 46): «В конце концов автор (Чугунов) доходит до междуклассовой борьбы», в которую по его мнению вылилась борьба за существование в людском обществе в настоящее время».

Успокойтесь, проф. Райков! Все это только шутка, которую выдумали коммунисты, чтобы пугать политических младенцев. На самом же деле никакой классовой борьбы на земле никогда не было и не будет! Во всем мире установится вечный Burgfrieden, при чем рабочие будут нежно любить своих фабрикантов, батраки будут всегда обожать своих помещиков, проститутки — молиться на своих покупателей и вся трудовая голытьба будет с удовольствием ютиться в [illegible] трущобах, отнюдь не косясь завистливым взглядом на хоромы вельмож и банкиров; колониальные цветные племена вечно будут умиляться на эксплоататоров из метрополии, а больше всего ученики будут благоговеть перед педагогами, кои ради дорогих детей всегда будут готовы отказаться даже от своих педагогических взглядов. Не верьте этим [illegible] на этот раз тверды в своих невинных убеждениях!

Кстати, перечтите еще раз эпиграф из Писарева на обложке вашего [illegible] журнала, или лучше замените его другим, более подходящим к [illegible] составу редакции.

# По морю бумажному.

(журнальный обзор).

**Ник. Асеев.**

Толстыми журналами—хоть мосты мости. Каждый месяц приносит из-за рубежа и из провинции кипы истисненной бумаги. Велик и могуч российский язык, но если им трепать по всему земному шару, то и он, думается, станет вялым, распаренным и скользким вроде банного веника. А где только не пытаются им «священнодействовать»! В какой валюте не оплачиваются построчные на нем? Книжищи одна другой пухлее, одна другой увесистее. Эта—прельщает ослепительной глянцевой белизной обложки, напоминая о безукоризненных манжетах собравшегося под ее всепримиряющим кровом общества [1]. Здесь и маститый Гребенщиков и резвый С. Юшкевич и очаровательный Ал. Фед. Керенский и А. Толстой. Речь самая культурная, стильная, ну там воспоминания кой-какие, конечно, иногда не стерпишь, обзовешь этих как их... победителей, капралов-то, взявших палку, «мерзавцами», но это исключительно от сердечного невроза. А так больше на жалостливость бьет, в слезу вгоняет. Все в прошлом; нам осталось только тихо грустить; да, были ошибки и не мало: первая, вторая, третья:—да почти что беспрерывной ошибкой была юность. Но теперь исправляемся и хоть примириться не можем, а раскаяние некое чувствуем.

Другая обложка синяя, как околыш вечного студента. И на ней: «Основана в 1880 году». А внизу читается: «Прага» [2]) 1922.

Связи как-будто бы отдаленные. Но для непонятливого на задней странице пояснение: «Основана в Москве в 1880 году С. А. Юрьевым, продолжателем которого был В. М. Лавров и В. А. Гольцев..., Кизеветтер..., П. Б. Струве». Словом вся родословная.

Это вам не Сполохи,
Где пасутся олухи;
Доблестные шпаги—
Собралися в Праге.

---

[1]) „Современные Записки". № 9—10. Париж.

[2]) „Русская Мысль", апрель-март. Прага.

При покупке просят обращать внимание на фирму: пять князьев, три графа и один барон ручаются за чистоту «русской национальной мысли» и блюдут ее, непоколебимые с 1880 года, устои.

Это из зарубежных. Ныне внутрирубежные тоже стараются попасть в тон толстому басу заграничных дяденек. Пока еще кое-где откашливаются, пробуют взять тону, часто сбиваются то на елейное пришепетывание, то на хриплый дискант молодого петуха. Рядом с честной бездарностью шмыгнет талантливо извивающаяся спина подозрительно-верткого незнакомца. Рядом с тягучим, «солидным» брюзжанием, прорвется неожиданно окрепшая нотка кого-то, кто еще возвысит свой голос и покроет им все злопыхательствующие «об'ективно» язвительные, соболезнующие, скрипящие, косноязычные речи — весь многоголосый неоформившийся хор литературного злободневья, в котором трудно разобраться не искушенному в «художественных приемах» и «развертывании сюжета» новому читателю.

Все же следует сказать, что во внутрироссийских журналах эти свежие «юные» голоса встречаются, от них тускнеют хрипы и всхлипы полураздавленных победным шествием жизни мечтателей, от них загораются страницы, чадящие и трещащие под бессильным гневом уходящих с арены бывших родителей «русской мысли».

В зарубежных изданиях—скука, уныние, жевание онучи во сне—и разве, разве изредка—косо-воровской, беглый взгляд—жадный и боязливый, шкодливый и вожделеющий—по сю сторону рубежа. Миф о хранящихся в рукописях «бесчисленных залежах материалов, не имеющих возможности увидеть свет» оказался мифом и рекламой. Ничего и не было написано, и не типографская, а иная, внутренняя разруха оставила «властителей дум» у разбитого корыта. Теперь при полной возможности и печататься внутри страны и перекочевать с «материалами» либо в Прагу, либо в иной «культурный центр» явно обозначилось неуменье «маститых» не только осознать, но и по старинке описать, хотя бы ту же самую разруху—ибо она-то и сидела в них самих, глубоко проев червоточиной их «великие души», душком отдающие при первых шагах возродившейся жизни.

«Современные Записки» переехали из Парижа в Берлин. И если одни из их сотрудников, как например Керенский—занялись воспоминаниями в Гатчине (А. Керенский «Гатчина») и, подсчитывая свои «главные» ошибки и претерпенное от «мерзавцев» и пьяных негодяев, самоуслаждают себя восторженно-фарисейским, иудушки-головлевскими причитаниями—«мы культурные, интеллигентные...» (А. Тальников «По переписи»), то другие успели заменить иное пение жалостливыми причитаниями о своей горькой судьбе:

Охо-хо-хонюшки
Скучно жить Афонюшке
На чужой сторонушке!

Этот мотив—взятый эпиграфом А. Толстым к его рассказу «Н. Н. Буров и его настроения»—звучит и в другом произведении—С. Юшкевича «Алеор». А так как этими двумя вещами исчерпывается «современность» Звеньев, то об них и поговорим в первую очередь.

«Настроения Н. Н. Бурова»—не ахти какие. Эмигрант неизвестно по какой причине, бухгалтер скучной конторы, типичный чеховский человек на парижском фоне—такой герой наверное не заслужил бы раньше жалостливого к себе внимания со стороны А. Толстого.

Не заслужила бы этого внимания и обстановка его окружающая: хозяин конторы Вячеслав Иосафович, рыж, брит, низколоб, да к тому же еще конфеты дарит разделяющей с Н. Н. Буровым труды изгнания—Людмиле Ивановне. В отеле приходится чайник кипятить самому; вообще—никакого стиля...

Героиня же Людмила Ивановна тоже не весьма авантажна: шапочка на Людмиле Ивановне «с пыльным бантом», «жакетик»—старый, сумочка потертая, и разве что только «кисть руки узкая и слабая» напоминает о прекрасном прошлом. Попала она в Париж—

> Как перелетная птица: уехала из Москвы в Харьков к сестре в 17 году, так ее и несло ветром.

Автор здесь несколько обобщает образы. Конечно, не ветром, а паром несло Людмилу Иванювну, но что вспоминать об этом, когда «жакетик»—старенький, а бант на московской шляпе запылился.

«Настроения Н. Н. Бурова», конечно, минорные. Можно сказать, куска человек не с'ест, чтобы Россию не помянуть. И ассоциации идут самые сложно-бухгалтерские:

> Буров заварил чаю, отломил от длинной, как дубина, булки кусок и, стоя у стола, стал прихлебывать: —тридцать чашек в месяц. Там в месяц в среднем умирает три миллиона душ собачьей смертью: по сто тысяч душ на каждую чашку... По сто тысяч душ проглатываю ежедневно. Какая ерунда.

Ерунда, действительно, изрядная. И крепостной стиль счета на души притянут за волосы к «настроениям» настолько, что приходится эту ерунду самому же констатировать.

А вот еще из «настроений»:

> Предположим, французы меня выберут президентом. Французы! Все на спасение братьев ваших! Маленькие дети лежат у дорог на сухой земле... ручки и ножки у них как спичечки... они же не виноваты... Вымирает целая раса... Да не выберут ведь, подлецы, президентом...

Как ни трогательны, конечно, эти бессвязно-гуманные выкрики в устах героя—все же «потертый жакетик»—как-то убедительнее. И кроме того лучше бы уж без французской выручки; ибо неужели, даже в Париже живя, герой рассказа не уразумел, чего эта «выручка» «братьям» стоит?

На фоне вышеописанных «настроений» идет сочувствие друг другу героя и героини. В начале поднесенные хозяином конфеты чуть было не испортили дело. Н. Буров совсем загрустил, разговаривать с Людмилой Ивановной

перестал, и к жизни стал отвращение чувствовать. Но к концу все хорошо обходится. Пошел он к Людмиле Ивановне -та, комочком свернувшись, в кресле спит—слезы на щеке не высохли. И произнес он перед ней тираду о «настроениях». Смысл ее неясен, но очень видно жалостливо

> Может быть нужно еще страданье. Нужно что-то еще понять. Может быть Россия не погибнет... Не знаю .. не понимаю. Но я знаю, когда плачет ребенок, когда вы плачете—это истинная правда

— В чем дело?—спросит читатель.—При чем тут: «Россия не погибнет»? А—для «настроения». Во всяком случае—симптоматическою. «Нужно что-то еще понять», говорит герой. Но читателю уже все понятно

Рассказ заканчивается примирением героя и героини, а значит и вдали брезжущей новой жизнью.

Конечно—куцый бухгалтерский пиджачек—не несуиченая пощечина, а вытертый жакетик—не стильное Ларинское платьице..

Но все же рассказ настолько вял, скучен и аляповато жалостлив, как будто бы писан под диктовку, что действительно приходится подумать как

> Скучно жить Афонюшке
> На чужой сторонушке.

— — —

Тем же эмигрантским настроениям посвящен и другой «современский» рассказ С. Юшкевича. Заглавие его «Алгебра». Герой купец Савельев. Стиль несколько иной. Но суть одинакова:

> Скучно жить Афонюшке..

Особенно, если «Афонюшка» лыс, толст и обуреваем воспоминаниями о «той» жизни, где остались «жена, дети, приказчики, бухгалтера, склады с товарами, отделения в разных городах»...

В настоящем же недостаток «жиров» и «белковых» вгоняет полусвятшиее степенство в «алгебру».

> (A+B)—(A+B), при чем A—это он, Савельев, его жена, дети; а B—все остальное: богатство, влияние, радости, Маринка. A+B—это вся Савельевщина.

Четкостью этой формулы гипнотизируется мозг Савельева. Горечь неумолимого минуса, вычетшего из жизни все, что в ней было ценного для купеческой «широкой» натуры, съедает последние остатки разума:

> Ах, что это была за жизнь! А Маринка! А жеребец Ричард Третий! Всему, всему пришел конец. Была тысячу лет жизнь и умерла и не воскреснет

А если не воскреснет, то, конечное дело, остается крюк. Тут бы сей степенно и сказке конец, но Юшкевичу хочется жалостливости напустить, и снимает он с крюка своего героя «петушиным криком». Буквально. Закричал петух (уж не шантеклер ли?)—и Савельев выпрастывает шею из петли, приемлет мир вновь и идет на черную работу.

Но воспоминания о

> божественно творческом состоянии духа, когда с сигарой между вторым и третьим пальцем шел он из спальни в столовую ,

воспоминания о его «сильных полднях и вечерах» (это с Маринкой-то!) не дают покоя. Формула проста и точна. Жизнь и «бессмертье», оказывается, не даются так просто, как петуху. И думы над разрешением этой впервые почувствованной за «тысячу лет» трагедии вновь доводят Савельева «до точки».

Но разве можно попросту уморить знаменитого первогильдейца? И С. Юшкевич модернизует его переживания в мистическо-возвышенном стиле.

> Ощущая смертельный холод Всех Утешительницы, стал он смотреть на мир невидимый. Вкинулся в небо и понесся быстрее света все выше и выше подальше от Млечного Пути, в сторону от всякой звезды и, нагнав первозданный хаос и став у начала бытия, в ужасе остановился.

Но Юшкевич-то не останавливается. Закручивает по небу такие вензеля, что самому А. Белому вчуже, верно, завидно становится: до чего истерики много. Не будем читателя утомлять цитатами. Ясно и так, что в потере жеребца Ричарда и,— делавшей «сильными» вечера,— Маринки — может утешить только «всех утешительница». И никакие петушиные крики, никакая алгебра тут не вызволят. А потому единственный выход из положения это —

> просунуть голову деловито в петлю, повиснуть и скрючить ноги, медленно высунуть язык проклятому ослиному времени.

Написан рассказ бойко, звонко, с уклоном в «музыкальный оркестрион» прозы того же А. Белого. И для «Записок мечтателей» очень бы пригодился. А в «Современных» — ни к чему он. Все эти «курносые кроватки», «чемоданы-медведи с зонтиками под мышкой», «рычащие кресла» — не оживляют в бессильной мути собачьего вальса, тренькающего со страниц «Современных Записок». А «побежавшие плузки» — заставляют улыбнуться над «легкостью слога необыкновенной» ударившегося в импрессионизм С. Юшкевича.

В общем, как видит читатель, оба «современнейшие» произведения «Записок» вертятся вокруг общей оси — «скуки Афонюшкиной жизни». Оба разделываются с каким то этапом, проливают последнюю слезу, и, думается, к нему не вернутся.

Остальная беллетристика «Современных Записок» попахивает рухлядью. «Собачий вальс» Л. Андреева «Поэма одиночества в четырех действиях» — несет в себе все недостатки, и ни одного из достоинств этого писателя интеллигентского эклектика, разуверившегося в себе. Генрих Тиле пунктуальнейший из кассиров, когда-либо живших на свете, строит свою жизнь как колонки точных, никогда не изменяющихся цифр. Любовь, дружба, нравственность, эстетика — все упрощенное до понятности собачьего вальса — лишь слагаемые для незыблемого баланса жизни Тиле. Без помарок, без подчисток, должна сложиться она, эта безупречная жизнь. Внезапно ее размеренное течение разорвано изменой избранницы Тиля, Елизаветы, перед самой их свадьбой, вышедшей замуж за другого. И вся бухгалтерия Тиля летит кувырком. Нанятая на три года квартира, положенные на рояль ноты, кро-

ватка в детской, долженствовавшая ожидать своего «владельца» все становится насмешкой над точностью и предусмотрительностью героя «собачьего вальса». А сам он, помимо обстановки, помимо выкладок и вычислений жизни за душой имевший только «Собачий вальс», которому его обучила мать в детстве, нелепо и косно продолжает катиться по им же проложенным рельсам: точности, ясности, схематизации—против которых—как думал он раньше бессильны стихии.

Конечно, рельсы разламываются бесцельностью пути и вся огромная махина механизированного и автоматизированного миросозерцания летит под откос. Генрих Тиле пытается развратничать, пить, идет на преступление—ничто не в состоянии поправить им же самим разрушенной схемы. И путая своего школьного товарища Феклушу бегством с украденным миллионом,—Генрих Тиле уже решает убежать так далеко, чтобы его не смогли поймать с «подчисткой» жизненной бухгалтерии. Выстрел, после сыгранного в последний раз собачьего вальса, спасает Генриха Тиле от обязательств распутать затянувшийся счет.

Как и все почти «символические» драмы Андреева, «Собачий вальс» написан скупым, скудным языком, со стилизацией под перевод, с многозначительными паузами, с туманной психологической символикой, а в конце концов—с тоскливой озлобленностью на жизнь.

Выхолощенный от конкретных образов диалог, формулы—действующие лица, «достоевский» быт—весь этот сдавленный голос потерявшего доверие чревовещателя, делают пьесу пыльной и скучной, как канцелярия. Вряд ли найдутся охотники до ее постановки.

Роман Г. Гребенщикова—«Чураевы»—не поднимается над обычным уровнем длинной и вялой прозы старых времен. Описываемый в нем быт сибирских сектантов, мало чем отличающийся от «изуверств», раз и навсегда закрепленных в литературе Мельниковым-Печерским, не дают ничего нового ни в описательном, ни в фактическом материале. Часто на Мельникова сбивается и стиль автора—неторопливый, вяжущий, с длиннотами и отступлениями, с «выигрышными» местами под занавес («продолжение следует») и, в конце концов, не обязывающий ни к дружбе, ни к вражде.

Этим исчерпывается «художественная» часть, помещенная в «Современных Записках». Не упоминаем о романе Алданова «Девятое Термидора», еще не законченном и требующем чисто исторических поправок. О нем—по окончании.

В общем пухлые «Современные Записки» опираются, очевидно, на «современность», считая ее до 1917 года. За сим идет для них «безвременность», соприкасаться с которой они считают ниже своего достоинства.

---

Еще скучнее и придушеннее живется «Афонькам» в Праге. И как Петр Струве ни уверяй в своих «Попытках сплотить вокруг себя все живые духовные силы, преданные идеалу органического национального возрождения

России — сплачивается вокруг него вся «нежить», мертвечина, схоласти, «бывшей» русской мысли. А «живые силы» только состоят в сотрудниках, стыдливо отвертываясь от Праги и потихоньку перебираясь в Берлин.

В двух книжках, мартовской и апрельской, «Русской Мысли» что-то этих «живых сил» совсем не замечается. Имена сборные, ничего не говорящие—какие-то Андреи Блохи, Леониды Чацкие. А если встретится промелькнувшая «заслуженная» фамилия,—то чего только не начирикает!

Вот она «Опустошенная душа» Евг. Чирикова. Скучнейшая без меры глуповатая канитель фальсифицированной «рукописи в бутылке». Это видите ли—

«Скорбная повесть опустошенной человеческой души — художественная переработка рукописи, полученной автором от сестры милосердия Валентины Тархановой, служившей в одном из военных госпиталей в г. Ростове в дни гражданской войны. По словам этой сестры милосердия, автор рукописи—захваченный в плен большевистский комиссар К. Молодин, интеллигентный человек. Освобожденный от расстрела под условием смыть свое преступление (?) боевыми заслугами на фронте против «красных», он смертельно ранил себя из револьвера и был привезен в лазарет. Г-жа Валентина Тарханова, которая ухаживала за раненым К. в лазарете, за день до смерти молодого человека, получила от него тетрадку-рукопись с просьбой отдать ее какому-нибудь писателю». «Она отдала ее мне»—плетет как на мертвого Евг. Чириков—и тем же казенным языком через ухабы и колеи бесформенных потуг разделаться с «марксистским миросозерцанием» довывает до следующих «новеньких»—национальных мыслей:

> ...Если вера во Христа поднимает личность человеческую над миром животного царства, то вера в Маркса принижает ее до личности животного.

Или

> ...Мы доказали только одно, что если для преображения (?!) обезьяны в человека требуются десятки тысяч лет, то для превращения человека в обезьяну требуется очень немного времени...

Правильно, г. Чириков. И даже не в большую обезьяну—а в старую и слабую глазами мартышку, таскающую из шарманочного ящика Струве с пафосом написанные зловещие афоризмы планеты Козерог!

На ряду с этой жалостно-косноязычной бормотней даже повесть убежавшего белогвардейца—кажется и приличней, и «литературней». Повесть эта «Бегство» Ив. Беленихина—не лишена некоторой хотя и весьма специфической наблюдательности, и во всяком случае более имеет претензий на «художественную литературу», чем весь остальной убогий материал. Во всяком случае от этого «белого» скорее можно ожидать уяснения себе действительного положения вещей, чем от старческого маразма Чирикова.

Повесть описывает бегство к белым помещичьих сынков на юге России. Вот описание «нужного человека», помогающего им в пути:

> Григорий Иванович и в прошлом и в настоящем, т. е. уже при большевиках, был фигурой для нашей деревни очень типичной. По большевистской тер

миологии он был классический тип буржуя и деревенского кулака. В великорусской деревне кулак — термин вполне определенный, это ростовщик и при том по преимуществу берущий за хлеб, данный весной — засевный загон осенью. Народническая литература придала этому термину „распространительное толкование", а большевики обозвав, быть может, и не устами умного и эластичного Ленина, но всей своей практикой на местах, кулаком — всякого дельного хозяйственного крестьянина, извратили смысл, затрепали и превратили определение в орудие партийной борьбы. Григорий Иванович кулаком, конечно, не был, он вел очень крупное мукомольное дело, не забывая себя, но и не прижимая округу.

Вот описание штаба бригады советских войск:

Спросивший со смуглым лицом, хриплым голосом и с прямыми, светлее лица, гладко зачесанными назад волосами, по виду интеллигентнее других, очевидно и был командиром бригады. Рядом с ним и ближе к нам сидел некрасивый скуластый блондин, с явно некультурным, но умным, спокойным и немного унылым лицом. Вероятно, это был политком, так как брюнет все время советовался с ним. Весь допрос вели только они.

Уже по приведенным цитатам видно, что автор далек от шаблона, пытается наблюдать об'ективно, и если делает выводы, диктуемые его положением — «культурного, но беспокойного» лица среди «не культурных, но умных и спокойных», то думается нам, что силою обстоятельств выводы эти пересмотрятся еще раз автором и, видоизменясь, дадут возможность Ивану Беленихину занять в литературе место хотя бы того же самого Чирикова, явно вышелушившегося и превратившегося в заживо стучащую костями погремушку «национальной мысли».

Этим приходится ограничиться, отводя в обзоре место «Русской Мысли», поскольку в ней представлен «художественный материал». Остальное — вне круга литературы вообще даже при самой ослабленной требовательности. Мусором набитый паз в стене — снаружи как будто толсто, — а ковырни — вывалится такая сборная ветошь, что глаза зажмуришь. Подозрительна толщина зарубежных журналов. Пухнут они от водянки — и довольны собственной солидностью. Только впрямь ли довольны? Что-то уж очень тревожно звучит «имя ее редактора, который был единственным ответственным руководителем журнала за последние 8 лет его существования, достаточно определяет характер возобновляемого литературного предприятия».

Не надолго только оно, предприятие-то это. Либо верит Струве, что все чехи под влиянием «национальной мысли» по-русски читать начнут, либо он на чешский язык перейдет. А так это «предприятие» долго не протянет.

---

Перейдем теперь к журналам, выходящим внутри страны. Их много. Они разноцветны и разноценны. И было бы тщетным старанием в нашем обзоре выявить хотя бы вкратце содержание каждого из них. К счастью для обозревателя, их можно подразделить на две категории: приемлющих жизнь жадно и молодо, и отворачивающихся от нее, носом в угол, спиной к настоящему и будущему, умиленно поджимающих губки при воспоминаниях о прошедшем.

А так как в этой части обзора, задача наша сводится к заметкам о художественном слове, то нам нет нужды в пересказе всех «слов», до уровня (хотя бы самого небольшого) художественности не поднимающихся.

Начнем с «Записок мечтателей». Уже 5 № выходит этих мечтательных записок, а все еще не разберешь куда летят их мечты. Не разбирая неоконченную поэму Блока (дело историка литературы), случайных заметок об Андрееве и Блоке и остальном материале, перейдем к центральному месту «Записок»—рассказу Е. Замятина—«Пещера».

Речь—о жалости к тем же уходящим, неприспособленным к жизни людям. Жалость эта обострена гораздо тоньше, чем в вышеописанных попытках Ал. Н. Толстого или Юшкевича. Чувствуется уверенное мастерское перо, четко отделавшее, старательно выписавшее тему: внутренняя динамика—огромна, детали тщательно выправлены—прямо нагнетательный насос для слез, а не рассказ.

Общий фон рассказа—вымерший, вымерзший Петроград, возвращенный к ледниковому периоду (кем? чем?—пусть-де судит читатель)—а на нем—еле копошащиеся тени полуживых культурных людей. Живут двое, забившись в самую дальнюю комнату-пещеру, в которой так же:

> как когда-то в Ноевом ковчеге: потопно перепутанные чистые и нечистые твари: письменный стол, книги, каменновековые гончарного вида лепешки, Скрябин опус 74, утюг, пять любовно, добела вымытых картошек, никкелированные решетки кроватей, топор, шифоньер, дрова и в центре этой вселенной—бог. Коротконогий, ржаво-рыжий, приземистый, жадный, пещерный бог: чугунная печка

В этих же тонах—описания ледникового периода существования человечества проведен весь рассказ. Двое живущих в комнате теней слабые, не умеющие вне культурных условий бороться с жизнью люди. «Бог»—печка требует дров, чтобы согреть их истонченные тела. Дров больше нет. Завтра день ее рождения. Он крадет дрова у соседа, чтобы весь день ее праздника был тепел и светел. Сосед—грубый пещерный житель, предупреждает через председателя домового комитета, что заявит в уголовное. Светлый день иллюзии посветлевшей и согретой жизни кончился. Невидимая, но действительно жуткая борьба между культурным прошлым и инстинктом самосохранения у героя также кончилась. Дальше выносить пещерную жизнь нет силы. Но в столе есть заветный синенький пузырек. На крайний случай. Теперь этот случай пришел. Пузырек вынут. Она—замечает: «Ты уже... уже хочешь?».

В пузырьке—яду только на одного. И «культура» вновь победила. Это средство сразу прекратить горькую пещерную жизнь отдает он ей. Сам уходит в улицы—в огромную тихую пещеру—

> Узкие бесконечные переходы между стен и похожие на дома обледенелые скалы; а в скалах—глубокие багрово освещенные дыры: там, в дырах, возле огня на корточках люди. Легкий ледяной сквозничок сдувает из-под ног белую пыль и никому не слышная по белой пыли, по глыбам, по пещерам, по людям на корточках огромная мерная поступь какого-то мамонтейшего мамонта.

Впечатление леденящее, придавливающее. Да. Так вымирал в борьбе со стихией истонченный, проскваженный насквозь суровой погодой эпохи интеллигент.. Жалко? Жалко. Страшно? Страшно. Но ведь не только жалость и страх вызывает рассказ. Он вызывает злобу. На кого? На что? А это смотря по темпераменту. У одних на прошлое—у других на будущее. И рассказ из «ледовитого» шедевра превращается в шедевр ядовитости. Ведь сам-то автор толкает читателя носом в прошлое, когда—«сотворена была вселенная», когда—«синенькая комната и пианино в чехле (редко играли—для виду стояло) и на пианино деревянный конек-пепельница»...

Одним словом—полный порядок, а не «потопно перепутанные чистые и нечистые». Ну, а в будущем порядок автору не мыслится? Хотя бы не такой, не «в чехле», а иной, видоизмененный. Иным он не интересуется? Иного не может быть? Не знаем. Автор предпочитает вспоминать.

Но тогда зачем возбуждать эту жалость? Ради сохранения вида? Евгений Замятин чувствует себя в этой вымирающей породе культурных людей? Борется ли он со смертью? Наверное, поскольку его перо не потускнело, не иссякло, в уменьи описать, обжечь образом, поставить лицом к лицу с жалостью и озлоблением. Но на что, на что озлобление? Ведь не на мороз же, не на стихию же? Значит какого-то реального виновника, обнажившего стихию, видит он? И вот поставил бы автор зеркало, внимательно вгляделся бы в него—и увидев ядовитые тленные черточки скепсиса и озлобленности—увидел бы он своего врага, выпустившего «мамонтейшего мамонта» на стихийную прогулку. И если Замятин во-время не разглядит в себе этих черточек, не разглядит их дыханием жизни—широка дорога Буниных и Куприных. И превратится его перо в размагниченный брюзжащий скрип «бывшего» писателя.

Помимо этого рассказа художественно спорно выступление А. Белого с заметкой о стихах Ходасевича. Помимо символических выкриков о «словесном древе» в нем имеется конкретное заявление:

> Послушайте до чего это ново, правдиво—вот то, что нам нужно... Стихи принадлежат поэту не новому и поэту без пестроты оперения—просто поэту.

И далее про Ходасевича же:

> ...Поэт божьей милостью, единственный в своем роде (?).

Мы, по правде сказать, в настоящем обзоре не хотели совершенно касаться тех особым типографским способом отпечатанных строк, что во всех журналах понатыканы между солидными повестями и заменяют то, что называется стихами. Но раз—«то, что нам (?) нужно», раз «ново, правдиво». это стоит перечесть. Заявление ведь делается большим знатоком поэзии, признанным, даже недавними врагами, авторитетом. Читаем в тех «Записках мечтателей» № 5:

Душа.

Душа моя как полная луна.
Холодная и ясная она.
На высоте горит себе, горит.
Но слез моих она не осушит

И от беды моей не больно ей,
И ей не внятен стон моих страстей!
А сколько мне здесь довелось страдать,
Душе сияющей не стоит знать.

Не будем говорить о довольно странной форме: «горит себе (?) горит», но ведь нам сказано, что это «ново, правдиво». Отбрасывая «новизну»,—где же правдивость? Горит на высоте душа, как луна, «себе»—совершенно самостоятельно, в страстях не участвует, слез не осушает. Ведь это—если не электрический фонарь, то штука совершенно неправдоподобная. Но может быть мы случайно наткнулись на неудачу. Читаем дальше:

Буря, ты армады гонишь
По разгневанным водам,
Тучи вьешь и мачты клонишь,
Прах подъемлешь к небесам.

Реки вспять ты обращаешь,
На скалы бросаешь понт,
У старушки вырываешь
Ветхий вывернутый зонт.

Вековые рощи косишь,
Градом бьешь посев полей;
Только мудрым не приносишь
Ни веселий, ни скорбей.

Мудрый подойдет к окошку,
Поглядит как бьет гроза
И смыкает понемножку
Пресыщенные глаза.

Одним словом—поглядел, поглядел, да и на подушку! Чорт с вами со всеми, моя хата с краю. Мое дело выспаться! «Мудрость»—как видно не великая. Но дальше:

Мне каждый звук терзает слух
И каждый луч глазам не сносен,
Прорезываться начал дух,
Как зуб из-под припухших десен.

Называется—«из дневника». В чем же «новизна и правда»? В отворачивании в угол носом от всякого звука и света? В закрывании глаз на все происходящее? Но еще дальше:

Все жду кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль,
Зевака бледный окровавит
Торцовую сухую пыль.

Хорошенькое миросозерцание? Душа «себе» горит, конечно, не участвуя в «страстях». А бренное тело стоит у окошка и глядит слипающимися глазами—авось на улице какое-нибудь развлечение найдется пресыщенному взору. Ибо гроза для мудрого—какое же зрелище—вот если бы кого-нибудь автомобиль подмял—от этого и взволноваться можно!

И этакую зловещую усталую до полной импотенции, отказывающуюся

от всякого движения поэзию, А. Белый рекомендует, как последнюю правду и новизну? Храни нас жизнь от такой «божьей милости». Давно для нее крематорий надо выстроить. Тление, разложение это, а не откровение духовного мира. И неужели такая мировая панихида может еще сойти за «правду отстоенного духовного знания». Отстой этот—мутный осадок всего, что бродило когда-то в символизме и что прахом теперь хочет покрыть свежую зелень молодых поэтических побегов. Пусть бы «мечтатели» мечтали о другом. Пусть бы становились спиной к жизни, носом в угол и шептали свои мистические неизреченности. Но они лапают жизнь, они выщупывают в ней наиболее нежные места и, сладострастничая и извиваясь в судорогах похоти, рекомендуют свой садизм, как «теневую суровую правду рембрандова штриха».

Не рембрандова это тень, а замогильная серая серость проступающего идеологического тления.

---

Отложим «Мечтателей» в сторону. Вот «Утренники». Читаем в передовой:

> На первом месте стоит то, что я называю религиозным отношением к жизни. Мир не только мастерская, но и величайший храм, где всякое существо и прежде всего (?) всякий человек—луч божественного, неприкосновенная святыня.

Странно, как их всех тянет на «божественное». Как пьяницу на похмелье. Конечно, скажут мне, это только терминология. Да, но терминология-то характерная: архаическая, заботливо вытаскиваемая из-под полы на предмет широкого потребления. Того и гляди загнусит опять Петр Струве. Так и есть:

> Выполнение этой задачи означает восстановление и сохранение нашего национального лица. Этот термин и эта задача так были запачканы в прошлом...

Дальше цитировать не стоит. Ведь понимает человек как «запачкана» терминология, а все-таки с ней и в ней только видит возможность «очиститься». «Мир—храм», «душа—психея», «милостью божьей», «магическая красота», «сим победишь», в качестве «спутников»—Нил Сорский, Сергей Радонежский—прямо епархиальные ведомости какие-то. И гнусят, гнусят эти смиренномудрые, елейные голоса, очевидно, имея свою «паству».

---

Теперь—о большой радости—пришедшей из далекого Новониколаевска под зеленой обложкой с аляповатым квазиславянским шрифтом. Имя автора для России вряд ли знакомо: нам, по крайней мере, оно встречается едва ли не впервые; имя это Л. Сейфуллина. Радость от этого нового имени двойная: и в том, что вновь из неведомой дали, из гущи человеческих масс отделился и выплавился четкий и живой облик человека-творца, человека с той инициативой к организации дум, чувств, событий, происходящих в нас и вокруг

нас—то, что принято обычно называть старинным словцом таланта. И другая сопутствующая этой радость—в том, что можно с уверенностью сказать, что это человек, этот талант—талант нового мира, родившегося в нем, выдвинутого им, в нем живущего и его организующего. В майском (втором) номере «Сибирских Огней» помещен рассказ Сейфуллиной «Правонарушители». На первый взгляд как будто бы самая немудрящая проза; но переверните страницу—и вас увлечет этот четкий, краткий, экономный словарь, сила, с которой выдвигаются на первый план все важные подробности, все аргументарные эпизоды. Тема «Правонарушителей»—жизнь идущего вслед нам поколения. Его удельный вес, его возможности, вся та буйная и свежая сила жизни, которая хочет найти себе подходящие условия жизни, а если их нет,—считается только с собой. Рассказ Сейфуллиной начинается с диалога:

Его поймали на станции. Он у торговок съестные продукты скупал. Привычный арест встретил весело; подмигнул серому человеку и спросил:

— Куда поведешь, товарищ, в Ртучеку или Губчеку?.

Тот даже сплюнул.

— Ну и дошлый, все видать прошел.

Диалог продолжается при допросе в комендантской:

— Добровольцем ты у Колчака служил?

— Служил, только убег. Как красны пришли, все побегли, и я побег. Ну, никому меня не надо, я добровольцем и вступил.

— Что ж ты от красных бежал? Боялся, что ли?

— Ну, боялся... какой страх. Я сам красной партии. А все побегли и я побег.

Уже из диалога, без всякого усилия автора создается реальный облик *живого* мальчишки. Но диалог продолжается.

— Что ж ты у Колчака делал?

— Ничего. Записался да убег.

— Так ты красной партии?—вспомнил комендант.

— Красной. Дозвольте прикурить.

— Бить бы тебя за куренье-то. На, прикуривай. Сколько тебе лет?

— Четырнадцатый с Григория Святителя пошел.

— Святителей-то знаешь. А поминание зачем у тебя?

— Папашку записывал. Узнает на небе-то, легче будет. Мать забыла, а Гришка помнит.

— А ты думаешь на небе?

— Ну, а где? Душе-то где-нибудь болтаться надо. Из тела человечьего-то вышла.

Комендант снова потускнел.

— Ну, будет. Задержать тебя придется.

— В тюрьму? Ладно. Кормлють у вас плоховато. Ну, ладно. Посидим. До свиданьица.

Автор еще не выступал с комментариями, а мальчик уже на первой странице обрисован, со всей его богатой натурой, умом, сметливостью, сместью, искренностью.

Автор и в дальнейшем держится в тени. Весь рассказ ведется почти це-

ликом—«от мысли» Гришки. И ведется так, что ни одного раза не возникает досадного сомнения за автора. Ни разу не почувствуешь фальши этого «приема». А прием труднейший—удающийся только таким крупным художникам, как, например, Твэн.

С допроса его отправляют в приют для малолетних преступников. И его он оценивает точным и цепким взглядом:

> Пошли день за днем. Жить бы ничего, да скучно больно. Утром накормят и в большую залу поведут. Когда читают, да все про скучное. Один был мальчик хороший, другой плохой... Дать бы ему подзатыльник—хорошему-то! А то еще учительши ходили.
>
> — Давайте, дети, попоем и попляшем,—ну, становитесь в круг.
>
> Ну, и встанут. В зале с девчатами вместе. Девчата вихляются и все одно и то же поют: про елочку, про зайчика, про каравай. А то еще руками вот этак разводят и головой, то на один бок, то на другой:
>
> — Где гнутся над омутом лозы.

Вся нудь и все лицемерие напускной квакерской педагогики, головного, интеллигентского шпаргалочного монтессоризма выступает проявленным этим художественным приемом.

И это лицемерие, эту фальшивость чутко отмечает детский, безошибочный, здоровый инстинкт «реальности».

> А тетя Зина всех „голубчиками" зовет, по головке гладит. Липкая. Самой не охота, а гладит. И разговорами душу мотает... Ведьма медовая. Опять же анкетами замаяла. Каждый день пишут ребята анкеты — что любят, что не любят, чего хотят, и какая книжка понравилась. И тут ее Гришка обозлил. В последний раз ни на какие вопросы отвечать не стал, а написал:—Анкетав никакех ни люблю и нижалаю.

Приют помещался в женском монастыре. Ребята дразнили монашек, инстинктивно чуя в них ту же фальшь и лицемерие напускной добродетели, что и в «тете Зине».

> В колодезь плевали, а один раз в церковь дверь открыли и прокричали: Ленин! Троцкий! Совнарком! Матушки в Губнаробраз жаловались. С тех пор война пошла—веселей жить стало.

Великолепно описано выселение монашек из монастыря. Нигде не покривлена бытовая об'ективная правда. И все-таки ясно, на чьей стороне автор. Это не об'ективность хлопальщика кодаком, «зеваки праздного», это правда участника нового быта, его строителя инициатора, глубокая правда свежего дарования.

Скитания и «свободомыслие» Гришки продолжались бы долго и кто знает в какую бы форму отлился протест его против окружающего ханжества, фарисейства и озлобленности взрослых.

Но после бегства и вторичной поимки Гришка встречается с настоящим человеком. В канцелярию, где в мутящей тоске ждал Гришка дальнейшего определения своей участи, вошел:

...бритый, долгоносый, с губами тонкими. Ступал твердо. Точно каждым шагом землю вдавливал. Как вошел — на стул плюхнулся. И стул тоже в пол вдавил.

— Што? Навертываете? Все с бумажечками, с бумажечками? В печку все эти бумажки надо. А ты, башкурдистин, чего воешь? Автономию просишь?

И сразу и Гришка, и плакавший башкиренок, и все собравшиеся в канцелярии «правонарушители» заметили этого человека. И действительно—в нем было их спасение. Он отобрал десять самых смелых, да бойких. Смирных и ласковых не брал. И увез на берег озера в Тайгу основывать колонию. И ожили дети от клоачной, липкой, лживой городской ямы.

Гришка через озеро громким голосом горы спрашивал: — кто была первая дева?

Горы отвечали —

— Ева-а!

И, снова грудь воздухом взбодрив, орал:

— Хозяин дома?

Горы сообщали гулко и радостно:

— Ома-а!

— Эха это называется. Харрашо!

Во всем здесь жилки живые трепещут. Все на Гришкин зов ответ шлет. Не то, что в городе. Там собаченка—лаять может, а норовит молчком укусить.

Весело живется в колонии. Система Сергей Михалыча—труд и правда. Никаких поблажек ни себе, ни ребятам. Никакого лицемерия и снисходительности взрослого к ребенку. Но труд—как игра, если он не требуется, как урок, а органически вырастает из самих условий жизни. И ребята привыкают к труду, как к лучшей из игр. Они сами обслуживают колонию—потому что иных работников в ней нет. А привыкши начинает любить и его и свою колонию и—старшего меж равными—Сергея Михайловича—организатора этой молодой ясной коммуны.

И когда в силу «внешних условий»,—на зиму колонии не отпускают продуктов из Губоно,—дети решают лучше голодать в колонии, чем возвращаться в город, чуть было не искалечивший их психику и их тела. И трогательно жмется колония к своему странному старшему другу, не любящему бумажечек. И общая мольба трагикомичным воплем срывается с детских, звенящих болью ускользающей свободы, губ:

«Не отдавай нас опять в правонарушители».

И основатель колонии—«дернулся, морду скроил, руки потер» и, «почуяв страшную человеческую скорбь» в этих детских словах, сказал:

«Не отдам!»

На этом кончается рассказ. Но, закрывая книгу, не расстаешься еще с его образами. И долго в памяти стоит вызванное автором чувство.

Кроме радостно яркого, выпуклого умения описать советский быт, кроме горячего сочувствия автора его строительству—пока еще такому скудному, так редко становящемуся на настоящий, правильный, трудный путь; кроме этих неоценимых для писателя - коммуниста черт, у Сей-

фуллиной еще и тонкое аналитическое чутье, чувство меры, уменье не развертывать материи повествования до конца, уменье заставить читателя улыбнуться жизненной черточке, схваченной в интонации, заставить задуматься, сравнить, проверить—и всегда, в конце концов, поверить в действительность описываемого.

Теперь много писателей, описывающих Советскую Россию. Они забрасывают широкие сети своей наблюдательности, вытаскивая все, что попадется. Зачастую получающаяся «Демьянова уха», сваренная из этого улова, отбивает аппетит к злободневности. Сейфуллина принадлежит к числу немногих, чье имя появится в ряду лучших беллетристов Советской России.

Сжатый, точный, ведущий к ближайшим целям язык, бестенденциозность задания и, однако, следующие *непременные* четкие выводы из описываемого, уменье пользоваться самыми простыми способами и приемами с наибольшим эффектом—все обличает подлинного мастера в Л. Сейфуллиной.

«Правонарушители»—только этюд, но один он оправдывает попытки к изданию «толстого» журнала в провинции. Впрочем, Сейфуллиной лучше бы держаться центральных журналов, где возможности для автора более яркие, а аудитория более обширная и благодарная.

Думаем, что не ошибаемся, ожидая от Сейфуллиной большой и интересной работы.

---

# Литературные силуэты[*]).

А. Воронский.

## I. БОРИС ПИЛЬНЯК.

„С рассветом горько запахло полынью,—и Наталья поняла: полынью, горьким ее сказочным запахом, запахом живой и мертвой воды пахнут не только суходольные июли,—пахнут все наши дни, тысяча девятьсот девятнадцатый год. Горечь полыни—дней наших горечь". (Голый год).

I.

Каков подлинный лик жизни людской?

Над оврагом, в глухом сосновом лесу, в корнях свили себе гнездо две ;ольшие, серые, хищные птицы, самка и самец.

Самец. «Зимами он жил, чтобы есть, чтобы не умереть. Зимы были хоодны и страшны. Веснами же он родил. И тогда по жилам его текла горяая кровь, было тихо, светило солнце, и горели звезды, и ему все время хоелось потянуться, закрыть глаза, бить крыльями воздух и ухать беспричинно и радостно». («Былье». Рассказы. «Над оврагом»).

Самка сидела в гнезде, отдавалась самцу, родила детей и тогда станоилась «заботливой, нахохленной и сварливой».

Так прожили они тринадцать лет. Потом самец умер. Пришла старость, овый, молодой самец овладел самкой. Старый был побежден в бою.

Жизнь человеческая—такая же. Сущность ее—в зверином, в древних нстинктах, в ощущениях голода, в потребности любви и рождения.

В рассказе «Год их жизни» в лесу живут трое: охотник Демид, жена о Марина и медведь Макар. Живут в одном доме. Демид похож на медведя, двежья сила, медвежьи ухватки, от него пахнет тайгой. «Они, человек и ерь, понимают друг друга». Такая же и Марина. Когда рожала она перго ребенка, медведь подошел к кровати и «особенно, понимающе и строго отрел добродушно-сумрачными своими глазами». У них—общая родина—хая тайга, весны, зимы, зори, росы, общая жизнь, крепкая, лесная, груя свободная, одинокая, непосредственная, с глазу на глаз с небом, землей лесом.

*) Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Ник. Никитин, А. Яковлев и др.

Деревня. Русь перелесков, овинов, полей, мужиков и баб.

«Жили с рожью,—с лошадью, с коровой, с овцами,—с лесом и травами. Знали: как рожь, упав семенами в землю, родит новые семена и многие, так и скотина, и птица родит, и рождаясь снова родит, чтобы в рождении умереть,—знали,—что таков же удел и людской: родить и в рождении смерть утолить, как рожь, как волчашник, как лошадь, как свиньи,—все одинаково» («Проселки»).

Из романа «Голый год»: «Бабы домолачивали на гумнах, и девки после летней страды, перед свадьбами огуливаясь, не уходили вечерами с гумен, ночевали в овинах... орали до петухов ядреные свои сборные, с т а л о б ы т ь (наша разбивка. А. В.) и парни, что днем ходили пилить дрова, вечерами тискались у овинов».

К этой звериной, из века данной жизни тянется человек, о ней он тоскует как о потерянном рае—и грехопадения и недовольство, и нестроения его начинаются с момента, когда силой вещей и обстоятельств он почему-либо отрывается от этой жизни.

Крестьянин Иван Колотуров, председатель совета, поселяется в княжеском реквизированном доме. И тут «вдруг очень жалко стало самого себя и бабу, захотелось домой на печь». В рассказе «Наследники» в старинном дворянском доме Ростовых живут последыши ростовского рода. Живут скучно, сиро, злобно, ненужно, мелко,—потому, что пришла революция и поставила их вне жизни, вырвала их с корнями и вот засыхают, гниют, валяются, как старые бумажки, выброшенные за ненадобностью.

Интеллигентка Ирина знает, что гуманизм—сказки, что настоящее—это борьба за жизнь, тело, инстинкты, и она бросает свою среду с умными разговорами о Дарвине, о принципах,—уходит в степь к сектантам, становится женой ушкуйника—повольника, конокрада Марка—и начинает жить мужицкой жизнью. Руки ее покрываются мозолями, научается она петь и повязываться по-бабьи, ей некогда «размышлять», она становится рабой мужа и именно поэтому так счастлива и радостна.

Пильняк—писатель «физиологический». Люди у него похожи на зверей, звери как люди. И для тех и других часто одни и те же краски, слова, образы, подход. Оттого Пильняк с таким знанием и мастерством рассказывает о волках, медведях, филинах.

Пильняк очень чуток к природе. Он любит, знает ее. Умеет подмечать оттенки, характерные мелочи, не бросающиеся обычно в глаза. Для леса, неба, зимы и осени, метелей у него много слов и сравнений. «Бабьим летом, когда черствеющая земля пахнет, как спирт, едет над полями Добрыня-Златопояс-Никитич—днем блестят его латы киноварью осин, золотом берез, синью небесной (синью—крепкой, как спирт), а ночью потускнели латы его, как вороненая сталь, поржавевшая лесами, посеревшая туманами и все же черствая, четкая, гулкая первыми льдинками, блестящая звездами спаск». «Весна, лето, осень, зима в человеческом сознании приходят как-то сразу» и т. д.

Пильняк тянется к природе как к праматери, к первообразу звериной правды жизни. И природа у него звериная, буйная, жестокая, безжалостная, древняя, исконная, почти всегда лишенная мягких, ласковых тонов. «Зима. Декабрь. Святки. Делянки. Деревья. Закутанные инеем и снегом, взблескивают синими алмазами. В сумерках кричит последний снегирь, костяной трещеткой трещит сорока. И т и ш и н а. Свалены огромные сосны... Ползет ночь... Кругом стоят скрытые от можжевельника и у г р ю м ы е елки, сцепившиеся, спутавшиеся тонкими своими прутьями. Ровно и ж у т к о набегает лесной шум. Желтые поленницы б е з м о л в н ы. Месяц, как уголь, поднимается над дальним концом делянки. И ночь. Н е б о н и з к о, м е с я ц к р а с е н... Гудит ветер, и кажется, что это шумят ржавые засовы... И тогда на дальнем конце делянки, в ежах сосен, в лунном свете з а в ы л в о л к и в о л к и и г р а ю т з в е р и н ы е с в о и с в я т к и... (разбивка наша. А. В.). («Голый Год»). Или: «ночь шла черная, черствая, осенняя; шла над пустой, холодной, дикой степью». (Былье. «Именье Балконское»). Тут нелеп гудок автомобильного рожка и ровный шум пропеллера, заставляющий к небу поднимать глаза. «Небо низко, месяц красен... завыл волк»... Так было, когда складывалось «Слово о полку Игореве». Так и осталась Русь лесной нежити, леших, домовых, русалок, водяных, волков, медведей, наговоров. Не жизнь, а биология. И показывать эту жизнь должен человек большого роста, с размашистыми движениями и лесными, немного дремучими, как у медведя, глазами. И нужно много еще потрудиться и многое испытать и перенесть новым людям в кожаных куртках, чтобы в лесах, где шуркают лешие, были проложены железные дороги и природа сменила свой дикий, доисторический лик на более современный,—чтобы народ этой Руси перестал верить в наговоры, петь «ядреные сборные» и свадебные песни, в которых—мохнатая древность, лесная глушь, дикое поле,—чтобы вместо сказок о коврах-самолетах, где все «по щучьему велению» делается, поверил бы он—народ этот—в фантазмы завоевания неба и земли стальными машинами, в фантазмы, завтра воплощающиеся в жизнь, чтобы создал новую сказку о стальных волшебниках—чудодеях, покорных человеку,—научился бы мечтать не о таинственном граде Китеже, а о преображениях жизни упорным, плодотворным трудом, путем преодоления стихий, дерзкого проникновения в их тайны.

В сущности и природа, и эта звериная жизнь у Пильняка скорбны. Недаром арабский учитель, Ибн-Саиф, говорит об этой древней жизни: «скорбь, скорбь»! («Тысяча лет»). В рассказе «Смертельное манит» мать говорит дочери: «смертельное манит, манит полая вода к себе, манит земля к себе, с высоты, с церковной колокольни, манит под поезд и с поезда, манит кровь». Это лежит «в природе вещей», в существе жизни. Такой же скорбью, идущей от самого существа жизни, от корней ее обвеяны страницы «Голого года», где дана смерть старика Архипова. То же в «Простых рассказах». Вообще этот мотив у Пильняка не случайный. Есть некоторая приглушенность и горечь во всех его вещах, в стиле, в писательской манере. Пильняк двойствен в своих настроениях. Наряду с бодрым, свежим, задорным—то и дело

выглядывает иное: горькое, тоскливое. И кто знает, какое настроение возьмет в художнике в конце концов верх! Пока только следует отметить, что русская революция сказывается на его вещах благотворно. И в ней единственное спасение для современного писателя. Иначе: скорбь, мистика, уныние, слякоть, безвольная романтика.

В тесной связи с «физиологией» и «биологией» у Пильняка находится любовь, женщина. Женщине и любви Пильняк уделяет очень много места, до чрезмерности. И здесь исключительно почти выступает физиологическая сторона. Есть у Пильняка в этом много сходного с Арцыбашевым; нет, пожалуй, в отличие от Арцыбашева смакования сладострастного: более просто, по деревенски. Но иногда рассказы его о любви граничат с явной патологией. Чекистка Ксения Ордынина говорит:

«Я думала, Карл Маркс сделал ошибку. Он учел только голод физический. Он не учел другого двигателя мира: любви... пол, семья, род,—человечество не ошибалось, обоготворяя пол... Я иногда до боли физической реально начинаю чувствовать, осязаю, как весь мир, вся культура, все человечество, все вещи, стулья, кресла, комоды, платья, пронизаны полом.—нет,—не точно, пронизаны половыми органами; даже не род, нация, государство, а вот носовой платок, хлеб, ремень... и я чувствую, что вся революция—вся революция—пахнет половыми органами» («Иван-да-Марья»).

Карл Маркс приплетен тут ни к селу, ни к городу. Маркс и не ставил никчемного для него вопроса о том, какую роль играют в истории голод и любовь. Но не в Марксе дело. Кому и для чего нужна вся эта патология? Получается не то Розановская мистика пола, не то превращение мира в дом терпимости. Хуже же всего то, что произведения, благодаря такому «символу веры», перегружаются изнасилованиями, половыми актами, а женщины у Пильняка, за некоторыми исключениями, все на один лад скроены. Вполне понятно,—если к ним подходить с «социологией» Ксении Ордыниной и видеть в них рабу, мать, и любовницу, а не женщину с ее женственно-человечным. Оттого, например, в повести «Иван-да-Марья» есть какой-то неприятный привкус. У читателя рождается холодок, что-то враждебное и неприятное, несмотря на ряд превосходнейших мест (уездный с'езд советов и т. д.).

В разных статьях и по разному поводу нам неоднократно приходилось отмечать тяготение современных писателей, художников, поэтов, публицистов к первобытному, к упрощенной, не усложненной жизни. У Пильняка этот мотив лежит в основе его художественных писаний, выражен сильней и ярче, чем у других. Здесь—отправная, исходная точка, ключ к его художественной деятельности. Разочарование в ценностях современной буржуазной культуры, сознание ее тупика; тупик, в который зашла наша художественная жизнь за последние десять-пятнадцать лет со всей своей издерганностью (эгоцентризмом, психологизмом, андреевщиной и достоевщиной и одновременно внутренней опустошенностью); чувство дисгармонии и тоска по выпрямленной, «правильной» жизни; усталость ото всех этих психологических утонченностей и усложненностей;

русская революция, вскрывшая недра стихийных сил, выбросившая на арену истории мужика, рабочего, людей из тайги, из лесов, степей, с их здоровым, свежим, нутряным отношением к окружающему; война и революция, показавшие современному интеллигентному человеку значение вещи, как таковой и ценность жизни в ее простом, грубом, примитивном; наконец, усталость от бурных дней революции—вот чем питаются эти современные настроения. У одних из художников преобладают мотивы актуального порядка (В. Иванов, Илья Эренбург, Маяковский), других приводит это к возведению «в перл создания» обывательщины (А. Белый, отчасти Замятин). Как, по какой линии идут эти умонастроения у Пильняка—увидим дальше и прежде всего из его отношения к русской революции.

## II.

Русскую октябрьскую революцию Пильняк принял прежде всего не как порыв в стальное будущее, а по бунтарскому. Искал и нашел в ней звериный, доисторический лик. Это совершенно гармонирует с биологичностью его отношения к жизни. Октябрь хорош тем, что обращен к прошлому. Революция освободила народ от царя, попов, чиновников, от ненужной интеллигенции, и вот Русь «ушла в XVII-й век». В рассказе о Петре и Петр I, и его детище—Петербург—изображены как злое навождение, ненужная издевка над Россией, как нечто, глубоко противное ей, наносное. Вся деятельность Петра представлена сплошным дебошем, озорством, насилием над «физиологией народной жизни». Петр I—гениальный игрок, маниак, не знавший никогда подлинной России, всегда пьяный сифилитик, деспот, убийца, человек с идеалами казармы. Такова и его реформаторская деятельность, дикая, необузданная, бессмысленная и насквозь чуждая народу. И в то время, как Петр сгонял «людишек» на топкие болота и заставлял их, как илотов, работать над возведением нового «парадиза», «старая, канонная, умная Русь, с ее укладом, былинами, песнями, монастырями, казалось, замыкалась, пряталась,—затаилась на два столетия». От Петра пошли города, Запад, интеллигенция, ненужная, оторванная от жизни народной, церковь, как придаток к самодержавию, деспотизм «самовластительных злодеев», все это налегло, придушило народ, вампирствовало, извращало и искажало избяную Русь. Русская революция освободила ее от этого кошмара, от этой наносности, сора и цивилизаторского мусора. Из Петербурга октябрь увел Россию в Москву. Революцию делал народ, вылезший из изб, деревень, лесов, от полей диких и аржаных, черная кость, мужик. И никакого Интернационала нет, а есть народная, национальная, чисто русская революция, в которой народ в первую очередь сосчитался со всем наносным, ненужным, с помещиком, с интеллигенцией, с деспотизмом, «Чай—вон, кофий—вон! Брага. Попы избранные. Верь во что хошь, хоть в чурбан». («У Николы, что на Белых Колодезях»).

К теме о национальном характере русской революции Пильняк возвра-

щается постоянно. В романе «Голый год» Глеб преподносит целую историософию,—в которой нетрудно увидеть излюбленные взгляды автора.

«Была русская народная живопись, архитектура, музыка, сказание Иулиании Лазаревой. Пришел Петр,—и невероятной глыбой стал Ломоносов с одой о стекле, и исчезло подлинно-народное искусство... В России не было радости, а теперь она есть... Интеллигенция русская не пошла за октябрем. И не могла пойти. С Петра повисла над Россией Европа, а внизу, под конем на дыбах, жил наш народ, как тысячу лет, а интеллигенция—верные дети Петра. Говорят, что родоначальник русской интеллигенции Радищев. Неправда—Петр. С Радищева интеллигенция стала каяться...

И Глебу (в этом) вторит «попик»:

«Когда пришла власть, забунтовали, засектантствовали, побежали на Дон, на Украйну, на Яик,—а оттуда пошли в бунтах на Москву. И теперь дошли до Москвы, власть свою взяли, государство свое строить начали,—и выстроют, так выстроют, чтобы друг другу не мешать, не стеснять, как грибы в лесу... А православное христианство вместе с царями пришло, с чужой властью... Ну-ка сыщи, чтобы в сказках про православие было? — лешие, ведьмы, водяные, никак не Господь Саваоф... А теперь пришла мужицкая власть, православие поставлено как любая секта... Жило православие тысячу лет, а погибнет, погибнет лет в двадцать, вчистую, как попы перемрут. И пойдет по России Егорий гулять, водяные, да ведьмы, либо Лев Толстой, а то, гляди, и Дарвин... (Голый год. «Две беседы»).

Даже Маркс Пильняку кажется похожим на водяного.

Мужики в освещении Пильняка за революцию потому, что она освободила их от городов, буржуев, чугунки; что вернула она Русь старую, допетровскую, настоящую, мужицкую, былинную, сказочную.

Чугунка нужна господам, чтобы ездить по начальству, либо в гости. Мужику она не нужна. Мужик за советы, за большевиков, но против коммунистов, против города. «У нас Петербург давно прикончен. Жили без него и проживем, сударь». (Донат). ...«Советская власть — городам, значит, крышка... мы сами, к примеру, без буржуев, значит»... (Никон Борисович). ...«Говорю на собрании: нет никакого интернационала, а есть народная русская революция, бунт и больше ничего. По образцу Степана Тимофеевича». «А Карла Марксов?» спрашивают.—Немец, говорю, а стало быть дурак. «А Ленин?»—Ленин, говорю, из мужиков, большевик, а вы, должно, коммунесты...» (Дед Егорки).

В «историософии» Б. Пильняка, таким образом, мирно уживаются: мужицкий анархизм, большевизм 18-го года и своеобразное революционное славянофильство, и народничество. Слабая сторона этой «историософии» легко обнаруживается, как только мы обратимся к перво-истокам, ее питающим. Прежде всего явственно звучит разочарование в западно-европейской буржуазной культуре:

«Я много был за границей, и мне было сиротливо там. Люди в котелках, сюртуки, смокинги, фраки, трамваи, автобусы, метро, небоскребы, лоск,

блеск, отели со всяческими удобствами, с ресторанами, барами, ваннами, с тончайшим бельем,—с ночной женской прислугой, которая приходит совершенно открыто удовлетворять неестественные мужские потребности,—и какое социальное неравенство, какое мещанство нравов и правил! И каждый рабочий мечтает об акциях, и крестьянин. И все мертво, сплошная механика, техника, комфортабельность. Путь к европейской культуре шел к войне... Механическая культура забыла о культуре духа, духовной... Европейская культура—путь в тупик».

Это говорит Глеб («Голый год»), но в контексте иных художественных вещей Б. Пильняка совершенно очевидно, что устами Глеба говорит сам автор.

Европейская буржуазная культура зашла в тупик. Это так. Она—сплошная механика. В значительной мере верно. Но были лучшие времена: Кант, Гегель, Маркс, Шиллер, Гете, Ибсен—нужно ли перечислять имена всех, обогативших сокровищницы именно человеческого духа! Да и сейчас можно ли сказать, что «все мертво»? Буржуазная культура на Западе обладает еще большой силой сопротивляемости и в области духовной она еще продолжает бороться за свое господство. Культура Запада «на закате», она обречена, но и в области техники, и в области духа есть огромное наследство, которое нужно воспринять новому миру, а утверждения, что «все мертво», совсем не идут по линии этой преемственности. Да и победить эту культуру можно только ее оружием: сталью и бетоном. Европейское искусство падает стремительно. Но все-таки... Уэльс мечтает о стальных волшебниках, о преображении миров умом человеческим, а у нас еще бредят лешаками, русалками, лесной нежитью.

Дальше. Почему от механичности западно-европейской культуры делается этот скачок в такое глубокое прошлое, в допетровскую Русь, а не в лицо будущему смотрит автор? «Там»—сплошная механика, а здесь богатство духа? Где, в чем? Песни, былины, сказки? Но, ведь, это уже не действенное, отжившее. Действенное, живое—в мечтах, преображающих мир, завоевывающих небо, земные недра, океаны. Поэзия и правда крестьянского труда, правда непосредственной жизни? Но она показана Пильняком в конце романа опять-таки с точки зрения обычаев, наговоров, любви в овинах. А тиф, голод, а вши, а покорная пассивность, а эта эпическая деловитая закупка гробов? А эта «скорбь, скорбь, разлитая повсюду в «тысячелетней» исконной жизни»? Все тут—сплошной тупик. Никаким богатством духа тут и не пахнет. «Пусть в России перестанут ходить поезда,—разве нет красоты в лучине, голоде, болестях» (Андрей). Конечно, нет. Какая красота, когда человек извивается как червь, как последняя «дрожащая тварь»!

Властью человека над природой измеряется поступательное движение человеческого духа и, если «сплошная механика» сейчас гасит его,—ключ—в социальном неравенстве, в упадке и в распаде строя, основанного на господстве человека над человеком, а не в том, что техника, как таковая, вытравила все духовное. Неумение отделить семена от плевел явствует из положения: «каждый рабочий мечтает об акциях». Из чего это вытекает, какие

факты могут это подтвердить? В массе своей рабочий на западе был лишен возможности мечтать об акциях, ибо для массы подобные мечтания были пустопорожними и бессмысленными. Об акциях могли мечтать только отдельные тонкие прослойки рабочих. И уж во всяком случае говорить об этом после войны 1914 года совсем не приходится. С Пильняком случилось то, что теперь нередко случается с чуткими интеллигентными людьми. Западная буржуазная культура разлагается и отталкивает от себя. Это видят многие, не имеющие отношения к непосредственной классовой борьбе, ни к коммунизму. Неумение найти выход, сторожкое отношение к политике, к борьбе рабочих за новое, заставляет этих чутких и искренних людей—искать выхода из тупика в прошлом, в странных компромиссах (Уэльс и др.).

Естественно далее, что Пильняк утверждает, что «нет никакого интернационала» и что наша октябрьская революция национальна. В самом деле, какой может быть интернационал, если там, на западе «каждый рабочий мечтает об акциях»? Впрочем, национальный характер русской революции утверждается, главным образом из того, что она вскрыла и освободила от всего постороннего старую избяную, конюшную Русь. Это только отчасти и только по виду соответствует тому, что было. Была—анархо-махновская борьба, при чем анархо-махновцы повторяли почти буквально, что им чугунка не нужна, что не нужны им заводы, почта, города, буржуи и пр. Были такие же движения в Сибири и в других местах. Было, что деревня замыкалась, уходила в себя, отгораживалась враждебно от города, видела во всем городском беду для себя. Такое русло было. Оно питалось косностью, аполитизмом, отсталостью деревни; сказывались тут результаты союзной политики, сознательно стремившейся изолировать деревню от города,—ошибки Советской власти и всяческие нелепости, коих было очень много—а в целом это движение возглавлялось и питалось кулацкими, хозяйственными элементами деревни. Наконец, «в XVII-й век» русская деревня ушла из-за голода, мора, бестоварья, разрухи, болезней. Как художник-бытописатель Пильняк схватил верно существенные черты крестьянских настроений, но он делает несомненную ошибку, обобщая указанные черты и выводя отсюда своеобразную «историософию». В общем это были центробежные, а не центростремительные силы русской революции, и ими деревенские настроения не исчерпывались. Если Красную армию коммунистической партии удавалось подчинить дисциплине и своей идейной гегемонии, то происходило это в первую голову потому, что коммунисты, несмотря на разнообразные трудности, находили общий язык с молодой новой деревней, с ее наиболее передовой частью. Насколько ограничительное значение имели в русской революции настроения Кононовых, видно, между прочим, из того, чем становится деревня теперь. Едва ли бытописателю современной деревни придется сейчас серьезно считаться с идеологией Кононова, деда Егорки, в том виде, в каком они исповедуются Пильняком. Все это — далекое прошлое. В деревне—американизм, новая буржуазия и беднота, жажда знания, паровых плугов в деревне—многие другие сложные процессы. Все это бесконечно далеко от взглядов—

город и чугунка нам ни к чему. И не преподносит ли нам Б. Пильняк, сам не зная того, под видом патриархальной, избяной, кононной, допетровской Руси с ее сказками и наговорами—в сущности эту новую американизированную, жадную, рваческую, богатеющую деревню, обряженную им в старые кокошники, сарафаны, поющую старые былинные песни и справляющую истово старые обряды? Бывает это в истории, когда в старое любит рядиться новое и в старые мехи вливается новое вино. Очень подозрительна семья сектанта-конокрада Доната и Марка. Тут и вольница, и степь, и обряды, и простота дикой жизни, и в то же время хитрость и своекорыстие. «Себе на уме» семейка. Или: «ну, а вера будет мужичья» («Голый год»). Какая? В этом все дело.

Пильняк писатель не отстоявшийся и сложный. К старому, допетровскому тянется Пильняк и тянет читателя еще в силу ярко пробудившегося национального чувства. Этот революционный национализм, национал-большевизм в вещах Пильняка выявлен как ни у кого из современных писателей и поэтов, работающих в Советской России. Явление широкое, глубокое и действительно связанное с тягой к старине, с пробудившейся любовью к нему.

Закордонные писатели из белого лагеря стремятся доказать, что это вода на их мельницу. Глубокое заблуждение. Вещи Пильняка очень отчетливо выявляют основные мотивы этого настроения. Тут не тоска по старой России, ее укладу, иконам, храмам и т. д. Об этом и речи нет у Пильняка. Это мы докажем ниже. Русь старая сгинула, распалась, и пахнуло Русью новой, настоящей, Русью рабочего и мужика. Впервые почувствовала себя эта Русь, осознала как великую свободную силу, хозяином увидела себя. Пришибленный, веками увечимый раб с октябрем встал в рост, человеком—и отсюда его гордость, его национальное сознание, его патриотизм и связанная с ним любовь к историческому, поскольку он в этой истории проявлял себя в качестве самостоятельной силы. Новой настоящей Русью пахнуло. В этом освещении «историософия» Б. Пильняка теряет свою славянофильскую окраску, получает некое символическое, фигуральное выражение, отражая то, что есть в молодой республике советов, что обще не только людям склада Пильняка, но и нам, ибо «мы с октября тоже оборонцы».

Повторяем, однако, что к этому мотиву нельзя свести «историософию» Пильняка. В ней есть, действительно, черты славянофильства, идущего от сознания «заката» Запада и неумения найти иного выхода; и от своеобразной, однобокой художественной переработки деревенских настроений во время революций анархо-махновского порядка.

У Пильняка нет цельности, он часто как бы расщепляется, он еще не нашел точки опоры, оттого его мысли и образы сталкиваются, не согласуются и даже противоречат друг другу. И если мы затеяли здесь с ним политический спор, то потому прежде всего, что он имеет существенное отноше-

ние к Пильняку как к художнику, самому талантливому бытописателю революции, ибо отсутствие цельности очень заметно отражается на его вещах. К этому мы переходим.

III.

Лучшим и несомненно пока самым значительным произведением Б. Пильняка (из напечатанного) является недавно вышедший из печати роман «Голый год». В сущности это не роман. В нем и в помине нет единства построения, фабулы и прочего, что обычно требует читатель, беря в руки роман. Широкими мазками набросаны картины провинциальной жизни 19-го года. Лица связаны не фабулой, а общим стилем, духом пережитых дней. Получается впечатление, что автор не может сосредоточиться на одном, выбрать отдельную сторону взбаломученной действительности. Его приковывает к себе она вся, вся ее новая сложность. И, может быть, так и нужно. Революция перевернула весь уклад целиком, все поставила вверх ногами, и художник прав, когда он стремится захватить как можно шире, дать цельную, полную картину сдвига и катастрофы.

Город Б. Пильняка—наша окуровская, чеховская провинция в условиях новой советской действительности. Ее былой — дореволюционный, сонный, нелепый, застойный быт мастерски очерчен автором. Революция испепелила здесь одних, выхолостав из них последние остатки жизни, выбросила за борт,—и произвела полный хаос в головах других аборигенов-обывателей. Князь Ордынин всю свою жизнь развратничал, а с первых дней революции из пьяницы сделался аскетом и мистиком. Купец Ратчин приходит каждый день к месту, где была торговля, и так сидит, иссохший как мумия, целый день до вечера и т. д. «Потеряла закон» городская интеллигенция. Егор Ордынин пьет и развратничает: «когда потеряешь закон, хочешь фиглярничать. Хочешь издеваться над собой... Нет закона у меня. Но не могу правду забыть. Не могу через себя перейти. Все погибло. А какая правда пришла!»... Брат его Борис тоже «закон потерял». Изнасиловал прислугу-Марфутку, но это ему кажется пустяками: «Я бо̀льшую мерзость сделал с самим собой! Понимаешь—святое потерял! Мы все потеряли»... И дальше поясняет, в чем заключалось это святое: «Я тогда (до революции. А. В.) думал, что я—центр, от которого расходятся радиусы, что я—все. Потом я узнал, что в жизни нет никаких радиусов и центров, что вообще революция и все лишь пешки в лапах жизни»...

Замечательно верно схвачена суть внутреннего интеллигентского краха. Думали, что «я—все», «центры», а на поверку вышло—есть «вообще революция» и все в лапах жизни. Об этих центрах, об этих павлинах, распускающих хвосты, много было написано томов, исследований, поэз, повестей, изысков и пр., и пр., пока не пришел новый хозяин и не вымел всю эту шваль в мусорную яму.

Глеб Ордынин—юноша—мучительно колеблется, ищет ответов, чистоты и правды, ему претит кровь, насилие, не знает, что делать с собой. Сестры:

кокаинистки, выродки и только одна Наталья—при деле, но она с коммунистами—о них после.

Когда читаешь главу о доме Ордыниных, невольно думаешь: «дать бы эту темку обсосать зарубежникам нашим: сколько бы было пролито слез, стенаний, негодования благородного по поводу «этих, распявших родину» и т. д.,—сколько бы осенних скрипок прорыдало! Высказано отменного патриотизма, психологических «изысков» насчет «центров», рядом с воспоминаниями о барах и ресторациях!..

А у автора романа — скупость, холодок, протокольность, подход со стороны, ибо это—чужое, прошлое, отошедшее, ненужное, увядшее.

Так же «потеряли закон» и такие интеллигентные обыватели, как приспособляющийся, трусливо и подло хихикающий в кулак Сергей Сергеич. Разумеется, он желчно выкрикивает: «известное дело—хамодержавие, голод, разбой... Свинина семьдесят пять»... Разумеется, он кричит о погибшей России и варит себе кофе, «притворив поплотнее дверь» и доставая «из потаенного места кусочек сахара и кусочек сыра». И уж всенепременно он служит в одном из советских учреждений, где аккуратно пишет в «Ведомостях», что операций за истекший месяц не происходило и вкладов не поступало.

Сбиты с толку и окончательно потеряли духовное равновесие провинциальные умственники из разряда тех, кто раньше любил до всего «своим умом доходить». Известно, что таких окуровцев и растеряевцев в нашей провинции было не мало. Семен Матвеев Зилотов. У нго война, революция, масонство, Запад, Россия, старые книги взбаломутили ум и вот теория: «Надо Россию скрестить с Западом, смешать кровь, должен притти человек—через 20 лет». Спасет пентаграмма—красноармейская звезда. «Бога попрать. Черт, а не Бог». Практически: нужный человек подыскивается в лице Лайтиса, начальника охраны. Он должен скреститься в монастыре с девственницей Оленькой Кунц. От них должно притти спасение миру. Об этом вычитано в старых масонских книгах и дан «знак». Кончается все так. Лайтис получил, что требуется, Оленька Кунц совсем не девственница, но бедный Зилотов, потерпевший крушение замыслов, погибает в пожаре.

Помимо быта тут еще—злая ирония над нашим русопятским мистицизмом. Мистические теории о «скрещении» России и Запада, как известно, теперь довольно в ходу и очень иногда напоминают бред иссушенных и из'еденных старыми книгами мозгов Матвея Зилотова (Евразийство, Шпенглерианство и пр.).

Другой провинциальный «философ», сбитый с толку окружающим дьяконом, засел в баню, не выходит из нее и ищет настоящего слова, чтобы «мир составить иначе». В частности, его очень интересует вопрос, когда начали корову доить и как это было и почему начали. Гипотезы, сомнения и вопросы неожиданно разрешает некто Драубе, уверив дьякона, что корову начали доить впервые парни от озорства. Дьякон ошеломлен. «Стало быть,

и весь мир от озорства»... Дьякон решает... записаться в коммунистическую партию и служить ей верой и правдой. («Мятель»).

Потеряла стержень и коммуна анархистов, устроившаяся в провинции. Она гибнет из-за денежных передрязг.

Новой Русью пахнуло. Вопреки уверениям относительно устойчивости психического быта, в романе и других вещах Пильняка русская революция все поставила вверх дном. Его провинция глубоко чувствует, что старое ушло. У Пильняка почти все главные персонажи говорят о том, как «мир поставить иначе»: архиепископ Сильвестр, дьякон, Матвей Зилотов, правду нового мира и революции ощущают: Глеб, Борис, Егор, Андрей, Драбе, мужики, парни, старики. Они не творят ее активно, но пришествие ее каждый по своему пережил и перечувствовал.

Творят новую жизнь другие. Кожаные куртки. Большевики.

«В доме Ордыниных, в Исполкоме собирались наверху люди в кожаных куртках, большевики. Эти вот, в кожаных куртках, каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцом под фуражкой на затылок, у каждого крепко обтянуты скулы, складки у губ, движения у каждого утюжны. Из русской рыхлой народности—отбор. В кожаных куртках—не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставим—и баста».

Архип Архипов—председатель Исполкома. «Днем сидел в Исполкоме, бумаги писал, потом мотался по городу и заводу»... «Русское слово могут—выговаривал магуть»... «перо держал топором»... просыпался с зарей и от всех потихоньку книги зубрил: алгебру Киселева... «Капитал» Маркса, финансовую науку Озерова...

Пильняк рассказывает дальше, как пустили завод, который нельзя было пустить: разгромлен был во время войны с белыми, «ибо нет такого, чего нельзя сделать,—ибо нельзя не сделать».

«Энегрично фукцировать». Вот что такое большевики.

Энегрично фукцирует: Архип Архипов, рабочий Лукич, Донат, Наталья. Наталья Ордынина говорит брату:

— Все, кто жив, должно итти.

— Куда итти?

— В революцию. Эти дни не вернутся еще раз... без хлеба и мастерового умрешь ты, умрут все теории. А хлеб дают мужики. Пусть мужики и мастеровые сами распорядятся своими ценностями.

Это «энегрично фукцировать» у большевиков на фоне разложившегося старого уклада Б. Пильняк отмечает всюду:

— Гей, товарищ Борис, отпирайте.

Это пришли коммунисты... Товарищ Елена кричала в мятели:

— Мятель. Мы гуляем. Разве можно уснуть такой ночью! Мятель.

В дом, со снегом, с мятелью, с морозом ввалились военные люди. Дом—старый хрыч—зашумел, загудел, зазвенел в этажерке посудой...

— Товарищ Борис, милый философ: над землей мятель, над землей

свобода, над землей революция! Как же можно спать?! Как хорошо! Как хорошо! Это товарищ Елена!» («Мятель»).

Мне не большевику,—говорит о себе автор,—вообще легче вести кампанию с большевиками: у них есть бодрость и радостность» («Три брата»).

Перс, член Ц. К. Иранской Комм. Партии весь напоен новой правдой. «Нищая, раздетая, голодная прекрасная Россия стала против всего мира и всему земному шару... несет ослепительную правду... Моря и вулканы переместились»... И точно подчеркивая силу этих слов серой, тусклой обывательщиной, некий инженер отвечает ему: «у меня башмак прорвался и хочется за границей посидеть в ресторане»... («Иван-да-Марья»).

«Совнарком—что-то крепкое, ночное, совиное... Московский кремль—сед во мхах. На Спасских воротах бьют часы.

«— Кто-там-за-спал-на-спас-башне...

«И вся Москва в дыму, ибо кругом горят леса—это стою там, где стоял Грозный,—я писатель,—и рядом со мной стоит человек, писатель и большевик. Автомобиль, уставший стоять, весь день кроил Москву, но человек устал, и вот он стоит в нижней рубашке, с расстегнутым воротом, сутулясь. Над Москвой, над Россией, над миром—ре-во-лю-ция! Какой черт, вопреки черта и Бога, махнул Земным шаром в межпланетную Этну? Что такое мистика?—Если зондом хирурга покопошить в язве спаса-на-кладбище в Рязани и Богоматери Ярн,—что такое мистика?! Голодом и вошью к прекрасной радости—махнуть в межпланетную Этну?! Мхи на каменной груди бабы!.. Встать в рост бабе с з о н д о м х и р у р г а, — а ведь этим бабам молились вотичи» («Рязань-Яблоко»).

С зондом хирурга против мистики—такие мысли приходят автору в совином, крепком Совнаркоме-Кремле!

Борис Пильняк знает, что есть и «товарищи Лайтисы», и военкомы, издевающиеся зря над обывателями («Рязань-Яблоко»), и есть страшное в нашем быту. Оголено до натурализма темное, кошмарное повествование о «Раз'езде Мар» и «смешанном поезде № 58» с голодными мешечниками, откупающимися от продотрядов партией баб покрасивее на потребу продотрядников. Горькие, тяжелые страницы, написанные с исключительной художественной силой. Но не в этом, как говорится, суть. Главное в этих, кто «энергично фукцирует», для кого нет слова нельзя, у кого—бодрость и радостность, в ком есть совиное, крепкое, ночное. О т н и х п а х н у л о н о в о й Р у с ь ю, они навсегда покончили с чеховской, окуровской, растеряевской Русью Ратчиных, Ордынина, Глебов, Борисов, Зилотовых, Сергей Сергеевичей. И потому так легко бросается автором по адресу всех этих граждан—«и чорт с вами со всеми,—слышите ли вы—лимонад кислосладкий»,—а в серых скучных, мерзлых провинциальных буднях Пильняк ощущает, что революция продолжается: «день белый, день будничный. Утро пришло в тот день синим снегом. Скучно. Советский рабочий день. А ока-

зывается: этот скучный рабочий день и есть—подлинная—революция. Революция продолжается» («Мятель»).

От романа Пильняка и других вещей остается привкус горечи, полыни, но этот запах крепок, бодрящ, «сказочен». Это привносится людьми в кожаных куртках.

Б. А. Пильняк художник—молодой, не отстоявшийся. Многое у него не согласуется, лезет куда-то в сторону, мысли и образы невозможно свести к одному целостному мироощущению. В среде «потерявших закон», в людской исторической пыли «кожаные куртки» выглядят особливо свежо, по-новому, бодро, нужно и жизненно. И уж совсем странными кажутся эти новые люди, железные и радостные, как бы слетевшие с другой планеты в старую. тихую, бездеятельную Русскую Азию,—рядом с избяной, допетровской Русью, которую воскрешает Пильняк и величает ее, как провозвестницу новой свободной жизни. Автор в конце романа сделал все—и наговоры, и свадьбы, и девки в овинах с парнями,—чтобы привлечь симпатии читателя к избяной, кононной Руси,—а читатель все-таки смотрит на нее глазами посторонними, и Кононовы остаются людьми времен до-исторических. Тут автор не убеждает, не побеждает, несмотря на все свое мастерство. Кожаные куртки и Русь XVII-го века. Это—из двух эпох. Вместе им не ужиться. Одни «энегрично фукцируют», пуская заводы, которые «нельзя пустить», говорят о тракторах и электрификации, другие живут как птица, как дерево, зоологической в сущности жизнью с лешими, домовыми, наговорами. У Пильняка как-то пока мирно уживаются и любовь к кожаным курткам, и любовь к зоологической Руси. «И пойдут по России Егорий гулять, водяные да ведьмы, либо Лев Толстой, а то, гляди, и Дарвин». Автору еще неясно, кто будет «гулять по Руси». А между тем едва ли можно в этом сомневаться. «Ведьмам» враждебен весь революционный, новый уклад, а с Дарвиным он связан органически. Дарвин уже гуляет по Руси. Недаром Архиповы по ночам втихомолку зубрят его в числе иных прочих. По сути же нет никакой допетровской Руси, она вся выветрилась, сгинула, а есть Русь кожаных курток и бедноты и Русь новой буржуазии городской и деревенской, и между ними вражда и борьба.

Спорить с Пильняком о допетровской Руси—трудно, как с человеком который утверждает, что черное есть белое.

Речь, однако, идет сейчас не столько о теоретической верности той или иной «историософии», сколько о самом художнике, крупнейшем из молодых, с большим дерзанием и самостоятельностью, с несомненными художественными данными,—о художнике, знающем и приявшем новый быт, поставившем задачей своей дать целостную картину революции. Трудности здесь очень большие. Проторенных путей нет; старые образы, типы подновлять, перекрашивать и перелицовывать на новый лад нельзя—этим не пробавишься,—а сколько писательской братии пробавлялось этим «рукомеслом». Приходится поднимать целину, итти своей дорогой. Но кому много дано, с того многое и взыщется. Пильняку дано многое, и требования к нем

должны быть повышенные. Ни в «Голом году», ни в других вещах автора нет внутренней целостности, нет цельной картины ни 19-го года, ни революции, и образ писателя двоится; из разных, причудливо переплетающихся и противоречивых настроений сотканы его вещи. Кожаные куртки, Дарвин—и ведьмы, и Кононовы, мистика пола и злая ирония над мистикой вообще, биология, звериное и тут же поэма о большевиках, которые ведут нещадную борьбу со звериным и сталью хотят оковать землю; XVI-е и XVII-е столетия и век—XX-й, горечь и радостность. Что-то не сведенное к одному мировосприятию, художественно не законченное и недодуманное есть во всем этом. Как будто автор стоит по средине на перекрестке двух дорог: по этой пойдешь—одно потеряешь, по другой—другое. Есть внутренняя несогласованность и дисгармоничность в самом художнике, в нутре его. И не потому ли у него такая тяга к зоологическому, биологическому, непосредственно данному, простому, что хочется, что нужно преодолеть эту раздвоенность? Эрганическое и биологически-простое ищет автор в жизни, с такими запро-:ами подошел он и к русской революции и даже в кожаных куртках поста-)ался найти «утюжное», «пугачевское», «крепкое», «ночное», «совиное». 3 этом он по своему целен, последователен. Но целостной картины рево-юционных дней Пильняк не дал. Нам кажется потому, что помешала эта есогласованность и дисгармоничность в художественном опыте писателя. Іе ясно общее художественное мировоззрение автора. Может быть для 19-го ода было достаточно сказать себе: революция—стихия, бунт, Пугачев и т. д. 'еперь этого явно недостаточно, да и тогда этого было недостаточно. Нужно олее углубленное, органическое проникновение в нашу эпоху, чтобы связать :е в одно, единое. И тут вопросы об интернациональном и национальном, о арвине и Егории, о курной избе и электрификации нужно решать, а не 'алкивать и не сбивать их в одну кучу [1]). Это совсем не безразлично для ынешнего художника и для художественного творчества—иметь или не иеть единое эмоциональное, широкое проникновение в существо, в душу щей революции, иметь или нет одну сердцевину и соответственную теоре-тическую ясность, ибо все это самым жизненным образом отражается на 'дожественных произведениях.

В конце концов: кожаные куртки: Архипов, Наталья, Лукич, Донат, іена и пр. превосходны у Б. Пильняка. Верно и хорошо отмечены свежесть покоряющая бодрость, но ведь это не все. Это только существенные внеш-

---

[1]) Недавно в «Утреннике» № 2 Б. Пильняк, по поводу своего ухода из газеты «Накануне», заявил между прочим: «сам я, должно быть, сменовеховец». Мы думаем, что —ошибка. Никаких вех, как будто, Б. Пильняк не сменял; здесь, однако, уместно ıать одну оговорку. Повидимому, Б. Пильняк за последнее время несколько изме-свое отношение к Интернационалу, усвоив формулу: Интернационал нам нужен Запада (в вещах еще не напечатанных), и это приближает Пильняка в некотором : одной стороной к сменовеховцам: для них Интернационал является орудием для :ижения чисто национальных целей. Противопоставление тоже неправильное от на-ı до конца.

ные признаки. «Энегрично фукцировать»... Но во имя чего, куда, зачем, что дальше внутри у этих людей? В какую даль идут они? Какую роль они играли в русской революции? Что дадут России, что дают? Они ведь живые люди. То же и с деревней. Пильняк искал звериные следы—он любит и знает звериные тропы. Он нашел их в деревне. Но это тоже не все, тут только кусок, часть жизни.

Вопрос о единой сердцевине автора приобретает сейчас решающее значение не только потому, что роль художественного слова в наши дни приобретает в общем водовороте жизни совершенно исключительное значение, но еще и главным образом потому, что мы вступили в полосу настоящей, подлинной переработки и внутреннего осмысливания всего пережитого за последнее пятилетие. Художник, который этого не поймет, быстро окажется позади «духа времени». Место оратора на митинге занимает художник, ученый. И они должны быть трибунами, пророками «с божественным глаголом» на устах.

## IV.

Несколько замечаний о писательской манере Пильняка. Пильняк безусловно свеж, самостоятелен и оригинален. Конечно, не трудно проследить влияние некоторых старых писателей на него: в описании, например, Ордынина-города, сказывается Чехов и Горький, дьякон в «Мятели» напоминает «Соборян», на конструкцию последних вещей повлияли несомненно Андрей Белый и Ремизов. Все это, однако, не существенно: слишком своеобразен и индивидуален автор.

Очень затейлив и оригинален прежде всего стиль. Построение речи отходит от обычных норм. Обороты совершенно неожиданные и непривычные. Старый грамматик должен притти от них в ужас. Речь раскидистая, ухабистая, слова бросаются широким, вольным взмахом, веером, врассыпную, либо ссыпаются разом ворохом. Слово любит Пильняк. Любит его историю, его первоначальный, коренной смысл, его ядро. «Слова мне—как монета нумизмату». И здесь Пильняк верен себе, своему основному художественному методу: искать первичное, девственное, не замутненное позднейшим. Часто грешит автор по части сказуемого и подлежащего. Часто—тире: нужно догадываться, перечитать фразу. Бросается намеком слово, за ним целый круг мыслей. В сущности разговорная, но манерная красочная речь. Печатное слово—слышное: слышишь как выговаривает автор и кому оно принадлежит: громко, размашисто, без системы и внешней связанности и стройности, увесисто бросаются слова, булыжниками. От предложения к предложению—переходы в силу контраста: «третьим интернационалом провода трубили по тракту Рязань. Повозка на двух колесах—беда называется». Много вводных слов, пояснений, вставок. Повторения упорные. При видимой щедрости и размашистости—большая экономия. В предложение втискивается целая система образов, понятий.

Не только глава от главы, но абзац от абзаца обрубается. Стилизованная манера думать,—пишет как думает,—когда человек перебрасывается с одного на другой, особенно характерная для непроизвольного мышления—мысли плывут хаотично, вольно как облака по небу. Мазок в одну сторону, мазок в другую, в третью, десятую, потом в конце еще какими-то штрихами воссоздается целая картина. Иногда Пильняк явно злоупотребляет этой манерой, и читателю приходится преодолевать страницы и связывать усиленно самому. Когда это чрезмерно, как в повести «Иван-да-Марья», это утомляет. В отличие от Серапионовых братьев и большинства молодых писателей, занимательной, интересной фабулы у Пильняка нет, да и вообще фабулы нет. Не рассказы, не повести, не романы, а поэмы в прозе. Мозаика, механическое сцепление глав. Из самостоятельных этюдов составлен роман «Голый год». Такому же леткому расцеплению поддаются и некоторые другие вещи: «Мятель», «Рязань-Яблоко» и пр.

Кстати о «Голом годе» с точки зрения экономии. В романе 142 страницы, не очень большого формата. В эти полтораста страниц втиснуто столько художественно обработанного материала, что свободно хватило бы на столько романов, сколько в «Голом году» глав. Как все это далеко ушло не только от времен «Обрыва» Гончарова, но и от времен более поздних, например, кануна войны и революции? В этом—стиль нашей эпохи. Даже Чехов и Бунин кажутся по сравнению с этой насыщенностью и экономией разжиженными.

В общем все—взбаломученное, шумное, постоянно выходящее из границ, трубное, с восклицаниями, с большим нервным напряжением и концентрацией, как вода морская в лиманах. Пильняк пишет не сердцем, прежде всего, а нервами.

Образы, сравнения не затасканы, свои, свежие, тоже повторяются упорно. Резко индивидуальны и врезываются четко фигуры отдельных персонажей: дьякона, Сергея Сергеича, Зилотова, старика Архипова и других. Очерчены всегда импрессионистски. А вот таких мест следует избегать: Семен Семеныч говорит на собрании анархистов: «Я закрываю собрание, товарищи. Я хочу поделиться с вами другим фактом. Товарищ Андрей женится на тов. Ирине. Я думаю, это разумно. Кто-нибудь имеет сказать что-либо? Никто ничего не сказал...» («Голый год»). Это—фельетонно и досадно выпирает из романа (поэма ведь). Такие места встречаются у Пильняка не редко.

Пильняк писатель, недавно выдвинувшийся, а между тем заметна большая проделанная над собой работа. И у него есть уже не один подражатель. Следы этого влияния все чаще и чаще приходится встречать особенно в среде литературной молодежи—лучшее доказательство, что в лице его мы имеем большого и самостоятельного художника.

Талант Пильняка быстро крепнет. Особенно это заметно по вещам последним, связанным с впечатлениями, полученными от поездки за границу Но они еще не появились в печати, а это лучшее по нашему, из всего, на-

писанного им доселе. И как будто, допетровская Русь убрана куда-то в сторону.

Вообще же очень безалаберный и талантливый человек. Если верно, что у каждого настоящего художника должен быть непременно свой дурак, то у Пильняка их несколько. От некоторых следовало бы освободиться.

Говоря проще и прямей: нужно сказать окончательно и бесповоротно тем, которые говорят о добре и справедливости сухо и зло: «и чорт с вами со всеми,—слышите ли вы, лимонад кислосладкий!»—и примкнуть всецело, от кого Русью новой пахнуло. (Допетровскую Русь — вон романтику, пока—вон, излишества натурализма—вон и т. д.). Почему? Потому, что только здесь слушают «всерьез и надолго», по настоящему, по совести, а не так, как в литературных особняках, с улыбочками деликатными, сдержанными,—тонно, а по сути сухо и зло. Почему? Потому, что—революция, кожаные куртки, большевики. Потому, что «революция продолжается». И потому, что у Пильняка настоящий талант, и потому, что талант и революция сейчас неразрывны. И потому еще, что теперь настоящим большим художником может быть только пророк-художник, художник-водитель, художник-трибун.

## Процесс эс-эров.

**(заметки и впечатления).**

**Нурмин.**

Процесс эс-эров, когда пишутся настоящие строки, еще далек от своего окончания. Тем не менее, уже сейчас представляется вполне возможным сделать некоторые выводы и обобщения.

Что побудило Советскую власть предать группу виднейших эс-эров суду Верховного Рев. Трибунала и уделять процессу столь много внимания? Люди, для которых Советская власть до сих пор является только об'ектом ненависти, травли, борьбы «до победного конца» — и в первую очередь сами эс-эры, — интеллигентская обывательщина, хныкающая, брюзжащая, ноющая, вопиющая, взывающая и глаголющая по поводу и без повода о варварстве, хамстве, комиссародержавии и пр. и пр.,—утверждают, что большевики решили «отомстить», свести счеты с представителями старой народнической интеллигенции путем истребления, казней и т. д. В такой аргументации развертывается, прежде всего, политический уровень тех, кто к подобной аргументации прибегает. Советская власть не руководствуется ни желанием «мстить», ни тем более «истреблять», «убивать» интеллигенцию. Благо революции—вот высший принцип каждого доподлинного революционного правительства. В продолжение гражданской войны Республика Советов доказала, что она очень забывчива к прошлым преступлениям своих врагов, если эта «забывчивость» совпадает с требованиями блага революции. Тысячи людей, вчера боровшихся против пролетарской власти с оружием в руках, благополучно здравствуют поныне и пользуются всеми правами гражданства в пределах Р. С. Ф. С. Р. И это касается не только казаков, крестьян, рабочих, обманутых в свое время контр-революционерами, или тех, кто отряхнул прах прошлого от ног своих и сделался активным строителем Новой России Советов—очень нетрудно назвать несколько крупных имен из того же народнического лагеря, подвизавшихся около Комучев, деникинских «осваго»», прах не отрясавших и, однако, благополучно проживающих в Сов. России. Преследования же и истребления интеллигенции так ни с того, ни с сего—здорово живешь — нужно отнести к «непомерно лживым сказкам». Значительные группы дореволюционной интеллигенции приняли участие в гражданской войне

по ту сторону баррикады и за это платились, как активные участники этой войны. В нашей гражданской войне было много взаимных жестокостей. Но одни делали их, борясь за новое, за революцию, во имя идеалов, веруя и надеясь, — другие без надежды, без веры в будущее, без веры в себя. Теперь это доказано и показано, между прочим, нашей молодой художественной литературой, отнюдь не коммунистической, и с каждым днем подтверждается все больше и больше. И кроме того: поскольку интеллигенция принимала участие в гражданской войне, она проявила больше жестокости, чем «охлос и чернь», столетиями находившиеся на положении под'яремных рабов.

Речь идет о представителях партии, боровшихся с Советской властью путем восстаний, террора, интервенций; о партии, которая до сих пор, особенно за рубежем, выступает сторонницей по сути дела этих же методов, но не имеющей смелости открыто и ясно сказать, что она за интервенцию, за террор, в силу природы слоев, ее питающих. О деятельности этой группы в распоряжение советского правительства поступил материал, заслуживающий весьма серьезного внимания. В это дело вмешались вожди желтых Интернационалов, фактически солидаризировавшись с черновской компанией. В силу этих обстоятельств группа эс-эров и была предана суду, и поэтому процессу уделяется столь много внимания. Разговоры о «мести», когда в них нет политической, явно обдуманной преднамеренности, отдают непроходимой тупостью и глупостью. Известно, что многие наши политические враги политику с успехом подменяют слухами и соображениями кухонного и сухаревского порядка. Таков удел обреченных. Горе не побежденным, горе побежденным историей. Их удел — на задворках быть мусором.

---

«А судьи кто?»

«Вы не компетентны судить нас; вы—заинтересованная сторона; здесь партия коммунистов судит другую партию, враждебную ей; здесь нет беспристрастного суда», — таков смысл заявлений первой группы подсудимых. О том же говорили их защитники—Вандервельде и другие. В таком плане ведется политическая кампания Черновым и Постниковым за рубежем; подобные речи можно услышать от интеллигентов «доброго старого времени».

Недавно один из таких «стариков» писал:

«...вопрос ставится политически. Как неоднократно заявлялось официально, Верх. Революц. Трибунал — политическое орудие диктатуры. Рев. Трибунал будет обвинять партию с.-р. в преступлениях пред «пролетарской» революцией. Привлеченным к суду членам партии, очевидно, будет предоставлена возможность доказывать, что она этих преступлений не совершала или то, что она совершала, не было преступлением перед пролетарской революцией. Вопрос таким образом ставится политически, и лицам, не причастным ни к среде обвиняемых, ни к лагерю обвинителей, тут делать нечего» («Утренники» № 1, Изгоев. «Суд над террором»).

От Изгоева до Вандервельде, твердится — тут делать нечего — суд не национальный, а партийный.

Партия коммунистов — партия, стоящая у власти. Рев. Трибунал состоит из коммунистов, он — политическое орудие диктатуры. Но ставить себя в положение равных с партией коммунистов ни эс-эры, ни их подголоски не имеют никакого «полного права». Защищая классовые интересы пролетариата, коммунисты защищают в то же время национальные интересы новой послеоктябрьской России. Это доказано опытом гражданской войны, неудачей интервенции, Генуей и Гаагой и многим другим. Пролетарские интересы совпадают с интересами этой России—минус ничтожная кучка,—и потому авангард пролетариата — комм. партия—стоит и будет стоять у власти. За тов. Пятаковым — не только партия коммунистов, но и миллионы беспартийных, рабочих, крестьян, красноармейцев, молодежи, служилой советской интеллигенции. Говорят, что гр. Вандервельде признал кисло, что Советская власть — твердая власть. Думает ли он, что твердость во дни голода, тифа, блокады—может быть делом штыков? В частности: в противо-эс-эровской демонстрации приняло участие около 300 тысяч человек. Демонстрация была массовая, огромная. Что же это? «Переодетые чекисты»? Насильственно выгнанные люди? Когда, в какие времена, какому правительству удавалось выгонять рабочих из фабрик и заводов, массами, огромным скопом на политическую демонстрацию вопреки их воли и желания? Или их, рабочих, одурачили, обманули? В чем? Гражданская война, прошлое — у всех в памяти. Деятельность партии эс-эров очень свежа. На спинах, кровью и огнем ведут свой дневник революционные дни. Тут массы не обманешь. А где «народ» эс-эров? «Чекисты расстреляют?» Представьте себе «доброе, старое время». Обошелся бы аналогичный громкий политический процесс друзей народа без «массовых инцидентов»? Ну, не у здания суда, не на главных улицах, а в районах, в рабочих поселках, во дворах фабрик и заводов? А слышали вы что-нибудь о значительных, хоть сколько-нибудь, митингах, рабочих собраниях? Разбрасывались прокламации и эс-эрами и меньшевиками с призывами не ходить на демонстрацию. А народ пошел. Защитники и ратоборцы народовластия без народа и «комиссародержавцы», «выгнавшие» сотни тысяч демонстрантов — совсем все наоборот!..

Что-то затхлое, безжизненное, безнадежно интеллигентское, изжитое и изжеванное было в заявлении подсудимых первой группы, что они не прочь принять участие в политическом состязании, но решительно отводят суд Верховного Трибунала. Как-будто сошлись две партии, продолжающие в старом подполье вести споры по аграрному и другим вопросам. Они не прочь!.. Пролиты реки крови, сталью и железом решался спор, «дискутировали» пушки, броневики, танки, пулеметы, гранаты; измордована и исполосована вся Россия, а они смотрят на себя и коммунистическую партию как на подпольные кружки старого порядка! И когда тов. Крыленко черпает в этой «дискуссии» новый криминал и после некоторых эс-эровских речей перелистывает статьи закона и заявляет: «это карается по такой-то статье», либо—

«приобщает к делу»,—здесь не только официальный представитель власти и пойманные «еретики, безумцы и отшельники»—тут сталкиваются две психологии двух эпох: интеллигентская, выветрившаяся кружковщина, потерявшая связь с жизнью и массами—и партия, нащупавшая пульс жизни, спаявшая себя с лучшим авангардом нации и победившая в жесточайших битвах.

Разумеется, во всех этих заявлениях: мы не прочь принять участие в идейном состязании, но решительно отказываемся признать и т. д.—больше всего сознательного политиканства, агитации, пропаганды, тактики, дипломатии. И все это—покушения с негодными средствами. Эс-эровские военные и невоенные трибуналы, командования на территории Комуча расстреливали направо и налево заподозренных или уличенных в большевизме. Эс-эровские боевики и члены ц. к. организовывали убийство Володарского, покушение на Ленина. Какое право говорить они имеют о беспристрастном, не партийном суде?

Как-будто есть на самом деле надклассовый суд?

Вся эта старая интеллигентская идеологическая труха высыпается после кровавейших классовых битв в России и по всему земному шару, когда все обнажилось до скелета, когда природа, происхождение власти, государства, права, суда вскрылась воочию, стала физически осязаема; когда сорваны все мистические и идеологические покровы, так старательно навертываемые господствующими классами на «человеческое, слишком человеческое».

На суде Рев. Трибунала его председателем были сказаны простые и ясные слова: Советская власть никогда не признавала надклассовой юстиции. Мы, конечно, пристрастны, ибо защищаем интересы пролетарской революции. Мы обещаем беспристрастие в одном: в совершении или несовершении тех преступлений, в которых обвиняются подсудимые. Таков был смысл заявления представителей советской юстиции.

Мы берем, однако, смелость на себя утверждать, что обстановка, атмосфера суда поражали все-таки своей «дискуссионностью», «гарантиями» и пр. Очень странное впечатление производило открытие процесса, начавшегося с вопроса, который разрешается обычно только в конце — с приговора. Не касаясь вопроса о берлинском соглашении, мы только отмечаем это своеобразие. Подсудимым беспрепятственно, в сущности, предоставлялась возможность наносить любые самые тяжкие оскорбления пролетарской власти, Верховному Трибуналу, обвинителям и т. д. Не очень стесняли себя и представители желтых Интернационалов. Все, что полагалось по эс-эровским штатам и даже сверх-штатно, на суде было сказано и застенографировано. Чего только стоит одно заявление «по Марксу», где Советская власть и партия коммунистов трактовались в терминах: деклассированная чернь, сброд и т. д. Ставятся бесчисленные ультиматумы, требования, читаются декларативные заявления (для использования процесса как трибуны), пред'являются отводы; препирательства, развязность, угрозы и пр. Происходит все это, когда оружие еще не остыло, а на скамье подсудимых сидят руководители и идейные вдохновители восстаний, террора против Советской

власти. В зале суда очень трудно отделаться от этой «дискуссионной» атмосферы.

О, мы уверены: не так бы судили нас граждане Гоцы, будь на улице их праздник. Доказательство тому: июльское дело «о немецких агентах». Нужно только вспомнить, как оно было построено, кем и как велось. Наша классовая «чекистская» юстиция! Ведь она дает в тысячу раз больше «гарантий», в тысячу раз добросовестней и беспристрастней, чем эти надклассовые следователи и творцы всей этой мерзейшей мерзости о немецких агентах!

Кстати: поразительна и подозрительна скромность Гоца и Донского, не вытащивших на свет божий июльского дела. Почему бы, например, не противопоставить нашим обвинениям о сношениях с Антантой «немецкого дела»? Ведь еще в прошлом году, если не ошибаемся, эс-эры вновь за рубежем поднимали его!

Дым и пепел остался от июльского дела...

---

О представителях желтых Интернационалов писалось достаточно.

Очень трудно сказать, кто кому больше вредил на суде: Гоц Вандервельде, или Вандервельде Гоцу. Во всяком случае представитель II Интернационала произвел впечатление поистине ошеломляющее. Прибыло существо с другой планеты. Повидимому, существо это плохо понимает, где оно, что происходило и происходит кругом. «Оно», с ясным видом и медным лбом, спокойным тоном делает, между прочим (см. письма Вандервельде в «Правду»), странные и непонятные заявления: «Да, да, «оно» подписало версальский договор, потому что» и т. д. И с достоинством все это декларируется, без нервозности, с видом благородным и безмятежным.

Версаль... В России — революция, советы, последствия блокады версальцев, новый революционный быт. В России краскомы, Красная армия, изгнаны помещики. В обстановке этого нового быта обо многом нельзя говорить в России: не цензура, не Г. П. У., — а не поймут вас, будут смотреть как на выходца с того света. Не коммунисты не поймут, а так все, вся новая Русь. Нельзя говорить о будущем дома Романовых, писать рассказы с гражданской тоской и слезой о промотавшихся и выгнанных помещиках, князьях и пр., — о том, что старая война велась во имя торжества права, справедливости; что Колчак и Деникин хотели дать землю мужикам и т. д. Все это звучит непонятно, удивительно и неуместно. Главное, неуместно. Такое же удивление вызывает социалист, представитель какого-то там Интернационала, заявляющий, не то с гордостью и во всяком случае безмятежно: — «да, да. я подписал версальский договор». — Несомненно, это «оно» очень, должно быть, странное существо.

Двух мнений о Версале в Сов. России нет и не может быть. Конечно, есть ископаемые, но ведь не они создавали и создают новый наш быт — это — мусор на задворках. Вообще же мнение о версальских деяниях —

штамп, клише, быт, вошло в плоть и кровь. Когда читатель развертывает газету и читает: «версальский договор доказал все своекорыстие» и т. д., он с зевком пропускает строку и идет дальше: скучно, известно и переизвестно. А вот «оно» приезжает защищать эс-эров и произносит: да, подписал версальский договор... Занятно!..

...Два мира, две эпохи! Второй Интернационал это — Версаль. Войны империалистские, слащавые, лишенные смысла словечки о социализме — розовая водичка — и буржуазно-банкирское делячество, — смоковница, засыхающая при дороге, — те, кто не видит, не видели страшных снов на яву на Марне и на полях Галиции и не услышали гнусного победного воя победителей и хруста костей побежденных.

Второй Интернационал это — Версаль. И так понятно, почему Вандервельде приехал защищать эс-эров и поспешно «отряс прах» от нечестивой Сов. России. Очень естественно и неизбежно, что вокруг Вандервельде в России стала создаваться атмосфера *морального* суда: Версаль. Он оказался обвиняемым: Версаль. Его травили: Версаль. С ним не любезничали: Версаль. Вандервельде приехал с каиновой, ярко выжженной печатью на лбу. Его стали морально судить. Он поспешил уехать: Версаль.

Формальный повод, связанный с ведением стенограммы, — такие же пустяки, как убийство эрцгерцога в старой войне, тем более, что никто не запрещал г. Вандервельде вести стенограммы.

Но, помимо сказанного, есть еще один момент, который, к сожалению, оказался мало освещенным. Тов. Радек печатно в одной из своих статей указал, что Вандервельде заявил пред от'ездом, что не знал, какой в сущности материал лег в основу процесса эс-эров, что считает невозможным их защищать, — при чем Радек прибавил, что может, если это потребуют обстоятельства, — указать, кому, где и при каких обстоятельствах гр. Вандервельде все это заявил. Насколько нам известно, Вандервельде прошел мимо этого интересного заявления и предпочел открыть соответствующую полит. кампанию против республики Советов. Жаль. Для более правильного освещения процесса эс-эров и обстоятельств от'езда гр. Вандервельде заявление тов. Радека далеко не безразлично.

Как бы то ни было, «оно» уехало.

---

На суде — две группы подсудимых: члены ц. к. партии с.-р. возглавляют одну группу, эс-эровские «предатели» — другую.

1-я группа время от времени декламирует на тему о народовластии, революционном социализме и прочих вещах. Декларация, читанная Тимофеевым в начале процесса, — какая это ветошь! Желто-красный попугай! Лишенные ходом истории смысла и значения слова, лозунги, программные требования, произносимые с «искоркой», с дрожанием в голосе, с упоенностью (далеко не всегда). Желто-красный попугай. Носятся по залу слова, как засохшие листья в осеннюю непо-

годь, не волнуя, не задевая, не трогая. Представьте себе этого учителя из «Истории моего современника», — склоняющего на все лады до забвения — желто-красный попугай, — а кругом штыки Г. П. У., утомленное, спокойное лицо председателя, а за окнами маршируют красноармейские колонны, организуются гос. тресты, новая советская, чиновная Москва, нэп, Красный Кремль, новая, разбуженная и встревоженная деревня — скучно, не по-себе становится от этого эс-эровского попугая, так неуместно склоняющего по всем падежам и родам.

Упоенность старыми лозунгами обычно очень быстро проходит, как только дело касается фактов, судебной прозы. И самым главным, и самым неприятным фактом, нарушающим, то-и-дело, «нормальное» эс-эровское самочувствие, является несомненно 2-я группа подсудимых. Численно это тоже значительная группа. Они безусловные предатели. Они предали партию эс-эров, ц. к. и его членов. Одни из них — теперь члены Р. К. П., другие беспартийные, очень близкие к коммунизму, третьи просто ушедшие из рядов партии эс-эров. Их основное ядро состоит из боевиков-террористов и не просто боевиков, а членов центральной боевой дружины, работавшей при ц. к., и в этом — самое мучительное и неприятное для партии Чернова и Гоца. Со стороны судебной, процессуальной, важно, прежде всего, установление, подтверждение или опровержение тех или иных обвинений; со стороны исторической и политической важно, в первую очередь, наличие на скамье подсудимых группы обвиняемых боевиков, задолго до процесса порвавших с партией эс-эров.

Вполне понятно, что первая группа обвиняемых старается доказать, что 2-я группа подсудимых не заслуживает ни малейшего доверия: идейно неустойчивые люди, действовавшие автономно, на свой риск и страх, жалкие беглецы, ренегаты и пр.

Относительно идейной стойкости в общей постановке этого вопроса. Мы имеем дело с людьми, которые отдавали жизнь за жизнь и в рядах партии эс-эров и, позднее, в рядах советских (Семенов, Коноплева, Ставская и др.). То, что они делали, делали самоотверженно, суб'ективно честно. Далее, в рядах этой группы — совсем не случайные революционеры, и уж совсем эти люди не похожи ни на тех свеже-испеченных членов эс-эровской партии, которые заполнили собой ее ряды во дни керенщины, ни на тех «примазавшихся», от которых чистится комм. партия и которых нередко «ставит к стенке». Старая каторжанка Ставская, ссыльный Семенов, Коноплева, Ратнер — их никак нельзя назвать рыцарями на час. И неужели эс-эровский ц. к. принял бы в центральную группу террористов при ц. к. людей, не внушавших полного тогда доверия, мало известных партии?

Они — предатели? Конечно. Но они предали партию контр-революции во имя революции. Они предали во имя власти, самой гонимой, самой угнетенной, самой ненавистной всему старому миру, находящейся в удавном кольце всесветных милитаристов. И это кладет особую печать на их предательство. Только безнадежно-тупые филистеры, интеллигентики с размяг-

ченными мозгами могут видеть героев в 1-й группе и шамкать слюняво—предатели—по отношению к группе 2-й. Факт тот, что даже у г. Гендельмана, занимающегося по поручению своей партии специальным опорочением 2-й группы, даже у него не повертывается язык сказать, что в «предательстве» Коноплевой, Ставской, Семенова, Усова, Ратнера — есть элементы своекорыстия, преклонения пред фактами и «сильными мира сего» и т. д., что обычно характерно для ренегатства в специфическом смысле этого слова.

Разоблачения 2-й группы подсудимых — ренегатство, но это такое же ренегатство, как ренегатство каждого рабочего, верой и правдой служившему капиталу, но однажды поднявшего знамя борьбы, — как ренегатство всех перебежчиков из лагеря буржуазии в лагерь пролетариата, это — ренегатство по отношению к партии, которая об'ективно играла роль денщика у Антанты, проституировала лучшие заветы революционного народничества.

Ренегатство 2-й группы подсудимых нельзя рассматривать вне связи с тем общим, массовым ренегатством, которое происходило на наших глазах во время революции. Ренегатствовали и предавали партию эс-эров рабочие массы, выбиравшие в начале в советы эс-эров и меньшевиков, а затем отшатнувшиеся от них позднее, — ренегатствовали также солдатские массы, пошедшие за большевиками, как и рабочие, ренегатствовали крестьяне, на опыте Колчака, между прочим, убедившиеся, что прикрывает Комуч, — ренегатствовала эс-эровская и полуэс-эровская интеллигенция, пошедшая потом в Красную армию, в сов. учреждения работать по-честному, ренегатствовали рядовые и не рядовые члены партии, уходя от эс-эров кто куда. На суде в качестве свидетелей выступали одни за другими эти «ренегаты», некогда близкие эс-эрам, либо активные члены партии; длинной вереницей проходили они в зале суда, и показания их были очень не по нраву Гоцу и его компании. В конце концов: слишком много ренегатов и предателей: миллионы, Россия. С этой точки зрения получается какой-то бедлам, общественный кошмар: массы — охлос; комм. партия — деклассированный сброд; демонстрация сотен тысяч людей — панургово стадо советских рабок или «переодетых чекистов»; бывшие боевики-террористы — авантюристы, подлые предатели! Мир сходит с ума и безумеет! Не правдоподобней ли и не лучше ли к чести человечества и Новой России предположить иное: ренегатами по отношению к народным массам, к революции, к России были те, кто именуется: первая группа подсудимых. Заметьте, что массы у эс-эров ренегатствуют во время революции, когда они — все.

От эс-эров ушла целая центральная группа боевиков-террористов.

Обстоятельства ухода, как они рисуются самими террористами, изложены в заявлениях Семенова, Коноплевой,—в заявлениях, кстати сказать, данных по доброй воле за рубежем и по своей исключительно инициативе. Нужно знать прошлое партии эс-эров, нужно вспомнить то значение, какое эта партия придавала террору, чтобы понять весь трагический смысл для нее

всего происходящего на суде. Ушли не рядовые боевики, а члены центральной группы, занимавшие места Каляева, Гершуни, Сазонова (центральный террор). Факт «ренегатства» целой группы, ядра — не сотрешь ни приездом Вандервельде, ни воплями о пристрастии, ни декламациями о народовластии. Вопиющий к небу факт. Надгробная плита. Революционный увесистый булыжник. Усов рассказал на суде, что террорист Сергеев после убийства им Володарского, узнав о поведении ц. к. с.-р., был в подавленном состоянии. И Сергеев, и Усов, и Семенов, и Коноплева — былые романтики революционного народничества. Подавленное состояние это — развеянный романтизм, романтизм, завядший при столкновении с грубой прозой дня. Было так: «высокие» слова: земля, воля, народовластие — и убийство Володарского, и покушение на Ленина, и отречение от этих «актов»; те же «высокие» слова — и сотрудничество с Антантой, с махровыми контр-революционерами. Вскрылось на примерах, на фактах полное несоответствие отменных слов, старых лозунгов прежнего романтизма с повседневной практикой. Романтика и лозунги были уже лишены прежнего содержания и прикрывали—и чуть-чуть прикрывали—демократическую контр-революцию, охоту на Ленина и Троцкого, лакейскую роль у Антанты и пр.

В группе боевиков-террористов, может быть, больше, чем где-либо еще, было народнического отвлеченного романтизма, меньше трезвой политики и политиканства. Когда выяснилось, что именами Каляева, Гершуни и Сазонова, обаятельностью старого террора — прикрывается политическое делячество, беспринципность, трусость, связи с Антантой, бессмысленная «охота за скальпами», стало ясно, что старый романтизм разложился, загнил, стал обманной вывеской над подозрительным зданием, где производилась политическая торговля распивочно и на вынос людьми, сметенными в подвал истории. Форма перестала соответствовать содержанию. Партия эс-эров, начиная со своего оборончества еще во дни старой войны, начала складываться как партия контр-революции. Коготок увяз — всей птичке пропасть. А тут был не коготок, а целая измена основным революционным принципам. Правда, и раньше далеко не все было благополучно, но не будем забираться во времена столь отдаленные. Во дни революции оборончество и соглашательство окончательно отбросили эс-эров в черно-желтый лагерь, собрав вокруг старых знамен поумневших и поправевших интеллигентов, часть офицерства, кулаков и т. д. Дальше все шло как по маслу.

Боевики на практике террора убедились в полном разложении эс-эровского романтизма, старых лозунгов, широковещательных слов. Отсюда сначала — подавленное состояние, затем — переход на сторону советов, работа в пользу их и «предательство», как заключение. И мы знаем, сколько таких былых романтиков, самых самоотверженных, оказалось также потом в подавленном состоянии, сколько их перебежало в Красную армию, в партизанские отряды, в советы, сколько легло их и погибло на полях гражданской войны. И не пережили ли сотни тысяч российских интеллигентов каждый по-своему после октября этого краха романтических иллюзий, этого по-

давленного состояния? Во всяком случае, представлять себе измену боевиков-террористов эс-эровским знаменам как некий скверный анекдот, досадный, но нелепый случай, значит намеренно отказываться от анализа весьма знаменательного явления, связанного с десятками тысяч иных подобных «случаев», а следовательно, совсем и не случаев.

Первая группа подсудимых очень ясно сознает всю тяжесть положения, в которое ее ставит вторая группа. Поэтому главные усилия направляются к тому, чтобы опорочить членов второй группы всеми средствами. Желто-красный попугай здесь сразу превращается в осторожного, хитрого, осмотрительного, взвешивающего и прицеливающегося тактика и дипломата. Ответом, почему мы, коммунисты, защищаем теперь эту группу, является: из узко партийных счетов и соображений и еще потому, что партия коммунистов разложилась, гниет (цитата по Марксу и др. заявления). Все это до крайности плохо. Разговоры о нашем разложении, о том, что мы вбираем в себя деклассированные элементы, продолжаются с 1917 года, а «разложившаяся» партия продолжает сотрясать весь мир, и могущественная Антанта вынуждена была убрать руки прочь от большевистской России. И не эс-эрам бы говорить о нашем разложении. И не в том дело, что мы — у власти, а в том, что до сих пор мы не потеряли основного—ненависти к старому миру, веры в будущее коммунизма и готовности бороться до конца. В этом—закон и пророки. Что же касается использовывания заведомо нечестных людей в узко-парт. целях, то ведь нужно доказать, что Семенов, Коноплева, Ставская, Ратнер, Усов, Дашевский, десятки свидетелей бесчестны. Таких доказательств эс-эрами не представлено. С другой стороны, суду были сделаны заявления Реввоенсовета республики о работе Семенова; может быть, и это мнение «разложившихся» людей?

Сектантским духом в том смысле, в каком это нам приписывают эс-эры, мы тоже не заражены: иначе мы не одержали бы побед, не сцементировали бы Новую Советскую Россию.

---

Когда пишутся эти строки, на суде происходит допрос по делу о терроре. Вообще подведению итогов следственного материала придется посвятить особую статью: этот материал колоссален. Мы считаем, что следствие на суде ведется самым скрупулезным, основательным образом. Вопреки крикам о пристрастии, о затыкании рта, — выяснение фактической стороны дела происходит на очень широкой основе. И не даром так не любят фактов эс-эры. Факты складываются не в их пользу. Доказана связь с французской миссией, доказаны сношения с Антантой, доказано, что партия эс-эров стояла на точке зрения интервенции, что она не брезгала связями с махровым черносотенством, чтобы свалить власть советов. По вопросу о терроре—основному вопросу на суде—можно пока считать доказанным, что ц. к. з н а л о подготовляемом его боевиками покушении на Ленина и об убийстве Володарского, что это было делом не случайных людей, а центральной группы

боевиков при ц. к., что «актам» боевиков ц. к. не противодействовал; доказана вполне моральная ответственность членов ц. к. в упомянутых террористических актах. В какой мере подтвердится остальное, выяснится очень скоро: персональное участие в этих делах членов ц. к., санкция Гоца, отказ ц. к. от «актов» и т. д. Позиция цекистов Гоца, Донского более чем сомнительна: зная подпольную обстановку, весьма трудно предположить, чтобы ц. к. стоял в стороне от таких актов, содеянных центральной группой боевиков, как покушение на Ленина. Все это очень не вяжется с бытом подполья: ведь мы имеем дело с верхушкой партии. Во всяком случае, показания Семенова, Коноплевой пока только отрицаются цекистами и не опровергнуты. Показания же Усова вполне совпадают с тем, что утверждали и утверждают Семенов и Коноплева. Масса деталей, вскрытых на суде — свидания Семенова с Гоцем, его разговоры с Донским и пр.,—дают вполне определенный фон происходившему.

Понятно, почему Гоц и вообще эс-эровский Ц. К. стал в вопросе о терроре на точку зрения отрицания: слишком скандальны для прошлого и для настоящего партии заявления боевиков. Однако во всех отрицательных заявлениях эс-эровских цекистов есть существенное «но». Ц. К. отрицательно относился к террору, но не вынес запретительной резолюции. Террористические настроения многих членов партии были известны Ц. К., но он не счел нужным ознакомить членов партии с этим своим отношением, потому что, по уверениям Гоца, на то были «соображения конспиративного свойства», которые он отказался поведать суду и т. д. Все это очень зыбко, туманно, чтобы не сказать более; не то «двойная бухгалтерия», в сущности развязывавшая руки любым боевикам, не то лазейки «на всякий случай». От неясности и двусмысленности этих туманностей категорические заявления боевиков только выигрывают. На «полную ложь, не соответствующую действительности» свидетельства боевиков не только не похожи, но производят впечатления совершенно обратные. Ложь—в словах Гоца и Донского. Подробней об этом после.

---

Если новая рабоче-крестьянская интеллигенция, «прущая» сейчас буквально из всех советских общественных пор, заняла вполне определенную позицию в процессе эс-эров, то этого нельзя сказать относительно части интеллигенции до-революционной. По своему обыку она «колебнулась» и здесь. Образец и показатель тому бестактное и неумное выступление Горького (письмо А. Франсу). Иначе и не могло случиться. На скамью подсудимых морально посажены не только эс-эры, но и те круги интеллигенции, которые считали октябрь недоразумением, нелепой шалостью истории, саботировали советы, кричали о хамодержавии, пополняли ряды Комуча, Колчака, Деникина, а позднеи — ряды зарубежной эмиграции. Словом, тут был известный контакт с эс-эрами. Конечно, приличного самочувствия в отношении к процессу быть не может. Действенного, однако, во всем этом очень мало. По существу позиция эс-эров

бесконечно теперь этой интеллигенции чужда: одна часть ушла в безвольную мистику, другая приспособилась и по-своему сжилась, свыклась, по-своему приняла советскую новую действительность. «Облетели цветы, догорели огни»... Былая романтика давным давно выветрилась, теперь делячество, сменовеховство, спецы и пр. Все это очень далеко от эс-эров. Поэтому получается нечто слякотное, неопределенное. По сути дела эс-эры одиноки как никогда. И речи зарубежных Черновых, что большевики взялись за истребление «растущей» партии, — одно неестественное празднословие.

—

P. S. К вопросу о терроре. Показания рабочих-боевиков, в особенности Зубкова, поставили точки над i: сомнений быть не может, те, которые в Ц. К. эс-эров определяли «линию поведения», «особо сплоченная группа», Гоц и К°, были организаторами террористических актов. Голое отрицание подсудимой Ивановой, представителя Ц. К. в группе боевиков, производят поистине жалкое впечатление.

Два слова о документах «административного центра». Их удельный вес совершенно исключителен. Они дают полное основание сказать: верхушки эс-эровской партии занимаются и сейчас по существу шпионской работой. Этим окончательно решается вопрос о «ненужности» процесса, бесцельной «мести» и т. п.

# Критика и библиография

**Н. Ляшков.** «Железная тишина». Рассказы. К-во «Кузница». М. 1922 г. Стр. 190.

Н. Ляшко знает, что слова имеют «вес, цвет, вкус, запах». И выбирая между их множеством наиболее соответствующие наблюдаемому и описываемому, он экономен, сдержан и упорен в чеканке своих образов. А что образы его чеканные, выпуклы и вместе с тем просты, той синтетической художественной упрощенностью, которая дается лишь наблюдательному взору мастера, что строки его выкованы в раскаленной атмосфере творческого плодотворного напряжения—свидетельствуют хотя бы такие короткие цитаты из них:

...Руки отца зацелованы огнем, позолочены железом,—опускали на струны молоток, кианку... («Солнце, плечи и груз»).

Или—описание брошенного завода:

Стеклянные крыши мастерских дырявы. Из протемей в небо округло глядят недвижные трансмиссии. Дремлют моторы. Дождь и снег изранили серебряные от бега и об'ятий ремней шкива. Суппорта прилипли к сухим станинам. Суставчатая рука электрического крана заломлена и беспомощно свешивается с разметочной плиты. На постели похожего на гигантский трон строгального станка развалившимся костяком сереют болты, угольник, планки и гаечный ключ.

(«Железная тишина»).

У Ляшко нет длинных периодов, нет «бичей и скорпионов» импрессионистского синтаксиса, с вывихнутыми суставами сказуемого и определений. Его рассказы, просты, ясны и вместе с тем насыщены той особой радиоактивной теплотой, которая заставляет угадывать бьющееся в писателе живое сердце, проникающее всем своим биением к материалу, одухотворяющее формальные достижения трепетом подлинной жизни. Привычка к заводу, к материи, к мускульному труду—обогащает словарь Ляшко безо всяких усилий и натяжек дающейся ему терминологией, от которой рассказы его отливают сталью и пламенем раскаленного горна. Но это не предвзятая, модная терминология интеллигентского писателя, щеголяющего специальными выражениями. Ляшко н е у м е е т обойтись без этих слов, так успешно являющихся на выручку в определении, так плотно впаянных в образы. И сила обновленной речи, сила иных метафор встает за его строками.

Четко и точно разрабатывая тему, Н. Ляшко редко позволяет себе роскошь психологизирования, рассуждения. Все его рассказы—сжатые, экспрессивные миниатюры, бьющие пламенем в единую цель—накаливания и расплавливания остывшего читательского восприятия, обесформливаемого неряшливостью и подражательностью современных беллетристов.

На этом прямом и трудном пути настоящего писателя Н. Ляшко далеко ушел вперед. Его отношение к материалу языка—отношение рабочего, любящего и знающего свое дело. Экономия в нем и наивыгоднейшее использование этого материала—заложены в метод работы автора «Железной тишины». И верится, что эта «тишина»—уже разорвана Н. Ляшко на огромном заброшенном за последнее время заводе русской прозы.

Н. А.

**М. Герасимов.** Негасимая сила. Стихи. Издательство «Кузница». М. 1922 г. Стр. 110.

М. Герасимов последовал рецепту сложного пролеткультовского диагноза современной поэзии. Взяв у буржуазных поэтов технику последних поэтических достижений, он ничего не изменил в миросозерцании своем, идущем от полей и деревенской затаенной вражды к городу, с одной стороны, и необходимость участвовать в работе этого города, с другой. Действие этого рецепта не оздоровило, однако, его эклектизма. Сваленные в одну кучу приемы Верхарна, Маяковского, Мариенгофа, сдобренные к тому же «весомостью» такой терминологии как «таинство», «нимбы», «литургия истины», «солнцепенная Диана», «сфинксы» и т. п. украшениями модернистского словаря еще не дают понятия о собственном лице поэта.

И хотя уверяет М. Герасимов, что:

Довольно на солнышке ленивом
Сонной завалинки
Елейно мурлыкала солома
Ектеньи кутейные (?)

и что

На подвиги иные
Притягивают города магнитные.

заверения эти остаются на совести автора. Ибо гораздо сроднее ему очевидно такие строки:

Мне странно видеть странников,
Что выстроились в ряд,
Подсолнухов избранников,
Их нимбы и наряд.
Их пламень златолиственный
Над золотом голов
Пред литургией истины
Без музыки и слов.

Главным недостатком М. Герасимова остается неопределенность материала, не только речевого, но часто и прочитанного и воспринятого целиком в образе. Так, например, если сравнить его строки:

Резче капай
Зерно за зерном
С мозолистой лапы
Сгущенные лучи солнца.

С образом из стихотворения Б. Пастернака «Уральские стихи», напечатанных в № 2 «Красной Нови», ясна эта неперевареность чужого наблюдения и подчиненность ему.

А этот пример не единичен. Образы Маяковского встречаются у М. Герасимова чаще, чем это требуется простой склонностью к этому поэту; его же приемы разжижены и ослаблены в строфах «Негасимой силы».

Со всем тем нам кажется, что М. Герасимов только ищет свое «необщее выражение», а глубокая горечь и острое ощущение действительности некоторых строф, как, напр., в стих. «Черная пена»,— выведут автора на свой никем не исхоженный путь.

**Н. А.**

---

**Анна Баркова.** Женщина. Стихотворения. Предисловие А. В. Луначарского. Государств. Из-во. П. 1922. Стр. 96.

Свежий, многообразный талант. Простота, искренность. Вот что обнаруживает книга Барковой. Стихотворения ее не крикливы, местами недостаточно оттенены, но они задушевны, свежи своей непосредственностью. Неуравновешенность молодой женской души раскрывает поэтесса. Бодрая вера и сомнения, надежда и разочарования, любовь и печаль, под'ем и падения—вот та лестница, по которой проходит женщина, она как грешница обнажается перед исповедью и буйствует от избытка сил. То сжимается светлой печалью, то сгорает в порывах мятежных.

Я пущусь под напев разудалый,
Под безумное гиканье в пляс.

А через несколько строчек усталость.

Я больна. Не люблю я танца.
Перестаньте на танцы звать.
Я горю предсмертным багрянцем,
Неудобна моя кровать.

Девушка красноармейка, «с красной звездой на рукаве», идет в «освободительный бой» и уверенно говорит:

Сохранилась из всех моих вер
Вера в красную звезду.

И это, конечно, девушкины слова с «удалой усмешкой на лице»:

Я — преступница: я церкви взрываю
И у пламени, буйствуя, пляшу.
...Я восстала среди моленья,
На проклятие священных книг.

Но под'емы не бесконечны. После взлета—падение, и девушка героиня признается своему товарищу-возлюбленному:

Если в борьбе я струшу,
Пожалей меня, — пристрели.

В стихотворении «Две поэтессы» Баркова не скрывает, что ее песни «отрывочны, невнятны», видит впереди другую поэтессу «великой эры» и обращается к ней с просьбой:

Топчи, топчи мои песни-цветы!
Утоли жажду моей веры
Из чаши новой красоты.

Жаждой веры в новую красоту многогранной женской души, восставшей из векового рабства, проникнута вся книга. Женщина, о которой поет Баркова, хочет быть гордой и сильной, ей нужна «вселюдская любовь»—про себя она говорит:

Люди, я — ваше порождение,
Дерзновенное ваше дитя.
Как возлюбленные, станьте нежны вы.
А если с отдельным изменю,
Предайте меня ревниво,
Беспощадного гнева огню.

Это все скачки настроений. Дальше видим, что женщина не постоянна, изменяет своим клятвам, становится вдруг маленькой, робкой. Ее можно, как бессильную птицу, лаской словить, обольстя испугать. В битве она часто мечтает «склониться к сильной груди молодого врага». И тогда:

Падает меч из руки онемелой —
Вот он последний великий искус!
К сердцу врага приникаю несмело
И — с героиней в себе расстаюсь.

Баркова берет не показную, не плакатную, а действительно живую, мятущуюся душу женщины. Когда дочитываешь книгу до конца, то все «обрывочные, непонятные», на первый взгляд, песни становятся цельными, выявляющими глубину нераскрытую. Молодая поэтесса стоит пока еще на первых ступенях своего творчества, путь ее только начат, это не последнее слово.

**А. Н.**

**Вячеслав Полонский.** Бакунин (из истории русской интеллигенции). Том первый. Бакунин — романтик. М. Гос. Изд. 1922 г. Стр. 415.

Разбираемая нами новая книга о Бакунине представляет собою, несомненно, выдающееся явление как в литературе о Бакунине, так и вообще в литературе о европейском и русском общественном движении 30-х и 40-х годов прошлого века. Настоящий первый том обнимает ту же эпоху в жизни Бакунина (до бегства из Сибири), которой посвящен и вышедший больше года тому назад первый том работы Ю. Стеклова. Но от книги Стеклова исследование В. Полонского отличается обилием фактического материала, характеризующего не только самого Бакунина, но и его э п о х у, а также обилием использованных источников и большей об'ективностью изложения. В этом отношении, если у Стеклова преобладает тенденция во что бы то ни стало «обелить» Бакунина (в связи с «Исповедью»), вообще, поставить его на известный пьедестал, словом, доказать заранее выдвинутое положение, то работа Полонского, наоборот, добросовестно стремится, без всяких предвзятых мыслей, прежде всего установить о б'е к т и в н у ю  и с т и н у и поэтому может быть с полным основанием названа научным исследованием.

Несколько мешает научному характеру книги то, что может быть, для мало подготовленных читателей делает ее более доступной и интересной: она по содержанию гораздо шире своего заглавия и могла быть названа (как, повидимому, и думал сделать первоначально В. Полонский) «Бакунин и его время» или, как можно было бы ее скорее назвать, «Бакунин, его друзья и враги». В самом деле, уже лежащий перед нами первый том (второй будет посвящен анархическому периоду жизни Бакунина) есть не столь-

ко страница «из истории русской интеллигенции», сколько ряд страниц из истории Европы 40-х годов и особенно революции 1848—1849 г.г. И если некоторые из этих страниц (напр., о славянском движении во время революции) имеют большой интерес для всякого читателя, то главы шестая, седьмая и одиннадцатая, посвященные революционному и социалистическому движению Европы в 30-е и 40-е годы, в частности, Вейтлингу, Марксу и Энгельсу, для сколько-нибудь подготовленного читателя представляют в значительной своей части лишний балласт и с удобством могли бы быть сокращены. Впрочем, оправданием автору может служить именно пестрота нынешних читателей, многие из которых, заинтересовавшись Бакуниным, попутно узнают много для себя нового и интересного о европейском социализме первой половины прошлого века. В частности, новые и интересные (для всякого читателя) данные сообщает автор об отношениях Бакунина и Вейтлинга.

Литературный и архивный материал о Бакунине использован автором с небывалой до сих пор полнотой. Для характеристики Бакунина он изучил не только его «Исповедь» (это сделал и Стеклов), имеющую огромное биографическое и историко-общественное значение, но и все хранившееся в архиве Деп. Полиции «Дело о Бакунине» и извлек оттуда много ценного и поучительного.

Большой научный интерес придают книге многочисленные библиографические и историко-критические примечания, выделенные в конце книги и занимающие целых 60 страниц. Именно в этих примечаниях особенно видно стремление автора прежде всего выяснить истину, не считаясь с установившейся традицией. В этом отношении большой исторической заслугой автора является разоблачение всех неточностей Герцена, который для огромного большинства биографов Бакунина (в том числе отчасти и для пишущего эти строки) считался почти непогрешимым источником [1]).

Серьезным недостатком для такой обширной и обстоятельной монографии является некоторая биографическая неполнота. Недостаточно использованы для детских и юношеских годов Бакунина незаменимые материалы Корнилова. Пропущен такой интересный момент, как свидание Бакунина с Марксом в Берлине осенью 1848 г.,—свидание, на котором состоялось их внешнее примирение после клеветнической корреспонденции «Новой Рейнской Газеты».

Зато, конечно, как и следовало ожидать, с особенной полнотой останавливается В. П. Полонский на излюбленном им вопросе, дебатировавшемся в ряде публичных дискуссий,—о «падении» Бакунина, его «Исповеди», покаянном прошении Александру II, поведении в ссылке, вообще, на «крепостных и сибирских годах Бакунина». Здесь точка зрения автора, после всех предварительных дискуссий, представляется нам довольно близкой к истине. Несомненно, Бакунин в «Исповеди» отчасти, действительно, каялся, отчасти сознательно (и в то же время необыкновенно умно и тонко) лицемерил. Зато в поведении его в Иркутске, нам кажется, автор не подметил той же двойственности: в борьбе с Петрашевским и другими ссыльными в Бакунине мог говорить не только опустившийся обыватель, племянник сановного дяди, но, м. б., и просыпавшийся общественный деятель, которому созданная его воображением будущая роль Муравьева казалась более важной, чем мелкие иркутские дела.

Вообще, автор не подметил или не оттенил в своей работе той двойственности характера, которая отличает Бакунина всю его жизнь, с самых

---

[1]) Попутно отметим дважды повторенную в этих примечаниях хронологическую неточность: и на стр. 381 и на стр. 397 знаменитая корреспонденция из Парижа в газете Маркса, бросавшая на Бакунина подозрение в шпионстве, отнесена к 1849 г. («т.-е. через год с лишним после февральской революции», добавляет на стр. 381 В. П. Полонский), между тем как она появилась 6-го июля 1848 г., как сообщает сам автор на стр. 208.

юношеских лет и до смерти. Это смесь фанатизма с своеобразным «себе на уме» искренности с лицемерием, доходящим до способности к самым некрасивым обманам. Это лицемерие сквозит уже в ряде писем Бакунина к отцу в последние годы его жизни в России. Оно особенно ярко вскрывается в его отношениях к Нечаеву (если, действительно, Бакунин был автором нечаевского «Катехизиса»). Наконец, эта двойственность видна в той легкости, с какой Бакунин не раз давал и нарушал честное слово. Без понимания этой **сложности** его натуры, нельзя до конца об'яснить все особенности его «падений», в том числе и самых главных, его писем и прошений к царям.

Издана книга прекрасно, по нынешним временам почти роскошно. К ней приложен портрет Бакунина 40-х г.г., факсимиле его «прошения» Александру II, отрывков «Исповеди» и обложки архивного дела о нем. Мы искренно желаем ей самого широкого распространения.

**Б. Горев.**

---

**«Архив русской революции»**, издаваемый И. В. Гессеном. Т.т. III и IV. Берлин 1921—22 г.г.

Издается «Архив» очень хорошо: солидная обложка, хорошая бумага и шрифт, а раскроешь этот большой том в 17—18 печ. л.—тоска зеленая. По существу же это не «Архив» и не «русской революции», а «странноприимный дом» для деятелей русской контр-революции, в котором мирно уживаются обывательская сплетня со злобной клеветой на революцию и (в лучшем случае) — скучное пережевывание старого, всем давно известного.

Народу российского, обиженного богом и Советской Республикой, накопилось сейчас по ту сторону видимо-невидимо и многие из них, если еще и не состоят в так называемом «мемуарном возрасте», все же, по доброму примеру почтенной мадам Гиппиус, считают своей обязанностью писать дневник, дабы и свою лепту внести в «историю». Да и многим из них сейчас за границей и нечего, пожалуй, и делать больше, как мемуары писать. Да Гессен, вдобавок, так нетребователен и очень охотно помещает всякую обывательскую болтовню. Почему бы, собственно, и не писать воспоминаний?

III и IV тома «Архива» не лучше и не хуже предыдущих.

Открывается третий том обширной статьей б. полевого военного прокурора Архангельского правительства С. Добровольского «Борьба за возрождение России в Северной области», в которой автор пространно рассказывает о том, как «искренно и честно была произведена попытка возрождения России на началах правового строя и демократического режима, положенного в основание бытия всех европейских стран».

Много интересных подробностей мы узнаем здесь о деятельности местных эс-эров (торговля из-за портфелей с местной буржуазией, угодничество перед всесильными англичанами и проч.). Многое из рассказов автора уже известно из ранее опубликованных документов, многое стало известным широкой аудитории во время процесса эс-эров, но коечто любопытного можно найти и здесь, так как Добровольский весьма словоохотлив и многие «секреты» открывает запросто.

С горечью повествует автор о целом ряде восстаний в белых армиях, при чем расследованием каждый раз устанавливалась «строго разработанная система коммунистических ячеек, находившихся в непрерывной связи с неприятелем». О том, как ликвидировались эти восстания, благоразумно умалчивается, по рассказывать об этом, пожалуй, бесполезно, ибо все это слишком хорошо известно.

Любопытны соображения автора по вопросу о постановке просветительной работы в белых армиях. «Обращаясь к вопросу об организации на фронте агитации и пропаганды с целью борьбы с большевистской агитацией и внедрения в солдатские массы разумных государственных идей, необходимо с грустью признать, — повествует автор, — что это дело было поставлено у большевиков гораздо лучше, чем у нас. Противник

лучше нас знал и понимал, с кем имеет дело и бил нас в этой области на каждом шагу». Интересно, что подобные признания приходилось слышать нам не раз от наших противников. Так, во втором томе «Архива» о том же с горечью рассказывает Ал. Дроздов, где упоминает о постановке этого дела в Осваге у Деникина.

Воспоминания М. Смильг-Бенарио — «На советской службе» посвящены его впечатлениям во время пребывания (в 1918—19 г.г.) на посту председателя Петербургской Комиссии по трудовой повинности. Автор был в Комиссии в качестве представителя Военного Комиссариата и, работая все время вместе с т. Позерном, был в начале своей деятельности, как он уверяет, искренно предан Советской власти. Но, видимо, отсутствие настоящей политической выдержки и какой-либо точки зрения на развертывающиеся события — сделали свое дело. И автор рассказывает шаг за шагом о своих «разочарованиях» и «недоумениях», не будучи, видимо, в силах посмотреть на окружающее не по обывательски, а шире и глубже.

В те тревожные, особенно для Петербурга, годы (конец 18 и нач. 19 г.г.) северная армия нуждалась в людях для выполнения различных работ на фронте. Когда командующий 6 армией затребовал из Петербурга рабочих, было решено мобилизовать нетрудовые элементы и отправить их для работы на фронт. Совершенно естественно, что в этой обстановке мобилизация буржуазии сопровождалась иногда эпизодами, далекими от какой-либо «правомерности», и что были допущены при этом злоупотребления. Описанием злоупотреблений полны воспоминания автора, рассказывающего обо всем простодушным тоном наивного обывателя, твердо верующего в то, что в эпоху революции должны строго соблюдаться все нормы законности. И если нормы эти где-либо нарушаются, то автор сокрушенно заносит это в свой дневник с примечанием, что в этой обстановке «беззакония» он работать не в силах и т. д.

Кончил г. Смильг-Бенарио так же, как и его предшественник по «Архиву» г. Раппопорт (т. II «1½ г. в Советском главке») — бежал из Советской России с тем, чтобы потом, под гостеприимным крылышком у Гессена, поведать всему миру об этих ужасных злодеях. Надо, впрочем, отдать справедливость г. Бенарио: он, видимо, значительно порядочнее Раппопорта, который, не стесняясь, развязно рассказывает о гадостях, творившихся им во время пребывания на Советской службе.

Остальное в III томе относится еще больше к типу «мемуарной» литературы, носящей в значительной степени личный характер и мало интересной по существу. Здесь—воспоминания Андрея Левинсона—«Поездка из Петербурга в Сибирь в январе 1920 г.», Л. Л-ой «Очерки жизни в Киеве в 1919—20 г.г.» и, наконец, «Екатеринославские воспоминания» Г. Игренева.

IV том «Архива» еще менее содержателен и, пожалуй, просто скучен.

Статья Александра Блока «Последние дни старого режима» печатается уже в третий раз (у нас помещена была в «Былом» и вышла отдельной книжкой). Написанная очень сухо, статья покойного поэта не внесла по существу ничего нового в историю первых дней февральской революции.

Центральное место занимают в IV томе воспоминания нар. соц. А. Демьянова «Моя служба при Временном Правительстве». Очень обширные по размерам своим, воспоминания эти, написанные тяжелым и скучным языком, все же чрезвычайно интересны, как человеческий документ. А. Демьянов стоял продолжительное время очень близко к правительству Керенского (одно время был тов. министра юстиции).

Автор—типичная бюрократическая душа. Воспоминания его полны рассказами об устроении «приятелей», назначениях, перемещениях и повышениях по службе. Вызывает улыбку серьезное повествование этого «социалиста» о том, как приходилось церемониться со старыми «заслуженными» чиновниками мин. юстиции. Об известном Рейнботе он рассказывает, что отстранить его от занимаемого

им ответственного поста председателя Петербургского Окружного суда было «неудобно» и пришлось «перевести его в Сенат на место тов. обер-прокурора уголовного кассационн. департамента, что явилось повышением по службе».

Очень интересен эпизод с арестом одной фронтовой военно-политической организации ген. Долгорукова. Этот генерал был отпущен под условием, чтобы при допросе его в Петрограде был допущен представитель этой организации. Демьянов с негодованием рассказывает об этом случае, где ему, «в угоду бессмысленной черни» (подлинные слова этого почтенного «социалиста»), ставилось условие, являющееся по существу «вмешательством в дела правосудия».

Рассказывает он также с сокрушением о своей ошибке, когда он освободил арестованного тов. Троцкого и как мин. вн. дел. Никитин (с.-д.) выразил ему по этому поводу свой протест.

Этот махровый бюрократ, берущий в кавычки слово «товарищ», дослужился в конце концов до высоких чинов и был назначен председателем малого Совета Министров. Здесь он почиет на лаврах и с упоением рассказывает о том, как прекрасно работала его канцелярия: «Все чиновники работали усердно. Напомню, что вся канцелярия состояла из бывш. служащих императорского правительства, людей все молодых и из крупной старой бюрократии».

В статье имеется много интересных мест, характеризующих всю беспомощность и дряблость этих людей, пытавшихся во имя демократии править «бессмысленной чернью».

Остальное в IV-м томе лишено какого-либо общественного интереса. Здесь мы находим мемуары Ал. Синегуба—«Защита Зимнего дворца»—довольно занятный рассказ от том, как сей муж с подчиненными ему юнкерами, защищал, вместе с женским легионом, в октябрьские дни Зимний дворец.

Стоит ли еще упоминать о воспоминаниях баронессы Врангель (матери славного генерала)—«Моя жизнь в коммунистическом раю», где эта престарелая дама, не гнушаясь клеветой, рассказывает о своей жизни в Петербурге до конца 20 г., когда ей удалось бежать. (Эти баронессы, видимо, в большом фаворе у Гессена: и во II-м томе «Архива» такая же почтенная дама, баронесса Фрейтаг-фон-Лорингофен, помещает с серьезным видом свою обывательскую болтовню.

В том же духе заметки Р. Донского «Из Москвы в Берлин в 1920 году» и «Дневник обывателя»—некоего А. Б.—вещи, лишенные какого-либо интереса.

Почему гессенское издание называется «Архивом русской революции»—остается для читателя, даже непредубежденного, совершенно непонятным. Это можно назвать скорее «Сборником мемуаров и дневников» всех тех, кто считает себя глубоко уязвленным революцией. Вся пишущая эмигрантская контр-революционная интеллигенция имеет широкую возможность на страницах «Сборника» поведать миру о своих огорчениях. И нигде, может быть, так ярко не выявляется политическое убожество и недомыслие этих запутавшихся людей. Может быть, эти сборники и представят для будущего историка некоторый интерес. Для нас же, современников, это стократное пережевывание старого—просто скучно.

З. Маркович.

**«Русская жизнь».** Альманах. Выпуск I-й. Непериодическое издание, посвященное вопросам общественным, экономическим и культуры. Харбин. Май 1922 г.

В предисловии авторы, заявляя, что они, не принадлежа к одной какой-либо партии, говорят:

«Прежние направления и партии исчерпаны в их идеологическом значении и социальных основаниях. Великие перемены в социальном и политическом устройстве России укажут и новые водоразделы в новых берегах жизни» (Предисловие).

Авторов альманаха об'единяет национально-государственное сознание и абсолютный патриотизм вне отношения к той или иной власти. Их роднит сознание о том, «что старая Россия умерла и что по-

пытки гальванизировать все отмершее стоят напрасной и тяжкой помехой на крестном пути новой, рожденной в муках России». (Предисловие).

Первый выпуск возглавлен статьей проф. Н. В. Устрялова (того самого, который дал прекрасную статью «Patriotica» в «Смене Вех»): «Потерянная и возвращенная Россия», в которой автор характеризует русскую революцию, как «Великую», по ее социальному размаху, мировому значению, органическому характеру и реальному содержанию без отношения к «зенитным» программам. «Ярко национальная значимость» революции сказалась в особенности в Генуе, и революционизированная нация все более национализирует революцию. Душа нации—армия, и при помощи ее нация борется за независимость, подобно французскому Конвенту. Абстрактные идеи ищут конкретной базы и находят ее в Нэпо, которое поведет и к правовому закреплению экономического сдвига.

Таково общее содержание этой любопытной статьи.

Е. Яшнов в статье: «Мысли о революции» говорит об отсутствии об'ективности в оценке революции в обоих враждебных лагерях, и «подлинной шуткой дьявола» называет тот факт, что некоторые патриоты сражались против России вместе с Польшей и Японией. Интересы родины он ставит выше данного исторического момента. Он сочувственно цитирует статью К. Зайцева из зарубежной «Русской Мысли» (март 1922 г.), где проводится аналогия с Францией эпохи Конвента, пафос которой, как и нашей эпохи, заключается в переходе земли к крестьянам. Посему в русской революции—великий исторический смысл, вопреки мнению П. Струве в той же «Русской Мысли», который не видит его в русской революции.

Н. Зефиров в статье: «На очередные темы» надеется, что сдвиг в области экономической политики,—в особенности, намечающееся стремление создать прочное и устойчивое крестьянское земельное владение (проект аграрного уложения Наркомзема)—поведет хотя и медленно к восстановлению сельско-хозяйственного производства—этой основы обрабатывающей промышленности. Главное, по мнению автора, «не мешать (курсив его) крестьянину развить максимум хозяйственной энергии»...

Б. Борисов в статье: «Исторические аналогии» проводит любопытную параллель между английской революцией 1648 года, французской 1789 года и нашей. Английская революция шла от конституционной партии к круглоголовым, индепендентам и Кромвелю, ставшему диктатором. Французская шла через Генеральные Штаты к жирондистам, якобинцам, с Робеспьером во главе, и Наполеону. При этом революция сбрасывала с себя идеологический флер и — автор цитирует Минье—становилась с каждым днем «все более и более материальною». На шестом году и русская революция, подобно своим предшественницам, становится «все более материальной», отмечает автор.

Представляет также интерес статья Дикого «Экономическая политика России», где автор, констатируя удовлетворительность курса Нэпо для промышленности, считает, однако, что разрешения кризиса надо искать в сельском хозяйстве, которому должен быть дан «полный простор» (курсив автора), чтобы наш крестьянин мог «стать фермером».

Все это очень интересно и написано живо и талантливо.

Остальные статьи имеют более специальный интерес.

**В. Ч.**

---

**«Природа».** Популярный естественно-исторический журнал, под редакцией проф. Н. К. Кольцова, проф. Л. А. Тарасевича и акад. А. Е. Ферсмана.

Год издания 9-й и 10-й, 1921 г. № 4—6 и № 7—9, стр. 91 и 96.

С глубокою радостью приветствуем мы постепенное возрождение «Природы»: после длительного состояния полного или частичного «анабиоза», она вновь начинает, повидимому, регулярно выходить в

свет, в связи с изменившимися условиями книгопечатания.

С начала года мы имеем в течение 4 месяцев уже 3 выпуска этого единственного в России журнала. Вместе с тем журнал и по своему внутреннему содержанию приобретает прежний облик: в последних двух выпусках читатель найдет много свежего и ценного материала, позволяющего читателю держаться в курсе последних новостей науки.

Содержание 4—6 № журнала составляется из следующих статей:

1) проф. Н. К. Кольцов. О наследственных химических свойствах крови,—небольшая, но весьма интересная статья, ставящая важные вопросы как чистой, так и прикладной биологии.

2) Сушкин проф. П. П. Облик фауны Восточной Сибири и связанные с ним проблемы истории земли—интересный очерк зоогеографического характера.

3) Проф. А. А. Петровский. Радиотехника, ее современные успехи и будущие перспективы.

4) Д-р Подъяпольский. Два слова о возвратном и сыпном тифе.

Эта коротенькая историческая справка имеет гораздо более широкий интерес, чем можно заключить из сухого заголовка ее: она напоминает о двух наших подвижниках науки проф. Минхе и д-ре Мочутковском, которые, сознательно впрыскивая себе первый—кровь возвратно-тифозного, а второй сыпно-тифозного больного, уже начиная с 70-х годов прошлого столетия, создали базу для современного учения о способах заражения этими болезнями и даже о роли насекомых в их передаче.

Только типично-русские условия, до сих пор не изжитые нами, могли повести к тому, что мы вспоминаем об этих работах только теперь, когда учение об этиологии этих болезней и практика дезинсекции пришли к нам вновь, как последние «новости» западной науки!

Вот почему нам кажется, что эта заметка, весьма поучительная именно теперь, когда мы все с тем же старым скепсисом к своему русскому, усиленно обсуждаем работы западных ученых и недооцениваем новейших русских работ И. П. Павлова, Н. П. Кравкова, Баха А. Н. и других.

5) Шарвин. Органик—классик (памяти Ад. ф. Байера † 20 VIII 1907 г.)—интересная биографическая статья, восстановляющая крупную фигуру одного из крупнейших современных химиков.

6) Проф. В. И. Исаев. Новости заграничной биологической литературы, статья 2-я.

Этот обзор, вынесенный в конец отдела статей петитом, представляет для нас, пожалуй, наибольший интерес во всем выпуске. В нем приводится подробное изложение последних успехов, так называемой экспериментальной биологии, главным образом в ее отделах, связанных с проблемою предопределения пола и наследственности. Новейшие работы Гольдшмидта составляют центральный пункт этой 2-й статьи. Здесь же читатель найдет также не безынтересные справки о «военной истории» американцев, продержавших в концентрационных лагерях попавших туда на свою беду немецких ученых (в том числе Г. Гольдшмидта, Эрдмана и др.), а равно и интересные иллюстрации того, как мировая война отразилась на условиях работы и направлении мышления некоторых крупных ученых авторитетов Запада (Ферворн, Циглер, Шальмайер и другие).

При понятной потребности русского читателя познакомиться с состоянием биологической науки Запада, эта сводка Исаева представляет широкий интерес не только для специалиста-ученого.

Этот обзор Исаева продолжается и в следующем выпуске журнала № 7—9, где он сохраняет все тот же характер свежести и современности. Здесь читатель найдет краткое обозрение дошедших до нас из Германии книг-монографий по вопросам, смежным с проблемами экспериментальной биологии и эволюционного учения. Интересны справки о повторяющихся неудачных попытках развенчать теорию Дарвина (одна из таких попыток исходит от известного и России биолога О. Гертвига), а также характеристика современного состояния вопроса о «законах менделистической наследственности».

В отличие от еще недавних увлечений крайнего «менделъянства», которые разделял и сам В. Н. Исаев, теперь он иначе и—с нашей точки зрения—гораздо более правильно суммирует итоги современного положения вопроса:

В настоящее время невольно опять возникает вопрос: существует ли на-ряду с менделистическим типом наследственности какой-нибудь иной тип и иные законы. Все, что мы знали до этого времени, говорило за то, что никакой иной наследственности не существует и что все факты, которые причислялись к так называемой постоянно промежуточной наследственности, при детальном разборе оказывались лишь более сложными случаями той же менделистической наследственности».

«Однако, в связи с тем, что мы говорили выше о наследственном веществе, может быть, придется пересмотреть и этот вопрос. Может быть на-ряду с менделистической, ядерной наследственностью, сопровождаемой явлениями расщепления, мы сможем говорить об особой протоплазматической наследственности без всяких расщеплений».

(«Природа» № 7—9, стр. 78—79).

Это весьма симптоматичное признание является, повидимому, первым предвестником того, что естественный первоначальный прилив увлечения менделистическими формулами, когда многим казалось, что Мендель окончательно затмит собою Дарвина, сменяется более трезвой и спокойной оценкой фактов.

Из других статей этого № (№ 7—9) особый интерес, с нашей точки зрения, представляет статья: 5) Любарский В. А. «О недоедании, как факторе, создающем предрасположение к некоторым заразным болезням».

Эта статья переносит вопрос из плоскости предположений, давно высказывавшихся, в область точно установленных фактов и выделяет группу болезней крови, как наиболее благоприятствуемую, голоданием организма. Вместе с тем статья, с одной стороны, пытается дать теоретическое истолкование и анализ этого явления, а с другой стороны, ставит проблемы общественно-санитарного порядка, чем усиливается ее ценность.

В остальном № составляется из следующих статей:

1) Воборицкий. Спектроскопический метод определения звездных расстояний.

2) Зелигман. О ритме в природе—эта вторая статья не показалась нам яркой и убедительной и в основе своей имеет ряд спорных положений.

3) Федоров Е. Е. Влияние вулканической пыли на приходо-расход лучистой энергии и температуру воздуха.

4) Кулагин Н. М. К истории фауны Европейской России.

5 и 6) — отмеченные статьи Любарского и Исаева.

7) Петровский. Новые книги по радио-технике—дает интересный и несомненно ценный для специалистов обзор поступившей в Россию радио-технической литературы.

Оба реферируемых №№ журнала заканчиваются весьма ценным отделом «Научных новостей и заметок». Этот отдел особенно богат новостями из области геолого-минералогических наук, которые ведутся энергичным редактором журнала академиком А. Г. Ферсманом.

В заключение мы можем сказать: журнал «Природа» начинает снова оживать и наливаться свежими силами и «новостями». Залог ее дальнейшего существования в трех моментах: 1) в нормальных или хотя бы в мало-мальски терпимых условиях книгопечатания; 2) в непрекращающемся доступе западно-европейских научных книг и журналов, и 3) в том, чтобы вновь нашлись те круги друзей—читателей журнала, которые оправдали бы его существование и использовали его богатое содержание. Мы были бы рады, если бы наша заметка помогла журналу хотя бы в этом последнем: свела бы и познакомила с журналом как истинных любителей природы, так и тех практиков жизни и общественной деятельности, которые в своей работе ищут опоры в фактах и выводах естествознания.

Б. Завадовский.

**П. П. Маслов** «Мировая социальная »облема». Харбин 1921 г.

В своей книге «Мировая социальная юблема» П. П. Маслов ставит вопрос о лиянии процесса потребления на развие производительных сил, а следователь-», и всего народного хозяйства. По его тению, не только капиталистический ір, но и советский строй в России не шел дальше вопросов распределения, и ммунистов он упрекает в том, что они выдвинули на первое место вопросов оизводства продукции, а занялись вою́сами распределения. Петр Маслов ет дальше и уверяет, что не только на актике, но и в теории эти вопросы ним абсолютно не ставились, и он смело рет в этом деле пальму первенства.

«Ни Маркс, ни другие социалисты,—горит он,—даже не поставили вопроса о м, какие же изменения должны проойти, по их мнению, в народном хозяйве, чтобы положение народных масс йствительно улучшилось, чтобы производительные силы страны не падали, а звивались» (91 стр.).

По мнению П. Маслова, никто не учивал, не знал и не понимал всей важости проблемы потребления и соответвующего развития производства.

«Социалисты до сих пор обращали вниж з на проблему распределения потог, что при развитии капитализма ярче его бросалось в глаза коренное противоечие между ростом производительных іл, ростом роскоши имущих классов и іщетой населения» (стр. 113).

Свою книгу П. Маслов начинает главой в известной степени религиозного свойва: «элементы веры в социализме» и в льнейшем претендует на откровения, в торых он выступает первым пророком. днако грешная действительность говот иное, чем то, что утверждает П. Масов. Вопросы производства, вопросы распеделения рабочих сил, вопросы потреения в связи с повышением производиельности—выдвигались нами задолго до кровений П. Маслова не только в теоия, но ставились на практике в течение ех этих лет. Это, конечно, отнюдь не начает, что мы нашли на это ответы и законы на все времена. Практика дала почувствовать всю тяжесть и трудность их решения.

Наша программа вполне определенно и ясно говорит, что именно производство и повышение производительности являются основным вопросом во время диктатуры пролетариата, а не распределение. Да и сам П. Маслов указывает в конце книги на «...стремление коммунистов под влиянием опыта подчинить проблему распределения проблеме продукции» (стр. 198). А это в его устах—большой комплимент. Но этот комплимент запоздалый и никчемный: нашим добром нам же челом. В смысле общей постановки—вопрос о производстве, о его превалирующей роли—мы знали раньше П. П. Маслова.

Но дело заключалось в **практике**, каковую приходилось делать в атмосфере гражданской войны, в условиях «осажденного лагеря». Тут общими постановками вопроса не отделаешься. На них далеко не уйдешь.

И вот эту сторону вопроса П. П. Маслов не понимал и не понимает.

Ошибочность подхода П. П. Маслова к поставленным вопросам заключается прежде всего в той «надклассовой», а по существу буржуазно-реформистской позиции, с которой он рассматривает и анализирует эти вопросы. В этом отношении Петр Маслов в своем роде так же типичен, как Петр Струве. Последний—откровенный сторонник и защитник капитализма. Во время империалистской войны П. П. Маслов, как известно, был одним из самых ярых оборонцев. Он оправдывал «военные цели» своей буржуазии и добросовестно и «научно» ругал «чужую». Он был противником октябрьского переворота, т. к. уже давно отошел от понимания революционной классовой борьбы пролетариата и захвата власти. И теперь в области чисто экономических вопросов он становится по существу на сторону класса капиталистов, опирается на силу капиталистического строя, чтобы критиковать попытки его изменения. Но эту свою позицию он старается прикрывать и затушевывать видимым «об'ективизмом» и личиной «внеклассового беспристрастия».

С такой методологией далеко не уйдешь и не нащупаешь верной дороги. Даже те полезные и верные указания, какие имеются в книге и на которых мы дальше остановимся, в значительной степени обесцениваются этой водой.

«На-ряду с классовыми противоположными интересами,—говорит он,—можно иметь в виду интересы хозяйственного развития, которые один класс не всегда может противопоставлять интересам другого класса. При капиталистическом строе класс капиталистов также может быть заинтересован в развитии народного хозяйства, как и класса рабочих. Классовые интересы рабочих, т.-е. интересы распределения в их пользу, больше связаны с интересами развития хозяйства только потому, что рабочие заинтересованы в сокращении и уничтожении непроизводительного потребления, ради которого в конечном счете ведется капиталистическое хозяйство. Поскольку рабочий класс подчиняет интересы распределения интересам продукции, т.-е. свои классовые интересы настоящего интересам хозяйственного развития, интересам будущего, постольку он может стать носителем экономического прогресса и нового социального строя.

Таким образом крайне ошибочно отождествлять классовые интересы (интересы распределения) настоящего с интересами хозяйственного развития (будущего), потому что при распределении национального дохода интересы различных классов (напр., рабочих и предпринимателей) противоположны, а в хозяйственном развитии могут быть заинтересованы классы с противоположными классовыми интересами. Если это так, то и классовые интересы настоящего рабочих и классовые интересы буржуазии и других классов должны быть подчинены интересам развития народного хозяйства и не может быть допущено, например, также распределение национального дохода, чтобы какой-нибудь класс потреблял больше, чем производится, так как от этого пострадают интересы развития хозяйства, т.-е. будущего всего общества» (стр. 208) (курс. первых строк—автора, последних—мой. В. М.).

Такова основа, на которой возводит П. Маслов свою теорию. Нетрудно видеть, что здесь устраняется совершенно анализ об'ективного закономерного развития общества и революционной борьбы классов и подменяется отвлеченной по существу теорией экономической целесообразности. Об'яснение классовых интересов и классовой борьбы только вопросами распределения—совершенно неверно. П. Маслов воображает, что он в этом отношении делает шаг вперед по сравнению с Марксом, на самом деле, он тянет назад. Производственные отношения, которые «составляют экономическую структуру общества» и определяют классовую борьбу, и самые классовые интересы, как совокупность экономических и политических требований в понятии Маслова низводятся и «упрощаются» до борьбы только в области «распределения». Еще хуже обстоит дело с той частью, где Петр Маслов находит примирение классов, «общность их интересов», общность интересов капиталиста и рабочего, воодушевленных интересами развития народного хозяйства. Это—все та же несчастная теория «оборонцев» всех стран, которая заставляла их об'единяться во имя интересов защиты родины в «священный союз» с своей буржуазией. Тут, в области экономической та же проповедь «священного союза»—только во имя интересов развития «народного хозяйства» в рамках капитализма. Нужно ли говорить, что здесь та же сдача позиций капитализму, то же соглашательство с ним, какое позорной тенью легло на рабочее движение в эпоху империалистской войны, благодаря вождям II-го Интернационала. П. Маслов не понимает простой вещи: политика рабочего класса одна, когда он подчинен, а господствует класс капиталистов, и другая, когда он берет власть в свои руки и об'являет диктатуру пролетариата, а оставшиеся в известной части капиталисты—ему подчинены. Раз произошло изменение соотношения сил, создались иные об'ективные условия, нужна иная линия политики. Когда пролетариат у власти, когда в его руках средства производства, когда он руководит всей общественной жизнью,—тогда он может и должен использовать и капиталистов в

интересах всего народного хозяйства, уметь заключить с ними договор, а если нужно, то и союз, даже прилежно «учиться» у них по совету т. Ленина.

Для П. Маслова—это неважно, у него «общность интересов» при всех и всяческих условиях.

Тейлор, который сделал крайне ценные открытия в области трудовых процессов, в своих произведениях также недоумевает, как это могут быть противоположны интересы предпринимателя-капиталиста и рабочего, и склонен об'яснить это печальным недоразумением. Потому П. Маслов приходит и к отрицательным выводам относительно классовой борьбы, беря за одни скобки и рабочих и капиталистов и стараясь доказать, что они неправы, борясь между собой. Это у него звучит иногда весьма трогательно и до крайности наивно.

«Каждый общественный класс,—по заявлению П. Маслова,—предполагает, что увеличение его дохода зависит от уменьшения доли другого класса, которая получается из национального дохода. Поэтому рабочий класс полагает, что его заработная плата уменьшилась во время войны, благодаря высоким прибылям предпринимателей, между тем, как последние, в свою очередь, об'ясняют уменьшение национального капитала, который находится в их руках, излишним потреблением рабочих и их высокой заработной платой. Заблуждение и тех и других происходит благодаря тому, что общественные классы, занятые борьбой из-за величины своей доли в национальном доходе за счет доли другого класса, так же, как экономисты, не обращают внимания на то, как потребляется национальный доход» (стр. 83).

То ли дело, если бы они помирились, согласились и договорились, тогда бы они могли по всем правилам масловского искусства поделить между собой национальный доход и очевидно общими соединенными усилиями развить производительные силы народного хозяйства дальше. П. Маслов эту реакционную, ненаучную, утопическую точку зрения преподносит с безмятежностью человека не от мира сего: правда, всего лишь через одну страницу он пишет:

«Каждая из трех частей, на которые распадается национальный доход: (a) потребление рабочих и крестьян; b) затрата на средства производства; c) потребление капиталистов. В. М.) может быть увеличена или на счет остальных двух частей, или на счет общего увеличения ее производительных сил» (85 стр.).

Последнее было бы верно только в том случае, если бы класс капиталистов представлял из себя тех скромных, добродетельных, альтруистических ягнят, как это воображает Петр Маслов.

Упрекая рабочих в их стремлении путем классовой борьбы, стачек, революций увеличить свою долю в национальном доходе, П. Маслов естественно должен был похвалить капиталистическую систему за ее стремление обуздать эти аппетиты рабочих в интересах «общего» развития народного хозяйства.

«... из существовавших до сих пор систем организации хозяйства, хотя бы с идеальным распределением дохода, капиталистическая система наиболее интенсивно исполняла основное условие, необходимое для развития хозяйства—накопление орудий и средств производства для расширенного воспроизводства за счет личного потребления. Эту задачу не может осуществить мелкое хозяйство при самом идеальном демократическом строе, эта задача не может осуществиться и после социальной революции (99 стр.).

П. Маслов извращает смысл классовой борьбы рабочих и социальной революции, давая ей вульгарный лозунг—«бери все для своих личных потребностей». Для чего это ему потребовалось? Единственно для того, чтобы оправдать свою позицию отрыва от интересов, целей и задач этой борьбы и выставить свой «научный об'ективизм».

Нужно ли теперь доказывать значение классовой борьбы, ее цели, задачи после целого ряда десятилетий развития и углубления ее, в момент, когда она на наших глазах превратилась в социальную революцию, когда диктатура пролетариата в Советской России есть факт, от которого не уйдешь и никуда не спрячешься.

Поэтому странен поучающий тон П. Маслова, говорящего, что:

«Коммунизм как раз начал в 1917 году с такого решения социальной проблемы, которое предлагают с.-ры и социал-демократы через 2—3 года опыта—с увеличения личного потребления, но коммунизм опытом управления пришел к признанию необходимости увеличения продукции, хотя бы путем интенсификации труда» (121 стр.).

Отрешиться от классовой борьбы и решать вопросы повышения продукции, не учитывая классовых отношений, это означает вдаться в чистейшую отвлеченность.

Даже в условиях диктатуры пролетариата, когда последний является господином положения, при управлении—пролетарская власть должна свою экономическую политику строить, учитывая экономические требования других классов.

Развитие, например, крестьянского хозяйства требует существенных отступлений от общих экономических принципов, проводимых пролетарской властью. По окончании гражданской войны нам пришлось считаться с этим и перейти к продналогу, свободному рынку и т. п.

Основное теоретическое положение, устанавливаемое П. П. Масловым, заключается в том, что «распределение производительных сил страны находится исключительно в зависимости от характера потребления национального дохода, хотя нельзя отвергать и обратную зависимость характера потребления и организации производства» (41 стр.).

Как видим, эта формулировка не отличается большой ясностью и определенностью. Будучи в своей первой части вполне категорична, она во второй имеет такую оговорку, что подрывается в основе ее положительное утверждение.

Но все же вся постановка вопроса по всей работе зиждется на первом положении:

«Во всяком случае, — говорит дальше Маслов,—законами потребления определяется характер распределения производительных сил, и поэтому изучение хозяйства приходится начинать с изучения законов потребления, как общих законов во все периоды развития хозяйства» (стр. 42).

Подобная постановка вопроса несомненно приводит П. П. Маслова полностью в об'ятия австрийской школы. В этом положении заключается главное «открытие» П. П. Маслова, увлекающее его на путь идеалистической методологии, при рассмотрении экономического развития.

Именно австрийская школа поставила основой экономической жизни законы потребления. П. Маслов лишь лицемерно отмалчивается по этому поводу. Т. Бухарин, давший превосходный разбор австрийской школы в своей книге «Политическая экономия рантье», вполне правильно указывает, что:

«В то время, как Маркс рассматривает общество, прежде всего, как «производственный организм», хозяйство, как «производственный процесс», у Бем-Баверка (и у всей австрийской школы. В. М.)—производство отступает на задний план и на первое место выдвигается анализ потребления, потребностей и желаний хозяйствующего суб'екта».

На этой позиции стоит П. П. Маслов. К чему приводит подобная точка зрения? Прежде всего к отрыву от анализа развития производительных сил, к отрыву от об'ективных условий развития организации труда и техники, к отказу от классовой точки зрения и к переходу в области «психо-физиологических переживаний», к переходу на суб'ективную точку зрения. П. Маслов ушел и от социализма и от марксизма и на практике и в теории.

Однако в его книге есть что следует принять во внимание. Его указания на то, что в нашем советском хозяйстве был уклон в сторону «непроизводительного потребления», — несомненно правильны. Исторически и политически увеличение «непроизводительного потребления» в первые годы диктатуры пролетариата в Советской России было неизбежно.

Это—«издержки революции», на кото-

рых подробно остановился т. Бухарин в своей книге.

«Что переход к новой структуре,—говорит он,—которая является новой «формой развития» производительных сил, немыслим без временного понижения производительных сил, должно быть ясно само собою.

И опыт всех революций, сыгравших колоссальную положительную роль именно с точки зрения развития производительных сил, показывает, что это развитие покупалось ценой иногда колоссального расхищения и разрушения их.

Иначе и не может быть, поскольку речь идет о революции. Ибо в революции «взрывается» «оболочка» производственных отношений, т.-е. людского трудового аппарата, что означает и что не может не означать нарушения процесса воспроизводства и, следовательно, разрушения производительных сил».

Для П. П. Маслова, стоящего по ту сторону добра и зла классовой борьбы и революции,—это непонятно. Но в констатации самого факта он прав, точно так же, как не приходится отрицать всех тяжелых последствий для народного хозяйства этих «издержек революции» и необходимости по возможности свести их к минимуму.

По этому пути ведет, если можно так выразиться, сама жизнь и по этому пути идет наша экономическая политика. Как только представилась возможность, мы в несколько раз сократили численность нашей армии. Энергично сократили и продолжаем сокращать наш государственный аппарат,—сводя его к необходимому минимуму. Целые категории служащих сняты с государственного снабжения. Все наше законодательство в области хозяйственной направлено за последний год к тому, чтобы увеличить производительность, уменьшить непроизводительное потребление и производительный труд.

Конечно, многого еще не сделано в этой части. Но внимательно прочитывая книгу П. Маслова, мы не нашли в ней новых полезных указаний для нас. То, что он говорит о сокращении непроизводительного труда и непроизводительного потребления, это—полезно и верно. Но конкретные его выводы не дают новых решений в деле поднятия производства и благосостояния страны. Правда, П. Маслов в утешение себе мог бы сказать—«об этом я говорил еще в 1919 г., а вы только теперь делаете!» Но увы!—это было бы только самоутешение! Пусть вспомнит П. Маслов, чем были для Советской России 1919 и 1920 г.г., и пусть он знает, что факты—упрямая вещь, а об'ективная действительность определяет нашу политику, нашу тактику и нашу теорию. То, что верно теперь, было бы ошибкой тогда, и наоборот.

Своей последней работой П. П. Маслов говорит, что он перестал быть не только социалистом, но и марксистом.

Минорной лирикой кончает он свою книгу, являющуюся печальным звеном его эволюции по тому пути, по которому до него прошли Булгаков, Туган-Барановский, Петр Струве и другие...

**В. Милютин.**

---

### Из новейшей литературы по научной организации труда.

Научная организация труда в XX в. опирается прежде всего на уже старую, сложившуюся науку. Ведь наука уже лежит в основе современной машинной индустрии. Техника последних двух столетий базируется на математическом естествознании, этом специфическом элементе цивилизации нового времени. Но для движения к научной организации труда и производства, характерно стремление выйти за пределы техники инструментов, машин, оборудования. Хотят подчинить науке новые области. Но для этого потребовалось создание новых наук и расширение старых. Создается особая наука—промышленная психотехника. С лихорадочной поспешностью и настойчивостью практиков культивируется отрасль старой физиологии, — физиология труда. На этом не останавливаются. Хотят включить в систему и именно в научную систему то, что до сих пор было по преимуществу делом таланта, искусства.

приобретавшегося долгим житейским опытом на основе не столько интеллектуальных, сколько волевых способностей. Поставлен был вопрос о создании науки об организации и управлении промышленного предприятия. Заменить искусство наукой, значит решить в определенной сфере трудную задачу, создать обобщающую науку о текучем и бесконечно индивидуальном. И вот эти книги об управлении промышленными предприятиями, не опирающиеся на специальные науки, а стремящиеся создать новую, наиболее характерны и интересны в обширной новейшей литературе о научной организации труда и производства.

Трудно и интересно осознать стиль этих книг. Прежде всего следует дать ряд отрицательных определений. Эти книги, трактующие о производстве, не занимаются технологией. Когда они говорят об организации, они ни в одном пункте не опираются на разработанные юридические дисциплины об организации человеческих обществ и союзов,—об управлении, как функции публично-правовой власти. В этих книгах говорится об экономике производительности, но вне связи с политической экономией. Правда, в этой литературе много места уделено проблемам бухгалтерии. Но бухгалтерия здесь уже теряет свои простые очертания учения о систематике счетов и книг и балансе и превращается в неопределенно широкую сферу выводов, на основе статистической обработки бухгалтерских записей, для удовлетворения разнообразных интересов промышленного администратора.

Современная заграничная периодическая пресса, посвященная вопросам организации производства, лучше всего вводит нас в этот стиль. Нужно дать чтение деловым людям, не выходя за пределы специальных интересов их делового дня. Появление такой прессы, конечно, возможно лишь при известном культурном уровне этого делового мира. И вот техника выявления общей мысли путем периодических изданий, дает возможность вырасти особой литературе. В основе это лишь информация о фактах, описание образцовых предприятий и образцовых приемов управления. В силу социологического закона подражания, эта периодическая и книжная литература является важным фактором отчасти в создании, но, главным образом, в распространении определенного нового типа промышленных предприятий, за которым и закрепляется термин «научно организованного и управляемого».

Литература, по единогласному отзыву всех библиографов движения, необозрима (по тем же причинам, по каким необозрима обще-политическая и общественная периодическая пресса). Но она достаточно типична. Укажем на некоторые из новейших и у нас менее известных книг:

1. H. B. Drury. Scientific Management. A history and criticism. II ed New-York 1918, p. 1—281.

(Друри. Научное управление. История и критика).

Содержание: Возникновение термина научное управление.—Ранние попытки решения проблемы заработной платы.—Генезис принципов научного управления.—Биографии лидеров движения.—Обзор образцов. предприятий.—Научное управление и производительность.—Научное управление, как решение рабочего вопроса.—Человеческий фактор.

Наиболее полная история вопроса. Критико-систематическая часть интересна в своих социально-экономических обобщениях. В технической стороне дела автор менее компетентен и поэтому более краток.

2. E. T. Elbourne. Factory Administration and Cost Accounts. London 1921, p. 811.

(Э. Эльборн. Управление промышленным предприятием и калькуляция).

Содержание: Общая администрация.—Управление производством.—Счетоводство и отчетность.

Книга по размерам и обстоятельности выделяется на фоне других. Чрезвычайная полнота описательных данных. Детальные данные о бланках, карточках, инструкциях и т. п., с приложением массы образцов.

3. **L. Dickseeand H. Blain.** Office organisation and management. Including secretarial work. London. 1920 p. 306.

(Дикси и Блэн. Организация и управление конторы).

Содержание: Подбор личного состава.—Распределение ответственности.—Департаментализация.—Корреспонденция.—Реклама.—Счетоводство.—Калькуляция.—Статистика.—Финансирование.—Балансы.—Контроль.—Таможенное законодательство.—Акционерные компании.—Законодательство о них и техника их работы.—Страхование.

Книга дает нам организацию конторы, а не завода (примерно,—фирмы, ведущей экспортную и импортную торговлю и имеющей склады на берегу Темзы в Лондоне). Интересно, как структура современного американского завода воспроизводится и в организации конторы (например, в вопросах распределения ответственности и роли «штаба»).

4. **Ida M. Tardell.** La règle d'or des affaires. Фр. перев. с англ. 1920, p. 290.

(Ида Тарбель. Золотое правило деловой жизни).

Содержание: Наши новые мастерские.—Социальная роль фабрики.—Евангелие охраны труда в промышленности.—Здоровье для всех.—Трезвость—прежде всего.—Хорошие квартиры создают хороших рабочих.—Рабочий день.—Заработная плата и труд.—Опыты справедливого распределения прибыли.—Организация ручного труда.—Наш новый тип промышленного деятеля.

Автор стремится показать социальное значение осуществляющейся в действительности новой организации труда. Основная мысль: охрана труда достигается как раз заботами иного порядка о поднятии производительности человеческого труда. Надо только глубже понять факторы этой производительности. Американская промышленность «испытывает молчаливую революцию. Эта революция концентрируется в организации труда и основывается на медленно выясняющемся положении, что дефекты и беспокойства в нашей промышленной жизни идут не от американского рабочего, а от предпринимателя».

5. **A. H. Church.** The proper distribution of expense burden. New York 1916. p. 144.

(Черч. Правильное распределение издержек производства).

Содержание: Связь общих расходов со штучной стоимостью.—Распределение издержек между отдельными изделиями.—Научная машинная плата и дополнительное начисление.—Классификация общих расходов по производству.—Массовое производство и новая машинная плата.—Распределение расходов на контору и продажу.

В кратком изложении дается представление о наиболее совершенном из американских приемов калькуляции (система т. н. машинной платы—machine rate). Ярко обрисовывается приспособление бухгалтерии для новой функции—давать техническую информацию о производстве.

### Журналы.

Кроме журналов, специально посвященных вопросам организации труда, представляют, конечно, интерес и журналы по технике и технологии вообще, поскольку усовершенствование оборудования является одним из важных моментов реорганизации предприятия на научных основах. В этих общетехнических журналах встречаются статьи и информационные заметки, представляющие интерес и специально для организации.

1. **Der Betrieb.** Орган Союза Германских Инженеров. Техника,—организация и управление, — психотехника, калькуляция и проч.

2. **Betriebs Archiw** Ежемесячник, содержащий краткие рефераты и отчеты текущей журнальной и книжной литературы специально по вопросам организации производства.

3. **Organisation** (Берлин),—два раза в месяц. Специально вопросы конторской организации и техники, рекламы.

4. **Technik und Wirtschaft.** Экономические и коммерческие вопросы применительно к производству.

5. **Praktische Psychologie.** Вопросы промышленной психотехники.

6. **Works Management** (англ.). Специально по вопросам организации производства.

7. **The Engineer.**
8. **Engineering.** } (англ.). Техника.

9. **System** (англ.). Организация производства и сбыта.

10. **American Machinist.** Техника.

11. **Scientific American.** Информация об открытиях и изобретениях во все областях прикладного знания.

12. **Le Genie Civil**
13. **La Technique Moderne.** } Техника.

14. **Организация Труда.** Орган Центрального Института Труда при ВЦСПС.

15. **Успехи промышленной техники.** Ежемесячник Бюро иностранной науки и техники в Берлине НТО—ВСНХ.

**Д. Хлебников.**

---

**Haroldj Laski. The Foundations of Sovereignty and other Essays. (Allen and Unwin 15 s.)**

(Основы суверенитета).

В этой книге собрано несколько очерков Ласки, посвященных вопросам организации современного государства. Автор рекомендует себя принципиальным «федералистом», носителем плюралистических воззрений на государство и его роль (в противоположность монизму идеалистических государственно-правовых доктрин). Защищаемый им «федерализм»—не простое разделение территории государства на несколько географических областей и не развитие местного самоуправления, а систематическая функциональная децентрализация власти в том смысле, в каком она понимается гильдейским социализмом. Излагая свои взгляды на необходимость функциональной организации общества, Ласки подвергает подробной критике существующие государственные, административные и правовые установления.

По мнению автора, теория неограниченного государственного суверенитета никогда не могла быть на практике проведена в жизнь. Даже ее сторонники принуждены были допустить, что власть каждого государственного учреждения на практике, если не по праву, встречает ограничения. При таких условиях теория государственного абсолютизма могла удержаться, только поднявшись в метафизической эмпирей. Налицо рост новых общественных сил, оспаривающих у государства многие его функции. В настоящее время уже недостаточно признавать, что государственная власть имеет свои границы; надо эту власть привести в какую-то связь и зависимость с соперничающими с нею социальными силами, как, например, трэд-юнионы и организации предпринимателей. Политическая теория стала социальной теорией; она должна оперировать не с абстрактным противоположением государства и индивида, но с человеком во всех его социальных взаимоотношениях и группировках; государство есть лишь одна из этих группировок, хотя бы даже наиболее важная.

Книга Ласки примыкает таким образом к трудам гильдейских социалистов и довольно характерна для направления современной английской мысли в государственно-правовых и общественно-организационных вопросах. Ее недостатки—многословие и чрезмерное изобилие цитат и подстрочных выписок.

**Ernest Tisserand — Pour la politique d'un dictateur.** (Политика диктатора. **Paris 1921. Edition de la Sirène.**)

Интересная книга интересного автора дополняет его же предыдущую работу—«Финансы диктатора». В предисловии говорится о том, что книга содержит ряд мнений, которые автор предает гласности, «чтобы от них избавиться». Это замечание свидетельствует, что автор—не профессиональный политик, связанный определенной догмой, а скорее «свободный» мыслитель. Однако он обнаруживает осведомленность в политических вопросах и, повидимому, хорошо знаком с работой политической машины—и не только с внешней, но и с внутренней, закулисной стороны. Основное положение—и вместе исходный пункт Тиссерана, это — рабская зависимость государства от кучки финансовых и про-

мышленных магнатов. «Государственная власть — одинаково законодательная и исполнительная — находится целиком в руках представителей промышленности, финансов, крупной торговли». В этом—основная причина всех бед, испытываемых современным государством. В критической своей части книга посвящена доказательству этой зависимости правительства от плутократии. Конструктивный элемент составляет учение об экономической власти, которую Тиссеран предлагает поставить рядом с тремя существующими—законодательной, исполнительной и судебной. Здесь автор приближается к распространенному в настоящее время в Европе и особенно в Англии течению, известному под именем «гильдейского социализма».

Он рассматривает также вопрос о возможной организации этой четвертой формы власти. При всей своей оригинальности, его конструкция имеет нечто общее с системой нашего Высшего Совета Народного Хозяйства и с синдикалистскими схемами.

Тиссеран предлагает и свои проекты: «иному правительству—не правительству национального блока и финансовой олигархии». О каком собственно диктаторе или о какой диктатуре идет речь—не вполне понятно.

**Robert Lansing. The Big Four and Others of the Peace Conference. Hutchinson 8 ш. 6 пенсов.**

**Великие «четверо» и другие на мирной конференции).**

Книга Лэнсинга посвящена Версальской конференции, коей он был участником и наблюдателем, и ее важнейшим персонажем. Лэнсинг—американец, противник Версальского договора, глубочайшим образом разочарованный в том, какой оборот приняли европейские дела в результате войны. Книга его по настроению своему и по той резкой критике Версальских деятелей и их работы, которая в ней содержится, примыкает к знаменитым подстрочным примечаниям Кейнса в его труде «Экономические последствия Версальского мира» и к «L'Europa senza Pace»—Нитти.

Лэнсинг констатирует, что Версальская конференция «прошла под знаком совершенно отрицательных, разрушительных идей». Клемансо был архи-разрушителем: он единственный знал, чего он хочет. Его основной идеей было создание олигархии пяти великих держав, во главе которых стояла бы Франция и которая осуществляла бы французские политические цели. Эта основная идея отразилась, разумеется, на физиономии самой конференции, где все вопросы самовластно разрешались представителями пяти крупных держав-победительниц. Не только побежденным пред'являлись уже готовые условия, не подлежащие дискуссии,—в такое же положение были поставлены мелкие государства из стана победителей,—им попросту было предложено подписать готовый договор. И Клемансо, который умел быть таким мягким с Вильсоном и Ллойд-Джорджем, вновь превратился в «тигра», лишь только он обращался к тем, кто не имел позади себя силы...

Отзывы Лэнсинга о Вильсоне в достаточной степени неблагоприятны. Он неоднократно подчеркивает несостоятельность великодушного путаника, который гонялся за тенью и упускал сущность. Вильсон и Клемансо состязались—Клемансо выдвигал на первый план договор, Вильсон — Лигу наций. В результате Вильсон потерпел двойное поражение: уступив в первом вопросе, он, в конце концов, согласился на создание Лиги наций, которая стала игрушкой в руках Франции. Это было естественно,—полагает Лэнсинг,—Вильсону вообще не следовало принимать участие на конференции в качестве делегата; и во всяком случае нужно было воспользоваться тем компетентным руководством, которое, со своей стороны, предлагали ему американские эксперты. Он этого не сделал и лишь слишком поздно убедился в своей ошибке.

Отношение Лэнсинга к Ллойд-Джорджу также весьма критическое. Автор выставляет на вид его непостоянство («для него было, по всей видимости, самым обыкновенным делом менять свое суждение по нескольку раз по поводу каждого

предмета»). Далее Лэнсинг находит, что политика Ллойд-Джорджа была в особенности эгоистична. Добившись колониального расширения Англии и уничтожения германского флота, Ллойд-Джордж больше ни о чем не заботился. Он шел на поводу у Клемансо: больше того, именно по инициативе Ллойд-Джорджа, принцип равенства наций был нарушен и конференция превратилась в подобие тайного судилища. На-ряду с характеристикой перечисленных руководителей конференции, книга Лэнсинга содержит отзывы о многих других деятелях Версаля—Орландо (Италия), Падеревском (Польша), Венизелосе (Греция), генерале Бота (Ю. Африка) и эмире Фейзуле (Арабистан). Наибольший интерес книги — в той резкой критике, с которой один из деятелей конференции анализирует результаты ее работ.

**Ch. Antoine.** Cours d'economic sociale. (Курс социальной экономии). Sixième édition. Revue et mise à jour par Henri du Passage. Paris 1921. Ed. Alcan, page X + 766.

Этот массивный том основан на лекциях, прочитанных лет тридцать тому назад одним из видных католических ученых в знаменитом французском католическом колледже в Джерсей. Политическая экономия рассматривается здесь, как отдел социологии; последняя же построена на принципах католического учения и церковной философии, возводимой к Аристотелю и руководимой «бессмертными энцикликами» Льва XIII. Автор, или вернее авторы, предлагает ни больше, ни меньше, как вернуться к тому типу общества, который был разрушен «индивидуализмом и неверием французской революции». Это общество предполагает наличие сословий, цехов и, во всяком случае, более или менее постоянных социальных группировок и всеоб'емлющий контроль со стороны католической церкви, распространяющимся на все стороны жизни. Экономические законы выводятся из философии и моральных догматов. Авторы проявляют большую эрудицию, но при цитировании и трактовании различных экономических авторитетов отнюдь не проявляют точности, а толкуют их по желанию, вкривь и вкось. Там и сям явственно проступает антисемитизм. Много места уделено вопросам о сокращении населения и о недостатках французской системы социального обеспечения. Вопросы о биметаллизме и о протекционизме разрешены на однойдвух страницах—оба одобрительно. Большое внимание уделяется вопросам рабочего движения, кооперации—идет речь даже о системе Тэйлора. Подробно описываются различные социально-реформистские направления внутри католической церкви.

В общем и целом впечатление от книги двоякое. С одной стороны, попытка уложить законы экономического развития в прокрустово ложе церковной схоластики—производит комическое впечатление. С другой стороны, книга эта является показателем, что и после войны церковь не оставила своей игры на рабочем вопросе, целью которой является приобретение влияния на рабочее движение и тем самым его «обезвреживание».

**Roger Picard.** Le Controle ouvrier sur la gestion des entreprose. (Рабочий контроль над ведением предприятий). Paris, Barcel. Rivière, éd. 1921.

«Среди различных стремлений рабочего мира... иногда появляется цель более возвышенная и более отдаленная, идея, которая доминирует над прочими своей широтой и своим значением»... Такова в настоящее время, по мнению Пикара, идея рабочего контроля.

Пикар указывает на ту революцию, которую переживают производственные отношения при введении этого контроля. Он вдребезги уничтожает старинную теорию «священных прав» хозяина. Труд перестает быть только одним из видов товара на-ряду с машинами и сырьем. Он не желает больше оставаться в подчиненном и бесправном положении; он хочет получить на свою долю часть ответственности в предприятии, разделить с хозяевами власть.

Пикар очевидно принадлежит к сторонникам идеи рабочего контроля, но у него она сбивается на нечто вроде системы compartenship'а —по крайней ме-

ре он с удовлетворением цитирует статью Рокфеллера, в которой американский миллионер высказывается за «разделение ответственности» в этом именно смысле.

Оставив открытым вопрос, какую судьбу испытывает в будущем «этот рабочий лозунг, одинаково волнующий все мыслящие фракции рабочего класса» от христианских профсоюзов до коммунистов, Пикар последовательно рассматривает разнообразные существующие проекты рабочего контроля, а также соответствующее законодательство и опыт различных стран. Книга содержит значительный фактический материал по этому вопросу.

**Victor J. Badulesco. Le prélevement extraordinaire sur le capital dans l'Empire allemand. (Чрезвычайные вычеты из капитала в Германской империи). Marcel Giard, éd. Paris 1921.**

Книга посвящена новым германским финансовым методам. Невозможность соблюсти равновесие бюджет побудила правительство Вирта, которое отнюдь не является революционным по духу, прибегнуть к новым финансовым формулам. Германский рабочий класс выдвинул лозунг «из'ятия реальных ценностей». В результате переговоров с буржуазными группировками правительство остановилось на «фискальном компромиссе», который принял форму принудительного займа. Та и другая формула, по мнению автора, одинаково ведут свое происхождение от системы «вычета из капитала». Бадулеско рассматривает исторические прецеденты этих финансовых приемов, в частности подробно анализирует то направление финансовой мысли, которое в Германии с самого начала войны ориентировалось на систему вычетов и в 1919—1920 г.г. добилось проведения чрезвычайного налога на капитал.

Книга содержит обстоятельный анализ германской фискальной политики за последние годы и того, как эта политика и, в частности, чрезвычайный налог отразились на каждой из областей экономической жизни.

А. Канторович.

# Некролог.

## В. В. Хлебников

### В. Маяковский.

Умер Виктор Владимирович Хлебников.
Поэтическая слава Хлебникова неизмеримо меньше его значения.

Всего из сотни читавших—пятьдесят называли его просто графоманом, сорок читали его для удовольствия и удивлялись, почему из этого ничего не получается и только десять (поэты футуристы, филологи «ОПОЯЗ'а») знали и любили этого Колумба новых поэтических материков, ныне заселенных и возделываемых нами.

Хлебников—не поэт для потребителей. Его нельзя читать. Хлебников—поэт для производителя.

У Хлебникова нет поэм. Законченность его напечатанных вещей—фикция. Видимость законченности, чаще всего, дело рук его друзей. Мы выбирали из вороха бросаемых им черновиков кажущиеся нам наиболее ценными и сдавали в печать. Нередко хвост одного наброска приклеивался к посторонней голове, вызывая веселое недоумение Хлебникова. К корректуре его нельзя было подпускать—он перечеркивал все, целиком, давая совершенно новый текст.

Принося вещь для печати, Хлебников обыкновенно прибавлял: «если что не так — переделайте». Читая, он обрывал иногда на полуслове и просто указывал: «ну и так далее».

В этом «и т. д.» весь Хлебников: он ставил поэтическую задачу, давал способ ее разрешения, а пользование решением для практических целей—это он предоставлял другим.

Биография Хлебникова равна его блестящим словесным построениям. Его биография—пример поэтам и укор поэтическим дельцам.

Хлебников и слово.

Для так называемой новой поэзии (наша новейшая), особенно для символистов, слово—материал для писания стихов (выражения чувств и мыслей), материал, строение, сопротивление, обработка которого были неизвестны. Материал бессознательно ощупывался от случая к случаю. Аллитерационная случайность несхожих слов выдавалась за внутреннюю спайку, за нераз'единимое родство. Застоявшаяся форма слова почиталась за вечную, ее старались натягивать на вещи, переросшие слово.

Для Хлебникова слово—самостоятельная сила, организующая материал чувств и мыслей. Отсюда углубление в корни, в источник слова, во время, когда название соответствовало вещи. Когда возник, быть может, десяток коренных слов, а новые появлялись как падежи корня (склонение корней по Хлебникову),—напр., «бык» это тот, кто бьет; «бок» это то, куда бьет (бык). „Лыс"то, чем стал «лес», «лось», «лис»—те кто живут в лесу.

Хлебниковские строки—

Леса лысы.
Леса обезлосили. Леса обезлисили

не разорвешь—железная цепь.

А как само расползается—

Чуждый чарам черный челн.
Бальмонт.

Слово в теперешнем его смысле—случайное слово, нужное для какой-нибудь практики. Но слово точное должно варьировать любой оттенок мысли.

Хлебников создал целую «периодическую систему слова». Беря слово с неразвитыми, неведомыми формами, сопоставляя его со словом развитым, он доказывал необходимость и неизбежность появления новых слов.

Если развитый «пляс» имеет производное слово «плясунья»—то развитие авиации, «лета» должно дать «летунья». Если день крестин «крестины»,—то день лета «летины». Разумеется, здесь нет и следа дешевого славянофильства с «мокроступами»; не важно, если слово летунья сейчас не нужно, сейчас не привьется—Хлебников дает только метод правильного словотворчества.

Хлебников мастер стиха.

Я уже говорил, что у Хлебникова нет законченных произведений. В его, напр., последней вещи «Зангези» ясно чувствуется два напечатанные вместе различные варианта. Хлебникова надо брать в отрывках, наиболее разрешающих поэтическую задачу.

Во всех вещах Хлебникова бросается в глаза его небывалое мастерство. Хлебников мог не только при просьбе немедленно написать стихотворение (его голова работала круглые сутки только над поэзией), но мог дать вещи самую необычайную форму. Например, у него есть длиннейшая поэма, читаемая одинаково с двух сторон—

Кони. Топот. Инок.
Но не речь, а черен он
и т. д.

Но это, конечно, только сознательное штукарство — от избытка. Штукарство мало интересовало Хлебникова, никогда не делавшего вещей ни для хвастовства, ни для сбыта.

Филологическая работа привела Хлебникова к стихам, развивающим лирическую тему одним словом.

Известнейшее стихотворение «Заклятие смехом», напечатанное в 1909 г., излюблено одинаково и поэтами новаторами, и пародистами критиками:

О, засмейтесь смехачи,
Что смеются смехами,
Что смеянствуют смеяльно,
О, иссмейся рассмеяльно смех
Усмейных смеячей
и т. д.

Здесь одним словом дается и «смейево», страна смеха, и хитрые «смеюнчики» и «смехачи»—силачи.

Какое словесное убожество по сравнению с ним у Бальмонта, пытавшегося также построить стих на одном слове «любить»:

Любите, любите, любите, любите
Безумно любите, любите любовь.
и т. д.

Тавтология. Убожество слова. И это для сложнейших определений любви! Однажды Хлебников сдал в печать 6 страниц производных от корня «люб». Напечатать нельзя было, т. к. в провинциальной типографии не хватило «Л».

От голого словотворчества Хлебников переходил к применению его в практической задаче, хотя бы описание кузнечика:

Крылышкуя золотописьмом тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил.
Премного разных трав и вер.
Пинь-пинь-пинь — тарарахнул зензивер.
О лебедиво!
О озари!

(На странице:)

О неждарь вечерней зари!
О неждал!
Озари!

И, наконец, классика:

У колодца
Расколоться
Так хотела бы вода,
Чтоб в болотце
С позолотцой
Отразились повода.
Мчась, как узкая змея,
Так хотела бы струя,
Так хотела бы водица
Убегать и расходиться,
Чтоб ценой работы добыты
Зеленее стали чоботы
Черноглазые ее.
Шопот, топот, неги стон,
Краска темная стыда,
Окна избы с трех сторон,
Краска темная стыда.

Оговариваюсь: стихи привожу на память, могу ошибиться в деталях и вообще не пытаюсь этим крохотным очерком очертить всего Хлебникова.

Еще одно: я намеренно не останавливаюсь на огромнейших фантастико-исторических работах Хлебникова, так как в основе своей это поэзия.

Жизнь Хлебникова.

Хлебникова лучше всего определяют его собственные слова:

Сегодня снова я пойду
Туда на жизнь, на торг, на рынок,
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок.

Я знаю Хлебникова 12 лет. Он часто приезжал в Москву и тогда, кроме последних дней, мы виделись с ним ежедневно.

Меня поражала работа Хлебникова. Его пустая комната всегда была завалена тетрадями, листами и клочками, исписанными его мельчайшим почерком. Если случайность не подворачивала к этому времени издание какого-нибудь сборника и если кто-нибудь не вытягивал из вороха печатаемый листок,—при поездках рукописями набивалась наволочка, на подушке спал путешествующий Хлебников, а потом терял подушку.

Ездил Хлебников очень часто. Ни причин, ни сроков его поездок нельзя было понять. Года три назад мне удалось с огромным трудом устроить платное печатание его рукописей. (Хлебниковым была передана мне небольшая папка путанейших рукописей, взятых Якобсоном в Прагу, написавшим единственную прекраснейшую брошюру о Хлебникове). Накануне сообщенного ему дня получения разрешений и денег, я встретил его на Театральной площади с чемоданчиком.

Куда вы?»—«На юг, весна!..» и уехал.

Уехал на крыше вагона: ездил два года, отступал и наступал с нашей армией в Персии, получал за тифом тиф. Приехал он обратно этой зимой, в вагоне эпилептиков, надорванный и оборванный, в одном больничном халате.

С собой Хлебников не привез ни строчки. Из его стихов этого времени знаю только стих о голоде, напечатанный в какой-то крымской газете и присланные ранее две изумительнейших рукописных книги—«Ладомир» и «Царапина по небу».

«Ладомир» сдан был в Гиз, но напечатать не удалось. Разве мог Хлебников пробивать лбом стену?

Практически Хлебников неорганизованнейший человек. Сам за всю свою жизнь он не напечатал ни строчки. Посмертное восхваление Хлебникова Городецким приписало поэту чуть не организаторский талант: создание футуризма, печатание «Пощечины общественному вкусу» и т. д. Это совершенно неверно. И «Садок судей» (1908 г.) с первыми стихами Хлебникова, и «Пощечина» организованы Давидом Бурлюком. Да и во все дальнейшее приходилось чуть не силком вовлекать Хлебникова. Конечно, отвратительна непрактичность, если это прихоть богача, но у Хлебникова, редко имевшего даже собственные штаны (не говорю уже об акпайках), бессеребренничество принимало характер настоящего подвижничества, мученичества за поэтическую идею.

Хлебникова любили все знающие его. Но это была любовь здоровых к здоровому, образованнейшему, остроумнейшему поэту. Родных, способных самоотверженно ухаживать за ним, у него не было. Болезнь сделала Хлебникова требовательным. Видя людей, не уделявших ему все свое внимание, Хлебников стал подозрителен. Случайно брошенная даже без отношения к нему резкая фраза раздувалась в непризнание его поэзии в поэтическое к нему пренебрежение.

Во имя сохранения правильной литературной перспективы, считаю долгом черным по белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей, поэтов Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака, что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в н[illegible] поэтической борьбе. — доб

После смерти Хлебникова п[illegible] в разных журналах и газетах

* [illegible]ная Новь № 4 (8)

Хлебникове, полные сочувствия. С отвращением прочитал. Когда, наконец, кончится комедия посмертных лечений?! Где были пишущие, когда живой Хлебников, оплеванный критикой, живым ходил по России? Я знаю живых, может быть, не равных Хлебникову, но ждущих равный конец.

Бросьте, наконец, благоговение столетних юбилеев, почитания посмертными изданиями! Живым статьи! Хлеб живым! Бумагу живым!

Государственное издательство [illegible]
Редактор — [illegible]

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Главное Управление, Москва, М. Никитская, 6.

**Коваленский.** Учебник русской истории, ч. II.
**Кочетов.** Продзадачник.
**Краевич.** Сокращенный учебник физики.
**Красиков.** Колодезь. Опыт комплексного преподавания.
**Красиков.** Самодельные физические приборы.
**Крогиус.** Тригонометрия.
**Крубер, Григорьев, Барков и Чефранов.** Учебн. геогр., ч. I. Начальный курс.
**Крубер, Григорьев, Барков и Чефранов.** Учебн. геогр., ч. II. Внеевроп. страны.
**Крубер, Григорьев, Барков и Чефранов.** Учебн. геогр. ч. III. Европа.
**Лермантов.** Методика физики.
**Мартель.** Приемы быстрого счета.
**…еч.** Первые уроки географии.
**Морозов.** План занятий в сельской школе I ступени.
**…чаев.** По морю и суше. Географическая хрестоматия.
**Никитин.** Начальная геометрия, ч. I и II.
**Покровский.** Русская история в самом сжатом очерке.
**…летаева.** Три года преподавания естествознания и географии.
**…летаева.** Преподавание географии во 2-м классе.
**…жевальский.** Логарифмы (5-значные).
**…бникова.** Изучение родного языка.
**…онов и Верховский.** Учебник химии.
**…овьева, Е.** Методическое руководство к букварю Горобца.
**…атонов.** Космография.
**…стой, Л.** Книга для чтения.
**…аков.** Введение в изучение родного языка.
**…цеев.** Элементарная практическая механика.
**…дман.** Методика арифметики.
**…гер.** Начальная физика, ч. I.
**…довский.** Уроки по естествознанию, ч. I и II.
**…довский.** Летние работы по естествознанию.
**…етова.** Орфографические упражнения.
**…ошников.** «Живые звуки». Букварь.
**…ошников.** Этимологический задачник.
**…ошников.** Тригонометрия.
**…ошников и Вальцев.** Алгебраический задачник, ч. I и II.
…. Как преподавать математику.

---


**…овый Сектор Государственного Издательства (Центральный склад): …ква, Биржевая площадь, Богоявленский пер., 4. Магазины: № 1— Советская площадь и № 2—Моховая, 17.**